

Глава III

Советская Россия! Священная земля великого народа! Ты стала символом надежды всего человечества, тебе одной ниспослано искупить его страдания, и я приехала, чтобы служить тебе, матушка. Позволь мне припасть к груди твоей! Позволь отдать всю себя, чтобы кровь моя смешалась с твоей кровью, позволь обрести место в твоей героической битве и сделать всё возможное для твоей победы!

На всём пути от границы до петроградского вокзала нас встречали как родных — освободившие свою землю сыновья и дочери советской страны принимали нас, высланных из Америки чуть ли не как уголовных преступников, поистине по-братски. На каждой станции рабочие, крестьяне и красноармейцы окружали нас, пожимая нам руки; их исхудавшие лица были бледны, но запавшие глаза горели, а каждое движение одетых в жалкие рубища тел было полно решимости. Опасности и невзгоды закалили их, укрепив волю и заставив посуроветь лица, но под непрístupной внешностью русских угадывалось горячее биение по-детски открытых сердец и нескрываемая щедрость, с которой они дарили нам свои чувства.

Повсюду нас сопровождали музыка и песни, а невыдуманные истории высочайшей доблести и немеркнувшей стойкости перед лицом голода, холода и смертельных болезней поражали воображение. Меня переполняли слезы благодарности, я готова была преклонить колени перед простыми людьми, поднявшимися через огонь революционной борьбы к своему величию.

В Петрограде, после третьего по счету приема в честь нашего прибытия, товарищ Зорин 10, который приехал вместе с нами, пригласил меня и Сашу прокатиться на закрепленном за ним автомобиле. Огромный город окутала тьма, отбрасывавшая фантастические тени на покрытую сверкающим снегом землю. Улицы были пустынные, и их мертвую тишину нарушал лишь рокот мотора нашего экипажа. Мы мчались по ночному Петрограду, изредка останавливаясь перед неясными фигурами, возникавшими из ночной мглы — всякий раз это были вооруженные красноармейцы, освещавшие нас фонарями и требовавшие: «Пропуск, товарищ!» «Что поделать, время-то военное, — сказал наш спутник. — Юденича только-только отбросили от Петрограда, но и в самом городе, и поблизости еще полным-полно контрреволюционеров, так что надо быть начеку». Мы тронулись и, повернув за угол, поехали мимо ярко освещенного особняка. «Здесь у нас ЧК и тюрьма, правда, почти пустая», — заметил Зорин. Мы остановились перед большим, хорошо освещенным зданием. «А вот и „Астория“. При царе здесь была фешенебельная гостиница, — сообщил нам Зорин, — а теперь это Первый дом Петросовета». Он сказал, что нас поселят здесь, а остальных ссыльных разместят в Смольном, бывшем институте благородных девиц. «А как же девушки? — спросила я. — Этель Бернштейн и Дора Липкина? Я не хотела бы с ними разлучаться». Зорин пообещал найти им комнату в «Астории», хотя здесь, как правило, селились лишь высокопоставленные партийцы и особо важные гости, и, пока готовились

предназначавшиеся нам комнаты, повёл нас к себе номер.

Его жена Лиза встретила нас с не меньшей теплотой, чем её супруг, выдававший ее нам в течение всего дня. Решив, что мы голодны, она настойчиво принялась угощать нас всем, что у них было — селедкой, кашей и чаем. Было видно, что Зорины сами недоедают, но готовы поделиться последним, и я пообещала себе пополнить их скудные припасы, как только мы распакуем вещи: американские товарищи снабдили нас изрядным количеством провизии, к тому же мы сэкономили часть пайков, полученных при высадке с «Бьюфорда», и мысль о том, что правительство Соединенных Штатов, само того не зная, кормит российских большевиков, заставила меня усмехнуться.

Зорины тоже раньше жили в Америке, и хотя мы никогда там с ними не встречались, они знали нас, а Лиза сказала, что побывала на нескольких моих лекциях в Нью-Йорке. Их английский отличался сильным акцентом, но все-таки оба они говорили на нём лучше, чем мы по-русски — сказывались тридцать пять лет, проведенные в США при почти полном отсутствии практики в родном языке; тем более, что Зориным хотелось рассказать о многом именно по-английски. Они говорили нам о революции, ее завоеваниях и ожиданиях, и других вещах, о которых нам не терпелось узнать, и всё, что они говорили об Октябре, во многом повторяло услышанное на приемах в нашу честь, различаясь разве что в подробностях. Мы с упоением внимали рассказам о страшном счёте человеческих жизней, который вела осада, о сковавшем Россию железном кольце интервенции, об опустошительных набегах Деникина, Колчака и Юденича, а также о революционном подъеме и блистательных победах Красной армии на всех фронтах. Шла своим чередом и мирная жизнь, в которой тоже хватало борьбы: создавать новое государство на развалинах старой России было отнюдь не простым делом, но первые итоги этого строительства мы сможем увидеть собственными глазами, уверяли нас Зорины. Благодаря диктатуре пролетариата стали возможны открытие новых школ, забота о материнстве и детстве, призрение престарелых и многое другое. Конечно, России было еще очень далеко до совершенства, но не следует забывать, что тогда к ней со всех сторон тянулись вражеские руки, а страшнее осады и интервенции были лишь зревшие среди российской интеллигенции контрреволюционные заговоры, и порой эти препятствия на пути революции казались непреодолимыми.

Титанический размах Советской России заставил нас устыдиться масштабов наших усилий в Америке — настоящие дела творились здесь, и я всерьез опасалась оказаться несостоятельной на фоне миллионов темных и забытых прежде людей, которые поднялись теперь на недосыгаемые для меня высоты. Своей самоотверженностью и серьезностью намерений Зорины олицетворяли это величие, и я гордилась дружбой с ними. Наша беседа затянулась далеко за полночь, и заканчивать ее не хотелось.

В коридоре нас встретила женщина, которая сказала, что как раз идет к Зориным — нас хочет видеть один американский товарищ. Поднявшись в один из номеров четвертого этажа, я очутилась в объятиях Билла Шатова. «Билл, ты здесь! — воскликнула я в изумлении. — Не может быть! А Зорин сказал мне, что ты отправился в Сибирь!» «Ты почему не приехал встречать нас на границу? Ты что, не получил телеграмму?» — подхватил Саша. «Спокойно, спокойно! Давайте-ка без этой американской суеты, — засмеялся Билл. — Для

начала, дорогой Саша, я тебя обниму, и мы выпьем по стаканчику за ваше благополучное прибытие в революционную Россию, а после и поговорим». Он подвел нас к дивану и стал усаживаться, пока с нами тепло здоровались жена Билла Анна, встретившая нас в коридоре, но не признанная мною в полутьме ее сестра Роза — с обеими девушками мы были знакомы еще по Нью-Йорку — и муж Розы.

С тех пор, как мы виделись в последний раз, Билл сильно поправился, и туго обтягивавшая его гимнастерка придавала его лицу суровое выражение, но все-таки это был тот самый Билл — порывистый, душевный и жизнерадостный. Он забросал нас вопросами об Америке, о судебных процессах против деятелей рабочих движения в Сан-Франциско, о нашем тюремном заключении и высылке, но мы запротестовали. «Сейчас это ни к чему, — прервали его мы, — лучше расскажи сначала о себе. Почему ты до сих пор в Петрограде, и по какой причине не встречал ссыльных?» Билл слегка сконфузился и начал уклоняться от ответа, но мы настаивали: двусмысленность слов Зорина заставляла задуматься, но я гнала мысль о том, что нас вводили в заблуждение намеренно. «Я смотрю, ты совсем не изменилась, — пошутил Билл. — Всё такая же настойчивая и навязчивая». Он пустился в объяснения: дескать, в том ритме жизни, которым живёт Россия, у людей уже нет времени на пустые разговоры, а из-за обилия служебных обязанностей ему крайне редко удаётся встретиться с Зориным, чем и объясняется уверенность последнего в отсутствии Шатова. На самом деле его отъезд в Сибирь был запланирован еще несколько недель назад, но его отложили — достать всё необходимое для этой поездки очень сложно, и ему придется еще недели две провести в городе. Однако он даже рад этому, потому что у нас теперь будет время поговорить обо всём — и об Америке, и о России. Телеграмму нашу он получил, и сразу же попросил включить его в состав делегации, однако ему отказали — якобы позволить ему первому рассказать нам о России было бы нецелесообразно, поскольку это могло предвзятно нас настроить. «Отказали! Нецелесообразно! — воскликнули мы с Сашей одновременно. — Что это за безликий диктатор, который велит тебе отправиться в Сибирь, отказывая в праве встретить старых товарищей? Разве ты не мог приехать сам, по собственной воле?» «Диктатура пролетариата, — отвечал Билл с улыбкой и покровительственно похлопал меня по спине. — Давайте об этом как-нибудь в другой раз. Сейчас же я просто хочу сказать вам, — посерьезнел он, — что коммунистическое государство в реальности выглядит именно так, как предупреждали анархисты: это жестко централизованная власть, тем сильнее укрепляющаяся, чем больше опасностей угрожает революции. В таких условиях человек не волен поступать по своим желаниям; нельзя, например, просто прыгнуть в поезд и отправиться куда глаза глядят, или прокатиться на вагонной сцепке, как я это делал в Соединенных Штатах — на всё, буквально на всё необходимо разрешение. Только не подумайте, будто я тоскую по американскому „счастью“; нет, я за Россию, за революцию, за ее славное будущее!»

Билл был уверен, что, увидев происходящее в России, мы придем к тем же выводам, что и он; ну, а по таким пустячным поводам, как пропуска, беспокоиться не нужно, тем более, мы только что прибыли: «Пропуска! Да у меня их целый чемодан, и у вас тоже скоро будут такие же», — завершил он свою тираду, озорно нам подмигнув. Я почувствовала его настроение и подавила в себе желание задавать вопросы, тем более, что впечатлений было и так предостаточно. «Неужели прошел всего лишь день? — подумала я с удивлением. — А кажется, что мы приехали уже несколько лет назад!»

Действительно, в последующие две недели Шатов всё не уезжал, и мы проводили вместе большую часть времени, зачастую засиживаясь до утра. Революционное полотно, которое с его помощью словно разворачивалось перед нами, было гораздо более масштабным, чем можно было представить. Это были уже не отдельные фигуры, помещенные на передний план на чьем-то фоне; нет, все они, и великие, и ничтожные, были выпуклыми и яркими в общем стремлении приблизить окончательный триумф революции. Ленин, Троцкий, Зиновьев и небольшая группа их соратников сыграли, конечно же, огромную роль, горячо убеждал нас Билл, но реальной силой, стоявшей за ними, была пробудившаяся революционная сознательность масс. В течение 1917 года крестьяне отбирали господские земли, рабочие захватывали фабрики и заводы, а воевавшие солдаты толпами устремлялись домой; матросы Кронштадта воплощали в революционную действительность анархистский призыв действовать, а левые эсеры, как и анархисты, убеждали крестьян в том, что земля должна быть общей, и все эти силы и сумели подъять ту самую бурю, что разразилась над Россией, обратившись грандиозным октябрьским вихрем.

Благодаря красноречию нашего друга перед нами представала эпическая поэма бурления жизни, исполненная головокружительной красоты и всепоглощающей силы, но внезапно Билл, нарисовавший столь чарующую картину, сам же и разрушил эти чары, сказав, что мы видели преобразование духа России, а теперь настала пора посмотреть на болезни ее тела. «Это совсем не для того, чтобы настроить вас предвзято, — подчеркнул он, — как полагают люди, для которых главным критерием революционной принципиальности является партийный билет». Скоро мы и сами лицом к лицу столкнемся с тем, что высасывает из страны все соки, сказал Билл, и он хочет подготовить нас к этому — помочь обнаружить очаг этой болезни, купировать её и понять, что излечиться можно лишь самыми решительными мерами. Опыт России привел его к неутешительному выводу: мы, анархисты, были романтиками революции, забывшими о цене, которую придется за нее заплатить. Теперь же эту страшную цену стремятся взыскать враги революции, и методы, к которым они обращаются для уничтожения её завоеваний, поистине дьявольские. Нельзя сражаться огнем и мечом, опираясь только на разумность и справедливость собственных взглядов: контрреволюция объединилась, чтобы изолировать Россию и уморить ее голодом — счет жертв неумолимо растет. Однако война не всегда согласуется с романтическими идеями революционной этики. Ни одна сивилла и ни один оракул не смогли бы предсказать ужасающих последствий интервенции, выливающих целыми морями крови нашествий орд Деникина, Колчака и Юденича, погромов и разрухи, но навязанная России страшная война необходима для того, чтобы отогнать голодных волков, готовых разорвать революцию на куски. Билл уверял нас, что не перестал быть анархистом и по-прежнему опасается угрозы, которую представляла собой государственная машина, движимая марксистской теорией; однако теперь эта угроза была уже не призрачным предметом теоретической дискуссии, но осязаемой реальностью, следствием расплодившихся бюрократии, непрофессионализма и коррупции. Он был нетерпим к диктатуре и её верной прислужнице ЧК, к жесткому подавлению свободы мысли, слова и инициативы, но сейчас это зло было неизбежным. Анархисты были первыми, кто откликнулся на анархический по своей сути призыв Ленина к революции, и потому имели право требовать отчета. «И мы потребуем! Даже не сомневайтесь! — воскликнул он. — Потребуем, но не сейчас, когда каждый нерв должен быть напряжен, чтобы спасти Россию от реакционных элементов, отчаянно пытающихся вернуть себе власть». Он не вступил в коммунистическую партию и никогда не сделает

этого, заверил нас Билл, но он был вместе с большевиками и будет с ними до тех пор, пока не закроется последний фронт и не будет изгнан последний враг — Юденич, Деникин и прочие приспешники царизма. «И вы тоже будете с нами, дорогие мои Эмма и Саша, — заключил Билл. — Я не сомневаюсь в этом».

Наш товарищ был полон энтузиазма; он был певцом революции, а его слова — сагой самому колоссальному событию нашего времени, чудеса которого были столь же неисчислимы, как и ужасы, скорбь и муки распятого народа.

Билл совершенно прав, думали мы: ничто не сравнится с высшей необходимостью отдать всего себя для спасения революции и ее завоеваний. Вера и страсть нашего товарища заставили воспарить мой дух, но я все-таки не могла избавиться от подспудной тяжести, которая овладевает оставшимся в темноте и одиночестве человеком. Я безуспешно пыталась сбросить этот груз и подобно сомнамбуле брела по замкнутому кругу, время от времени спотыкаясь и падая в реальность при звуках чьего-нибудь грубого голоса или перед каким-нибудь представавшим моему взору ужасным зрелищем. Я обращала внимание на то, как душат свободу слова на сессии Петросовета, на которой мы побывали, я с удивлением обнаруживала, что в столовой Смольного членов партии кормят больше и лучше, чем прочих, и вообще не могла не замечать царившую всюду несправедливость. Образцовые школы исправно снабжались конфетами и сладостями, но бок о бок с ними находились и другие, впечатление от которых было гнетущим: грязные, неотопливаемые, плохо оснащенные, где с вечно голодными детьми обращались как со скотом. Для коммунистов существовала особая больница со всеми современными удобствами, а остальные медицинские учреждения не имели даже самого необходимого. Существовало тридцать четыре вида пайков — и это при декларируемом коммунизме! — а магазины и лавки для привилегированных лиц наживались на перепродаже масла, яиц, сыра и мяса; при этом рабочие и их жены часами стояли в очередях за мерзлой картошкой, червивой крупой и гнилой рыбой, а на барахолках женщины с печальными опухшими лицами торговались с красноармейцами за свой жалкий скарб.

Я говорила об этом с Зориным, с обитавшим в «Астории» молодым анархистом Кибальчиком 11, с Зиновьевым 12 и многими другими, указывая на очевидные противоречия. Как это можно было объяснить и оправдать? Но все они твердили одно и то же: «А что делать, если мы в осаде, интеллигенция саботирует, а Деникин, Колчак и Юденич наступают?» По их словам, виной всему были лишь эти обстоятельства, потому что пороки прежнего общества невозможно искоренить до тех пор, пока не будет победы по всем фронтам. «Вы лучше вместе с Беркманом идите к нам работать, — говорили они. — Нам безразлична ваша позиция, если вы можете нам помочь».

Я была тронута тем, что эти люди протягивают руки, и собиралась присоединиться к ним и работать вместе с ними, отдавая все силы и энергию, как только отыщу своё место в строю и пойму, где мои усилия принесут максимальную пользу.

Зиновьев совсем не выглядел тем грозным лидером, каким представал из рассказов о нём; на меня этот человек произвел впечатление мягкотелого и слабохарактерного, его голос был высок, как у подростка, и неприятен, однако он на самом деле отдал все силы

революции, а теперь без устали работал над ее продолжением, и это, безусловно, заслуживало уважения и доверия. «Осада, — повторял он, — Колчак, Деникин, Юденич, Савинков, контрреволюция, предатели в стане меньшевиков и правых эсеров; везде заговоры против революции». Стенания Зиновьева добавляли трагических тонов в общий хор, к которому поначалу присоединилась и я.

Вскоре, однако, из низов слышались и иные голоса — жесткие и обличающие, и это сильно меня смутило. Будучи приглашенной на конференцию петроградских анархистов, я удивилась тому, что мои единомышленники были вынуждены собираться тайком в темном укромном месте. Билл Шатов с гордостью рассказывал о мужестве, проявленном нашими товарищами в борьбе за революцию и на ее фронтах, всячески подчеркивая их героическую роль в ее завоеваниях. «Но почему же тогда люди, имеющие такие заслуги, вынуждены собираться тайно?» — думала я.

Вскоре я получила ответ на свой вопрос — его дали мне рабочие Путиловского и других заводов, кронштадтские матросы, красноармейцы и один старый товарищ, совершивший побег из заключения и таким образом избежавший смертной казни. Те, кто был движущей силой революционной борьбы, теперь с возмущением и горечью высказывались против тех, кого они помогли привести к власти. Они говорили о предательстве революции большевиками, о навязанном трудящимся рабстве, о выхолащивании Советов, о подавлении свободы мысли и слова, о том, что тюрьмы переполнены крестьянами и рабочими, солдатами и матросами — бунтарями всех мастей, не желающими мириться с произволом. Рассказали они и о совершённом по приказу Троцкого «пулеметном рейде» против московских анархистов, и о бесчинствах ЧК, и о массовых казнях без суда и следствия, и каждое из этих обвинений оглушало меня, точно удар молота. Нервы мои были натянуты, как струна, я слушала, едва ли понимая услышанное и тщетно пытаюсь ухватить общий смысл: эти чудовищные обвинения не могли быть правдой! Разве Зорин не указал нам на тюрьму, мимо которой мы проезжали, заверив нас, что она почти пуста, и не утверждал, что смертная казнь отменена? И разве Билл Шатов не превозносил Ленина и его соратников, воспевая их прозорливость и доблесть, одновременно объясняя причины появления темных пятен на советском горизонте и то, почему большевикам и их соратникам в деле революции приходится с этим мириться?

Люди, собравшиеся в этом мрачном зале, должно быть, сумасшедшие, думала я, раз они говорят такие несуразицы и нелепицы, со всей злостью обрушиваясь на коммунистов за преступления, которые, как они сами прекрасно знают, объясняются контрреволюцией, осадой и нашествием белогвардейских генералов. Я попыталась сказать об этом присутствующим, но мой голос потонул в издевательских смешках, резко осуждавших мое слепое упрямство: «Вам с Беркманом подсунули фальшивку, — кричали мне мои товарищи, — а вы поверили и проглотили наживку целиком. А ведь Зорин — это фанатик, который ненавидит анархистов и хладнокровно расстрелял бы их всех! И Билл Шатов тоже ренегат! — кричали они. — Значит, им вы верите, а нам нет? Подождите, вы еще увидите всё собственными глазами, и тогда по-другому запоете!»

Когда недовольный ропот стих, слова потребовал еще один оратор — тот самый, что счастливо избежал казни. Его бледное лицо было изборождено глубокими морщинами,

мудрые глаза источали боль, а голос дрожал от еле сдерживаемого негодования. Он подробно рассказал о недавних событиях и о преградах, встающих на пути революции. Анархисты грудью встречают контрреволюционную угрозу, сказал он, они сражаются с ней, впиваясь в нее зубами и когтями, и доказательством тому участь многих из них, сложивших головы в схватках с врагами на разных фронтах. Именно анархист Нестор Махно, возглавивший крестьянскую повстанческую армию, помог разбить Деникина и в критический момент спас Москву и революцию. По всей России анархисты неизменно находились на переднем крае, отражая атаки врагов революции и одновременно борясь с контрреволюционной заразой — Брест-Литовским мирным договором, подрывавшим революционные устои и вбившим первый клин в единство пролетарских масс: анархисты и левые эсеры с самого начала выступали против него, видя в нем опасность и предательство. Введенная большевиками продразверстка и насильственное изъятие никому не подчиняющимися вооруженными отрядами продовольствия подлили масла в огонь народного недовольства, вызвав ненависть крестьян и рабочих и тем самым сделав их благодатной почвой для контрреволюционных заговоров. «И Шатову всё это известно, — закончил оратор, — так почему же он утаил это от вас? Да просто потому, что Билл Шатов стал „советским“ анархистом, прислужником тех, кто угнездился в Кремле, поэтому-то Ленин и спас его от ЧК, сослав в Сибирь. Рабочих и крестьян, солдат и матросов расстреливали за проступки, куда меньшие по сравнению с теми темными делишками, которые Шатов, фактически правитель Петрограда, проворачивал со своими дружками из буржуев. Большевики — хорошие хозяева, и Шатов правил Петроградом железной рукой: когда Каннегисер застрелил председателя питерской ЧК, этого садиста Урицкого, анархист Шатов лично бросился за ним в погоню, схватил несчастного и с триумфом приволок его в ЧК на расстрел!»

«Довольно! Прекратите! — закричала я. — Хватит лжи! Билл никогда бы так не поступил! Мы знакомы с ним много лет, это самый добрый и мягкий человек, которого я когда-либо знала! Я никогда не поверю в то, что он на такое способен». Я отстаивала принципиальность Зорина и энергичность и лидерские качества Зиновьева; я защищала моего старого друга Билла, благородного, чистосердечного, прекрасно знающего, что нужно делать; в ярости я прямо-таки бросалась на обуянных жаждой злобной мести людей, называвших себя анархистами, стремясь разжечь в себе еле теплящийся огонек веры, вот уже третий день задуваемый ядовитым душком домыслов.

Саша валялся с серьезной простудой и был слишком слаб, чтобы участвовать в конференции анархистов, но я держала его в курсе, и теперь ворвалась в его комнату в расстроенных чувствах с рассказом о последних событиях. Он отмахнулся от всех услышанных мной обвинений, назвав их безответственной болтовней вечно недовольных бездельников. Анархисты Петрограда похожи на большинство наших американских соратников, сказал он, они привыкли ничего не делать и при этом всё бездумно критиковать, наивно полагая, что на обломках самодержавия, к тому же после войны и метаний Временного правительства анархизм может взрасти чуть ли не в один миг. Было бы абсурдным осуждать большевиков за их крутые меры, горячился Саша: как иначе могли они вызволить Россию из железных оков контрреволюции и саботажа? Он считал, что для этого хороши любые методы, а революционная целесообразность оправдывает все средства, как бы отвратительны они ни были, и до тех пор, пока революция в опасности, всех, кто пытается вредить ей, надлежит

беспощадно карать. Как всегда, мой старый товарищ отличался искренностью порыва и ясностью взгляда; я согласилась с ним, но ужасные вещи, о которых я услышала на конференции, по-прежнему не давали мне покоя.

Тем временем Сашина болезнь заставила нас вспомнить прежние бессонные ночи. В Петрограде свирепствовала эпидемия, а врачей и лекарств недоставало. Зорин срочно послал за доктором, но температура больного была настолько высока, что промедление казалось подобно смерти, и тут как нельзя кстати пришлось мои бывшие профессиональные навыки. С помощью небольшой, но умело собранной аптечки, которой снабдил меня добрый врач с «Бьюфорда», мне удалось сбить мучивший Сашу жар; я заботливо ухаживала за ним, и в итоге через две недели он уже вставал с постели и, хоть и сильно исхудал и был еще бледен, уверенно шел на поправку.

Примерно тогда же нас пожелали видеть два человека — редактор лондонской Daily Herald Джордж Лансбери и корреспондент из Америки, некий Барри. Из-за того, что они приехали неожиданно, никто не позаботился о том, чтобы их встретил кто-нибудь, говорящий по-английски; они же не понимали ни слова по-русски, но хотели попасть в Москву. Их пожелание было передано госпоже Равич 13, главе петроградского управления народного комиссариата внутренних дел и местного отделения Наркоминдела; она распорядилась, чтобы в поездке в Москву англоязычных гостей сопровождал Саша, и он согласился.

С его отъездом я снова была предоставлена самой себе. Зорины с радостью сопровождали меня на прогулках, но мой русский становился всё лучше, и я предпочитала бродить в одиночестве. Поскольку конференция анархистов проводилась подпольно, я не могла обсуждать ее с Зоринными, а тем более пересказывать им то, что я там услышала, и это заставляло меня испытывать рядом с ними чувство вины. К тому же у меня возникло ощущение, что Зорин сознательно удерживает меня от некоторых поступков: как-то я спросила его, можно ли мне посетить какие-нибудь предприятия, и он пообещал получить для меня пропуск, но так и не сделал этого. Он также был недоволен тем, что Лиза попросила меня выступить перед женщинами на фабрике, где она работала; хорошо еще, что, отговорившись тем, что до сих пор сильно запинаясь, когда говорю по-русски, да и в Россию приехала учиться, а не учить, я отказалась, и Зорин, услышав это, как мне показалось, вздохнул с облегчением. Тогда я не обратила внимания на столь странное отношение ко мне, но когда он снова не сдержал обещания организовать мою поездку на завод, я задумалась: в то, что всё так плохо, как говорили на конференции, я не верила, но почему же тогда Зорин не позволяет мне убедиться в этом своими глазами?

Тем не менее, наши отношения с Зоринными были по-прежнему дружескими. Они были страстными революционерами, полностью забывшими о личных интересах, и не желали ничего от нас принимать, хотя сами всегда были готовы поделиться своими скудными припасами. Особенно непреклонен был Зорин: всякий раз, когда я приносила американскую провизию, он неизменно пророчествовал — дескать, если мы будем вот так раздавать продукты, то вскоре начнем голодать.

Лизу тоже было очень сложно убедить принять хоть что-нибудь. Она ждала ребенка, и я упрашивала ее позволить мне помочь с приготовлениями к рождению малыша. «Чепуха, —

отвечала она, — в пролетарской России никто не заботится о том, во что одеть младенца; оставим это буржуазным женщинам из капиталистических стран, а у нас есть дела поважнее».

Я спорила с ней, говоря, что сейчас она как раз и трудится ради детей, так не стоит ли позаботиться о том, что им нужнее всего, еще до их рождения? В ответ Лиза лишь смеялась, называя меня сентиментальной и вовсе не похожей на ту воительницу, какой она меня раньше представляла. Но и несмотря на узость их партийных взглядов, я восхищалась их благородством, хотя уже и не встречалась с ними так часто, как в первые недели после нашего приезда; впрочем, в этом уже не было нужды — теперь я могла повсюду ходить сама, к тому же в моей жизни начали появляться другие люди.

Рассказы Билла Шатова о пропусках, безусловно, не были преувеличением — в Советской России они играли гораздо более важную роль, нежели паспорта при царском режиме. Например, никто не мог ни войти в нашу гостиницу, ни выйти из нее без особого разрешения, не говоря уже о посещении советских учреждений или государственных деятелей, для чего почти у каждого человека была целая папка пропусков и удостоверений. Зорин сказал мне, что это было совершенно необходимой предосторожностью против контрреволюционных заговорщиков, однако чем дольше я жила в России, тем меньше ценности видела в этих документах. На бумагу был огромный спрос, но целые ее кипы тратились на всяческие «разрешения», а на их получение уходило просто безумное количество времени; кроме того, возможности действительно контролировать пропуска не давало их обилие. Какой контрреволюционер, думала я, будет рисковать, выстаивая по многу часов в очередях за очередным пропуском? Для этого у него есть другие, гораздо более простые пути! Казалось, все встречавшиеся мне коммунисты были обуюны навязчивой идеей всепроникающей контрреволюции. Вне всяких сомнений, это было следствием ее жестоких ударов, и потому у меня не было морального права спорить: я слишком недолго прожила в России, чтобы советовать, как бороться с врагами революции. Да и что значили эти нудные бумажки в сравнении со свершенными завоеваниями?

Я во всём заставляла себя увидеть величайшую храбрость, беззаветную преданность революции и скромное величие тех, кто удерживал ее крепость перед натиском всего враждебного мира, решительно отказываясь смотреть на изнанку российского бытия; однако и не видеть этот изуродованный, покрытый шрамами лик было нельзя. Он манил, заставляя невольно бросать взгляды на горести и невзгоды: я хотела видеть только красоту и сияние, силу и мощь, но не могла сопротивляться притягательной силе безобразия их оборотной стороны. «Смотри! Смотри же! — словно усмехалась она. — Рядом с Петроградом полно лесов, способных обогреть каждый дом и запустить все заводы и фабрики, но город умирает от холода, а машины стоят. Крестьяне жалуются, что продразверстка силой отбирает у них все запасы; плодородная Украина отправляет на север целые эшелоны хлеба, однако люди в городах по-прежнему голодают, потому что добрая половина провизии теряется по пути, а остальное по большей части попадает на рынки, не доходя до голодающих. А постоянные расстрелы на Гороховой, где расположена ЧК — неужели тебе их не слышно? А планы введения тюрем для дефективных подростков не вызывают у тебя возмущения — у тебя, тридцать пять лет проклиная посягательства на права детей? Что ты вообще думаешь об этих ужасных пятнах, так умело скрывааемых под слоем

коммунистических румян?»

Раз за разом, словно мотылек, в попытках обрести свободу бьющийся об стекло, я натыкалась на эти противоречия и мучительно хотела понять, кто же сумеет развеять мои сомнения. Мне казалось, что это мог бы быть Зиновьев, или только что вернувшийся из Москвы Джон Рид, или Максим Горький; да, точно, Горький — великий пролетарский писатель, подлинный реалист, неизменно поднимающийся против всякой несправедливости и ярый защитник детства! Вот уж кто точно откроет мне глаза на то, где истинная Россия, а где её личина!

Я отправила Горькому записку с просьбой о встрече: дескать, блуждаю в хитросплетениях Советской России, то и дело натываясь на зловещие препоны, и тщетно ищу выход к революционному свету, а посему нуждаюсь в дружеской руке провожатого. Одновременно я завалила вопросами Зиновьева: «Неподалеку от Петрограда полно леса, почему же город замерзает?» «Да, топлива хватает, — отвечал Зиновьев, — но что толку? Мы в осаде; людей нет, тяги нет, откуда же взяться лесу в городе?» «А жители? — не унималась я. — Разве нельзя обратиться к ним с призывом взять топоры и веревки и привезти дрова — самим же себе? И разве это не сплотит людей и не настроит их за вас?» Это облегчит их страдания, отвечал Зиновьев, но отвлечет от первоочередных задач. Я спросила, в чем же они состоят. «В том, чтобы сосредоточить всю власть в руках передового пролетариата и авангарда революции, — объяснил Зиновьев, — то есть Коммунистической партии». «Дорогой ценой достанется вам эта власть», — заметила я. «Увы, это так, — кивнул он, — но единственная действенная сила в революционную эпоху — это диктатура пролетариата. Анархия и самостоятельность местных советов, пропагандируемые вашими вождями, возможно, принесут пользу в будущем, но не здесь и не сейчас, не в России, которую Деникины и Колчаки спят и видят, как бы раздавить и уничтожить — всю страну! А ваши соратники пекутся о судьбе одного-единственного города». То, что в полуторамилионном Петрограде население уменьшилось до четырехсот тысяч человек, было, по мнению коммунистов, пустяком... Я вышла от этого человека, убежденного в непререкаемой мудрости партии, нашедшего теплое местечко в созвездии марксистских небожителей и считающего себя одним из его главных светил, в полном отчаянии.

Подобно лучу света в темное царство в мою комнату ворвался Джон Рид — всё тот же прежний, жизнерадостный, жаждущий приключений Джек, которого я помнила по Штатам. Он собирался вернуться в Америку через Латвию — весьма опасное путешествие, сказал он, но ради того, чтобы его страна получила вдохновенное послание Советской России, он готов был пойти на любой риск. «Здорово! Чудесно, не правда ли, Э.Г.? — восклицал он. — Теперь ты в России и можешь воплотить свою давнюю мечту, всё еще высмеиваемую и преследуемую у нас, но которая по мановению волшебной палочки Ленина и его соратников, ненавидимых всеми большевиков, сбылась здесь. Могла ли ты подумать, что подобное когда-нибудь случится в стране, которой веками правили цари?»

«Не Лениным и его соратниками, дорогой Джек, — поправила я его. — Я не отрицаю их выдающегося вклада в общее дело, но все-таки революцию вершил весь русский народ с его славным революционным прошлым, и ни в одной более стране мира новая жизнь не всходила на длинной череде могил первопроходцев, обильно политая их мученической

кровью».

Однако Джек настаивал, что новое поколение не должно привязываться к старому, тем более, когда веревка намотана вокруг шеи. «Ты посмотри на этих пионеров, всех этих брешковских, чайковских, черновых, керенских и прочих, — горячился он, — посмотри, с кем они теперь? С черносотенцами, с погромщиками, с бандой дворян, и помогают им давить революцию! Да мне плевать на все их прежние заслуги — главное, что вся эта банда предателей делала в течение последних трех лет! К стенке их всех! Я выучил одно сильное и выразительное русское слово: расстрелять!»

«Перестань, Джек! — воскликнула я. — Это слово звучит ужасно и из русских уст, а от твоего американского акцента у меня просто кровь стынет в жилах. С каких это пор массовые казни стали единственным революционным методом? Конечно, во времена активной контрреволюции приходится отвечать выстрелом на выстрел, но скажи мне, положи руку на сердце, чтобы я знала твое мнение: ты действительно оправдываешь то, что в подобных обстоятельствах людей ставят к стенке?» Я обратила его внимание на то, что советская власть, видимо, уже поняла неэффективность этих варварских по своей сути методов, отменив смертную казнь, о чем сказал мне Зорин. Но если Джек так оживленно говорит о стенке, выходит, этот декрет уже отменили? Подумала я и о стрельбе, слышавшейся в городе по ночам; Зорин говорил, что это курсанты, юные большевики, обучающиеся на командиров в военных школах. «Ты что-нибудь знаешь об этом, Джек? — спросила я его. — Только говори правду».

Он ответил, что ему известно о пяти сотнях расстрелянных за контрреволюцию буквально накануне вступления пресловутого декрета в силу, но это была оплошность чересчур рьяных чекистов, которых за неё строго наказали. Больше он о расстрелах не слышал, но, полагая меня революционеркой до мозга костей, которая ради защиты революции не остановится ни перед чем, удивляется тому, что меня так заботит смерть нескольких заговорщиков: как будто это имеет какое-то значение в масштабе мировой революции!

«Наверное, я сошла с ума, — ответила я. — Или же не понимаю смысла революции. Естественно, я никогда не думала, что ей могут быть безразличны жизнь и страдания человека, и у нее не будет иных методов, кроме массовых убийств. Пятьсот жизней, отнятых буквально за день до отмены смертной казни, ты называешь оплошностью, я же считаю это подлым и трусливым преступлением, худшим из произвола, совершенного именем революции».

«Ничего, — сказал Джек, пытаюсь успокоить меня. — Ты просто запуталась, увидев революцию воочию, потому что всегда изучала ее только в теории. Ты справишься с этим, увидев всё, так тревожит тебя, в ином свете. Не бери в голову, лучше свари мне чашечку старого доброго американского кофе, который ты привезла с собой. Этот кофе — ничто по сравнению с тем, что моя страна отняла у тебя, но здесь, в голодающей России, он очень кстати и будет с благодарностью принят сыном Америки».

Меня всегда поражала его способность так быстро переключаться на добродушный тон. Это был всё тот же Джек, с его страстью к приключениям и неизменно приподнятым

настроением. Мне хотелось разделить с ним его веселье, но на сердце у меня было тяжело: я вспомнила былое, родных, Елену и всех, кто мне был дорог. За последние два месяца я не получила от них ни строчки, отсутствие известий усугубляло моё беспокойство, и силы мне вернуло лишь весьма кстати пришедшее Сашино письмо, в котором он звал меня в Москву.

Он писал, что столица намного живее Петрограда, что там много людей, с которыми мне было бы интересно встретиться, и несколько недель в Москве помогли бы мне лучше понять ситуацию. Конечно же, я захотела ехать немедленно, но уже знала, что в Советской России недостаточно было просто купить билет и сесть в поезд; я сама видела людей, сначала отстоявших несколько дней в очереди за разрешением на поездку, а потом снова стоявших — теперь уже за билетами. Даже с помощью Зорина подготовка к отъезду заняла у меня десять дней: благодаря ему меня удалось записать в группу направлявшихся в Москву известных деятелей, среди которых был Демьян Бедный, официально признанный советский поэт, который должен был помочь мне устроиться в гостиницу «Националь». Зорин, как всегда, был любезен, но я чувствовала, что он стал холоднее обычного.

На вокзале выяснилось, что попутчики у меня будут выдающиеся: в одном вагоне со мной должны были ехать счастливо избежавший участи Либкнехта, Розы Люксембург и Ландауэра Карл Радек, глава всех питерских профсоюзов Циперович, Максим Горький и несколько звезд чуть меньшей величины.

До этого Горький, получивший мою записку, уже приглашал меня поговорить, но в тот раз беседа не состоялась: он мучился жестокой простудой и постоянно кашлял, а вокруг него суетились сразу четыре женщины, ловившие каждый его взгляд; увидев же меня в вагоне, он пообещал зайти, чтобы мы все-таки побеседовали по дороге. Сгорая от нетерпения, я ждала его весь день, но он так и не появился, да и вообще до самого вечера меня никто не побеспокоил, кроме разве что проводника, предлагавшего бутерброды и чай.

Тем временем Радек устроил в соседнем купе нечто вроде раута, на котором по исконно русскому обычаю все говорили одновременно, но поскольку щуплому порывистому Карлу удавалось вставлять свои реплики чаще других, казалось, что это была не беседа, а его трескучий монолог. Я утомилась и задремала; вскоре мне приснилось, что в купе кто-то есть, но это был не сон: надо мной высилась длинная сухощавая фигура великого пролетарского писателя. Он выглядел нездоровым, гораздо старше своих пятидесяти лет, его лицо было изборозжено болью, а когда я пригласила его присесть, он устало рухнул на сиденье.

Я с воодушевлением ждала разговора с Горьким, но сейчас не знала, с чего начать. «Он же ничего обо мне не знает, — думала я. — Еще решит, что я обычная искательница острых ощущений, настроенная против революции, или, чего доброго, ищущая в ней недостатки исключительно в силу личной неустроенности или невозможности иметь „хлеб с маслом и грейпфрут на завтрак“ и прочие американские прелести». Именно так истолковали жалобу Морриса Беккера на невыносимый смрад и залежи грязи в цеху, где он работал. «Ты избалованный буржуй, — рычал на него комиссар. — Ты соскучился по удобствам капиталистической Америки, но у диктатуры пролетариата есть заботы поважнее вентиляции или чистых шкафчиков». Тогда я посмеялась над этим рассказом, теперь же

меня снедали сомнения: не сочтет ли Максим Горький меня избалованной буржуйкой, сетующей на невозможность найти в Советской России благосостояние капиталистической Америки? Да нет же, тут же успокоила я себя, невозможно представить и нелепо даже думать, будто Горький способен на глупую болтовню, подобно тому комиссаришке: провидец, отыскавший красоту на самом дне общества, разглядевший в опустившихся людях благородство их душ, несомненно, достаточно прозорлив, чтобы правильно оценить мое правдоискательство, и лучше всех разберётся, почему эти поиски так трудны.

Я все-таки заговорила, начав с того, что, прежде чем излить душу, должна рассказать о себе. «В этом нет необходимости, — прервал меня Горький, — я неплохо осведомлен о том, что вы делали в Соединенных Штатах; но даже если бы я этого и не знал, мне было бы вполне достаточно того, что вас выслали за идеи». «Благодарю вас, — ответила я, — но все-таки мой рассказ нуждается в предисловии». Горький кивнул в знак согласия, и я стала говорить — о своей вере в большевиков с самого начала Октябрьской революции, о том, что защищала их и Советскую Россию, даже когда в поддержку Ленина и его соратников осмеливалась выступать лишь горстка радикалов, и о том, что ради этого отвернулась даже от Екатерины Брешко-Брешковской, которая была для нас светочем эпохи. Встать на защиту политических оппонентов, в одиночку перекрикивая всеобщую ненависть к ним, было совсем не просто, но можно ли думать о разногласиях, когда на кону революция? Ленин и его соратники стали для меня и моих ближайших соратников её воплощением, и поэтому мы с радостью отдали бы за них свои жизни. «Надеюсь, вы не думаете, будто я хвастаюсь или преувеличиваю сложности нашей борьбы за Советскую Россию в Америке?» — спросила я.

Горький вновь кивнул, и я продолжила: «Тогда вы должны согласиться и с тем, что я, хоть и анархистка, но отнюдь не наивна: я не верю, что на обломках прежней России новая власть вырастет за одну ночь». Мой собеседник воздел руки, словно прерывая меня: «Если всё это так, а у меня нет причины сомневаться в ваших словах, то отчего же вы удивляетесь увиденному в Стране Советов? Вы опытная революционерка, а посему должны знать, что революция — дело мрачное и безжалостное. Бедная Россия отстала и неразвита, а ее жители, веками пребывавшие во тьме невежества, — самый грубый и ленивый народ в мире». От этих ужасных слов в адрес всего русского у меня перехватило дыхание; буде это и так, сказала я ему, но столь огульное обвинение, по меньшей мере, чудовищно — ни один из российских писателей никогда не произносил ничего подобного, и лишь он, Максим Горький, первым взглянул на это с иной стороны, не сваливая вину на осаду, деникиных и колчаков.

Он недовольно заметил, что «романтическая концепция наших литературных гениев» в корне неверно рисует и русского человека, и то, как ему надлежит бороться со злом. Революция разбила представления о крестьянине как о наивном добряке, показав, что он может быть жесток, скуп, ленив и необуздан в своей садистской радости; роль же всех этих контрреволюционных юденичей, добавил он, слишком очевидна, поэтому нет нужды упоминать ни о ней, ни об интеллигенции, более полувека талдычившей о революции, но первой нанесшей ей в спину удар саботажа и заговоров. Однако всё это следствия, а не главная причина, корни которой уходят в грубость и отсталость русского народа, сказал он: в России нет культурных традиций и общих ценностей, нет уважения к человеческим правам и к самой жизни, и это невозможно изменить ничем, кроме как принуждением и

силой, к которым веками привыкали русские люди.

Я живо возразила, сказав, что, вопреки его вере в превосходство других народов, первыми поднялись именно необразованные и отсталые русские люди, которые всего за двенадцать лет встряхнули Россию сразу тремя революциями и дали жизнь Октябрю. «Красиво, — заметил Горький, — но не совсем верно». Он признал заслуги крестьянства в октябрьском перевороте, хотя, с его точки зрения, это было все-таки не всеобщим осознанным порывом, а всего лишь выплеском копившегося десятилетиями гнева, и без направляющей ленинской руки грандиозные цели Октября, скорее всего, не были бы достигнуты. Горький утверждал, что истинным отцом революции был Ленин, гений которого ее придумал, вера вскормила, а его стараниями она созрела. Прочие же, то есть горстка большевиков, опиравшихся на рабочих Петрограда и кронштадтских матросов, лишь помогли этому детищу явиться на свет, но с самого момента рождения Октября его пестовал именно Ленин.

«Этот ваш Ленин прямо чудотворец какой-то! — воскликнула я. — А ведь вы не всегда считали его божеством, а его соратников непогрешимыми!» Я напонила Горькому его язвительные обвинения в адрес большевиков в газете «Жизнь», которую он редактировал во времена Керенского; почему же он изменил свою точку зрения? Да, он напал на большевиков, признал Горький, но развитие событий убедило его в том, что революция в дремучей, населенной варварами стране без жесточайших методов защиты обречена. Большевики не скрывают, что наделали множество ошибок и продолжают их совершать, но подавление свобод одной личности ради всеобщих интересов, ЧК, тюрьмы, террор и казни — всё это выбирали не они: Советская Россия была вынуждена применить эти неизбежные в революционной борьбе меры.

Он явно утомился, и я не стала его задерживать, когда он засобирался; пожав мне руку, он, сгорбившись, вышел из купе. Я тоже устала, но больше от тщетных попыток понять, какой же из двух представших передо мной Горьких ближе подобрался к разгадке русской души — создатель «Макара Чудры», «Челкаша», «На дне», «Двадцать шести и одной», бытописатель русского народа, рисовавший его человечным, по-детски простодушным и трогательным в своих призрачных надеждах, или тот, что жил на «дне жизни», где «грязь и тьма», и слышал «правдивый голос», точнее, «звериный рык оставшихся там, внизу, которые отпустили [его] ... для свидетельства о страданиях их»? Когда Горький открыл подлинную Россию — написав эти строки или принявшись обожествлять Ленина? «Сто миллионов людей, жестоких дикарей, которых можно держать в узде только варварскими методами»... Действительно ли он верил этим чудовищным бредням, или сам придумал их, тщась возвеличить своего божка? Горький был моим кумиром, и я ни в коей мере не собиралась его ниспровергать, но окончательно убедилась: мои сомнения не разрешит ни он, ни кто другой; только время и долгие, методичные поиски помогут мне понять цепь причин и следствий революционной борьбы в России.

По соседству уже было тихо — все, видимо, разошлись по своим купе; поезд мчался вперед, я прилегла, но уснуть мне мешали мысли о Ленине. Что же это за человек и чем он так привлекает к себе всех, даже тех, кто с ним не согласен? Троцкий, Зиновьев, Бухарин и другие выдающиеся личности, с которыми я встречалась, по-разному смотрели на многие вещи, но в оценке Ленина были единодушны: самый ясный ум во всей России, железная

воля, несгибаемое упорство в достижении целей любой ценой — и ни единого намека на великодушие.

Думала я и о Доре Каплан и её неудавшемся покушении. Ее историю рассказал мне один из приятелей Билла Шатова, горой стоявший за Ленина и большевиков, и это стало одним из первых моих потрясений в Петрограде. Решительно осуждая попытку убийства Ленина (которая, окажись рана смертельной, привела бы к поистине ужаснейшим последствиям для всей России), он, тем не менее, с величайшим уважением говорил о Доре, ее революционном идеализме и силе характера, озадачившей даже ЧК. Этой девушкой двигало убеждение, что переговорами в Брест-Литовске Ленин предал революцию, и эту уверенность полностью разделяла не только её партия, но и левые эсеры, и анархисты, и даже многие коммунисты. О заключенном с кайзером перемирии Троцкий, Бухарин, Иоффе и другие видные большевики спорили с Лениным до хрипоты, однако настойчивость вождя вкупе с бесхитростной идеей «передышки», в конце концов, одолели оппозицию. Многие утверждали, что эта передышка обернется удушьем, и это будет означать конец революции, и вся ответственность ляжет на Ленина; но только один-единственный человек, хрупкая девушка по имени Дора Каплан перешла от слов к делу, попытавшись убить предателя до того, как он убьет революцию.

«В России быстро работает только ЧК, — циничной усмехнувшись, сказал мой собеседник. — Разобрались с ней мгновенно, не тратя времени на суд». Поскольку, невзирая на пытки, назвать имена соучастников Дора Каплан отказалась, комендант Кремля недрогнувшей рукой прервал ее земные муки, а снискавший любовь и преклонение миллионов людей во всём мире Ленин для спасения несчастной девушки не сделал ничего. Эта чудовищная история преследовала меня несколько недель, и вера в человечность Ленина вернулась ко мне только после рассказа о спасении им Билла Шатова от «быстрой работы» ЧК. В конце концов, ему тоже не чуждо благородство, подумала я; возможно, тогда он был еще слишком болен и слаб, чтобы вмешаться и спасти Дору, а может, ему попросту не говорили о пытках. Да и прошло уже почти два месяца, и сейчас я ехала на встречу с человеком, который когда-то был ссыльным и заключенным, а теперь держал в своих руках будущее всей России.

Сквозь сон я услышала, как проводник прокричал: «Москва!» Выйдя на перрон, я обнаружила, что почти все мои попутчики, в том числе и Демьян Бедный, уже разошлись. Ни один человек, кроме Саши, не знал, что я еду в столицу, и потому я растерялась: как сообщить ему о моём прибытии? Уже зная, что чемоданы в России исчезают порой прямо на глазах, я побоялась идти на поиски извозчика, вместо этого остановившись посреди перрона и соображая, как быть. Неожиданно меня окликнул знакомый голос — это был Радек, до этого мирно беседовавший с друзьями. Я не хотела просить у него помощи, потому что всю поездку он делал вид, будто мы незнакомы, но сейчас он сам подошел ко мне и спросил, может ли он чем-нибудь поспособствовать. Я была готова обнять этого маленького добряка, но боялась скомпрометировать его своей «буржуйской сентиментальностью», извечным поводом для насмешки среди революционеров, и потому просто назвала его настоящим рыцарем, выгодно отличающимся от назначенного мне Зориным провожатого, который вместо обещанного сопровождения до самой Москвы и устройства на квартиру попросту трусливо бежал. «Рыцарство? Да ну, чепуха! — засмеялся Радек. — Хоть вы и не из нашей партии, но мы же соратники, верно?» «А откуда вы знаете,

кто я?» «Новости в России распространяются быстро, — ответил он. — Вы анархистка, вы Эмма Гольдман, вас выслали из плутократической Америки, и вот вам три веские причины рассчитывать на мою товарищескую помощь».

Он пригласил меня в свой автомобиль, предложив показать «товарищу шоферу», где меня высадить, но я отвечала, что знаю лишь улицу и номер дома, однако мой товарищ Александр Беркман, который там остановился, не знает о моём приезде, и потому я боюсь его не застать. Радек потребовал немедленно назвать имя «свиньи», бросившей меня на произвол судьбы, но я попросила его выбирать слова в адрес человека, который занимает важное положение и «зарабатывает на хлеб, рифмуя лозунги». «А, Демьян! — рассмеялся Радек. — Ну, это точно свинья, причем, хоть и жирная, но весьма быстро бегающая от ответственности». Тем не менее, найти в Москве жилье действительно очень нелегко, сказал он: город переполнен, ночевать негде, но мне не стоит беспокоиться — пока что он отвезет меня к себе в Кремль, а там будет видно.

После почти безлюдного Петрограда Москва показалась мне кипящим котлом: повсюду были толпы людей, почти каждый тянул за собой тюк или санки, спеша, толкаясь и оттирая в сторону остальных и ругаясь так, как умеют это делать только русские. Бросалось в глаза обилие суровых с виду личностей, одетых в солдатскую форму или затянутых в кожу и обвешанных кобурами. Джон Рид не преувеличивал, когда говорил, что Москва похожа на военный лагерь: в Петрограде тоже хватало солдат и чекистов, но за все десять проведенных мною там недель я не встретила их столько, сколько попало мне на глаза в первое же московское утро.

Радек и его машина были, очевидно, хорошо известны кому надо: нас не остановили ни на одном из постов и даже во время нашего стремительного въезда в ворота Кремля. Вид этих каменных стен напомнил мне о царизме: веками властители страны жили в этих огромных роскошных дворцах, и мощная кирпичная кладка надежно скрывала их загулы и черные дела. Но действительность куда заманчивее преданий, подумала я — еще вчера наделенные незыблемой властью, сегодня они сброшены со всех престолов, и оплакивают их немногие, а все остальные тут же их позабыли. Впрочем, рассуждала я, и зодчие новой России в креслах всемогущих властителей минувшего не совсем уместны: интересно, не гнетут ли их жуткие призраки прошедших эпох? Прошло всего несколько часов, как я оказалась в Кремле, а мне уже кажется, будто зловещие тени стали воскресать из мертвых...

От тягостных мыслей меня избавили радушие и гостеприимство госпожи Радек вкупе со счастливым неведением их бутуза, которому было наплевать на проклятое прошлое. Сам же Карл Радек, подвижный как ртуть, не мог усидеть ни минуты: он то бросался к телефону, то стремительно хватал ребенка, чтобы покачать его на коленях, поговорить с ним и посмеяться, и даже во время нехитрого обеда он умудрялся быть повсюду и одновременно нигде. Его супруга, нянчившая мужа, пожалуй, даже больше, чем сына, казалось, вовсе не обращала внимания на его нервные движения; однако всякий раз, когда он, подобно воздушному шарик, взмывал со стула, она мягко, но решительно усаживала его обратно и заставляла вновь браться за вилку, угрожая в противном случае кормить его с ложечки. Поначалу это выглядело забавным, но вскоре это однообразие стало меня утомлять.

После обеда хозяин пригласил меня в кабинет — большую, светлую комнату с высокими потолками, уставленную красивой резной мебелью и множеством книг, выстроившихся от пола до потолка. Здесь Радек преобразился: его суетливость куда-то делась, и он принялся рассуждать о немецкой революции и о том, что в Германии социалисты не сумели добиться того же, что и в России. Больших перемен не случилось, сказал он: радикальные преобразования были незначительны, трусливые социалисты не смогли даже разоружить контрреволюционных юнкеров — неудивительно, что восстание спартаковцев захлебнулось кровью рабочих. С глубоким чувством говорил он об ужасной участи Карла Либкнехта, Розы Люксембург и анархиста Густава Ландауэра: по его словам, я могла гордиться своим единомышленником, которого природа наделила светлым умом и чистой душой. Несмотря на то, что Ландауэр был ученым-гуманистом, он примкнул к народу и погиб так же, как жил, до конца оставаясь примером для подражания. «Если бы только с нами были такие анархисты, как Густав Ландауэр!» — с энтузиазмом воскликнул Радек. «Но ведь с вами и так немало анархистов, — отвечала я, — и многие из них, насколько я понимаю, достаточно одаренные люди». «Да, верно, — признал он, — но Ландауэров среди них все-таки нет: одни придерживаются буржуазной идеологии, и потому превращают революционную борьбу в интриги; другие же вообще контрреволюционны и представляют прямую опасность для Советской России». Его тон теперь был жестким и нетерпимым — не так он говорил со мной на вокзале и за обедом, совсем не так!

Наш разговор прервали какие-то посетители, но я ничуть не огорчилась: будучи признательной Радеку за участие во мне, я не могла выносить его коммунистическое фанфаронство и с радостью воспользовалась поводом вернуться в квартиру. Там хотя бы можно было поиграть с ребенком: невинное дитя еще не успело напитаться марксистскими догмами и еще недостаточно подросло для того, чтобы быть — в соответствии с заветами единомышленников его папаши — подстриженным под общую для всех гребенку.

Пара звонков из Кремля коменданту гостиницы «Националь» — и о чудо: комната для меня найдена! В десять вечера Радек, с искренней сердечностью заверив меня, что в случае необходимости я всегда могу к нему обращаться, дал мне свой автомобиль, который и отвез меня на новое место жительства вместе с багажом. Ночная Москва была так же пустынна и темна, как Петроград; мы проехали через множество постов, на которых наш автомобиль останавливали традиционным «Пропуск, товарищ!» Мыслями я была еще у семейства Радек: да, они щедро, от всего сердца поделились всем, что у них было, со мной — с чужим, по сути, им человеком; но поступили бы они так же, если бы узнали, что я не разделяю их политических верований? Ах, сердце человеческое! Насколько же ты полно добра и щедрости до тех пор, пока не изведает классовой борьбы и политических склок; и как же тебя уродует первое и ожесточают вторые!...

За всё время нашего с Сашей знакомства не бывало такого, чтобы мы находились в одном городе, но не могли друг с другом связаться. Радек весь день безуспешно названивал ему на квартиру и, увидев, что я расстроена, пообещал, что «товарищ Беркман» непременно будет дома не позже полуночи: в Москве введены суровые меры безопасности, и никто не посмеет оставить его у себя в гостях, не уведомив об этом коменданта, а тот, в свою очередь, не позволит неизвестному задержаться в подчиненном ему здании дольше положенного времени. Я поинтересовалась, почему же тогда Радек предлагает мне

остаться на ночь у них, и получила недвусмысленный ответ: оказывается, Кремль находится под усиленной круглосуточной охраной, да и живут здесь лишь проверенные товарищи, которые не зовут к себе кого попало; поэтому мне следует спокойно дождаться полуночи и еще раз позвонить Беркману.

Радек оказался прав: около часа ночи я все-таки дозвонилась до Саши, который, не зная о моём приезде, уходил на весь день. Он очень обрадовался, но прийти за мной прямо сейчас не мог — его пропуск был действителен только до полуночи, поэтому он пообещал, что явится утром; впрочем, чтобы успокоиться и не чувствовать себя одинокой в большом и чужом городе, мне было достаточно и одного Сашиного голоса.

Мой старый приятель действительно прибыл очень рано — аккурат к «утреннему кофе»: по его словам, он не пил его с тех самых пор, как уехал из Петрограда, да и вообще с припасами в Москве было неважно. Я удивилась, поскольку знала, что Саша брал из наших американских запасов продуктов на несколько недель, и Лансбери даже шутил: мол, он гость советского правительства, а значит, не будет иметь ни в чем недостатка и, конечно же, с удовольствием поделится с «товарищем Беркманом». Но Саша писал мне о том, что чувствует себя неважно, однако ни словом не обмолвился о том, что голодает, равно как и о том, сдержал ли Лансбери свое обещание. Я в шутку спросила его, не красоты ли ради он голодает и худеет, на что Саша со смехом ответил, что «... в России в этом нет необходимости». Его запасов хватило ненадолго по иной, гораздо более прозаической причине: он видел столько голодающих, что по количеству окормленных своим хлебом превзошел Христа.

Что же касается дружеского участия господина Лансбери, то оно закончилось немедленно после того, как он попал в заботливые руки Наркомата иностранных дел: гостя из Англии поселили в резиденции заместителя наркома Карахана, до того бывшей особняком некоего сахарного короля. К сожалению, для Саши комнаты там не нашлось, а сам Лансбери не соизволил озаботиться вопросом пристанища для своего спутника и переводчика. Поскольку, как сообщили Саше, его приезда не ожидали, и у него не было ни единого клочка бумаги, который удостоверял бы его личность, в конце концов, его выпроводили в некий дом Советов, что в Харитоньевском переулке. Однако тамошний комендант заявил, что свободных комнат не имеется, и Сашу выручил некий эсер, по счастью, совсем недавно вернувшийся из Сибири, куда его отправляли для выяснения обстановки, и остановившийся в том же доме. Он не побоялся комендантского гнева и предложил Саше разделить с ним ночлег, а буквально через несколько дней у моего друга появилось официальное удостоверение за подписью самого Чичерина 14. Это был не просто документ, а прямо-таки золотой ключик, открывающий не только двери, но и сердца: прямо в том же доме Советов неожиданно обнаружилась свободная комната, и вообще, все официальные лица становились радушнее ровно через секунду после того, как Саша предъявлял им свой талисман.

А вот с едой в Харитоньевском было не ахти: кормили неплохо, но порции были настолько малы, что взрослый человек никак не смог бы ими наесться. Некоторые жильцы умудрялись добывать себе приварок, Саша же об этом не думал, к тому же из-за черного хлеба у него сильно болел желудок, отчего он почти перестал есть. Но ничего, теперь-то уж потерянный

вес вернется, шутил он: я уже в Москве и буду, как прежде, готовить замечательные блюда практически из ничего. Ах, милый Саша! Как замечательно он умел приспособливаться к окружающим его условиям и находить смешное буквально во всём!

Самым большим развлечением в том месте, где обитал Саша, были, по его словам, люди. В Харитоньевском попадались по-настоящему интересные типы — там останавливались гости из Китая, Кореи, Японии, Индии и других стран, прибывшие изучать завоевания Октября в надежде на помощь их народам в деле освобождения. Наши же московские соратники, продолжал он, чувствуют себя вполне свободно. Так, анархо-синдикалисты из группы «Голос труда» свободно печатают и продают свои книги в магазине на Тверской, универсалисты еженедельно проводят в кооперативной столовой открытые собрания, обсуждая на них проблемы революции, и даже наш давний товарищ, армянин 15 Атабекян (между прочим, друг Кропоткина) издает в маленькой, но собственной типографии некую анархистскую листовку. «Удивительно, — заметила я, — что у московских анархистов свободы неизмеримо больше, чем у их товарищей в Петрограде! Не сомневаюсь, что по большей части их рассказы о зверствах большевиков — просто выдумки, но то, что они собираются тайком, истинная правда». Саша ответил, что тоже столкнулся со множеством противоречий — например, в то время, как одни наши соратники безвинно томились в тюрьмах, остальные как ни в чём не бывало продолжали свою деятельность; впрочем, скоро я сама всё узнаю: группа универсалистов пригласила нас на свою конференцию, посвященную рассмотрению революции и текущей ситуации с позиций анархистов, и на нём выступят сразу трое известных ораторов.

Я с нетерпением ждала предстоящее собрание, из которого надеялась составить правильное представление о российской действительности, а пока каждый день по несколько часов гуляла по Москве, иногда с Сашей, но чаще сама: он жил слишком далеко, примерно в часе ходьбы от «Националя», к тому же там не ходили трамваи, а извозчиков было мало. Но на том, чтобы мы хотя бы раз в день ели вместе, я все-таки настояла: Саше нужно было восстанавливать силы, а я привезла из Петрограда немалую часть наших припасов. К тому же на московских рынках шла бойкая торговля, и я не видела предательства идеалов революции в том, чтобы покупать там всё необходимое.

Зорин часто говорил мне, что любая торговля строго запрещена, поскольку является злостным проявлением контрреволюции, а когда я указывала ему на многолюдные базары, он заверял меня, что там одни спекулянты. В ответ я говорила, что голодать при имеющейся возможности купить еду — глупо, что в этом нет никакого героизма и пользы для революции: голодный человек не может трудиться, а без этого ее ожидает крах. Зорин снова заводил песню о том, что ответственность за нехватку продовольствия несут интервенты и белые генералы, устроившие Стране Советов настоящую осаду, но мне уже претило это однообразное, как четки, перечисление российских бед. Я не оспаривала фактов, на которые опирались Зорин и его единомышленники, но считала, что если советская власть не может предотвратить торговли, она должна хотя бы закрыть рынки; если же продажа еды фактически разрешена, запрет ее покупать только ухудшит положение, тем более, что деньги уже ходили, а власть активно печатала денежные знаки. На это Зорин отвечал, что правильно понять ситуацию мне мешают теоретические представления о революции.

Главным рынком Москвы была знаменитая Сухаревка — самая изумительная из увиденных мной в России картин несовпадения идеального и реального. Здесь собирались самые разные люди всевозможных чинов и званий, лишившиеся теперь титулов и власти. Интеллигенция и крестьяне, профессора и неграмотные, буржуи, солдаты, рабочие здесь пихали локтями своих вчерашних противников, неумело нахваливали свой скудный товар или лихорадочно торговались. Прежние сословные барьеры были сметены до основания, но, увы, не равенством коммунизма, а всеобщей нуждой и голодом. Здесь можно было увидеть удивительной работы иконы рядом с ржавыми гвоздями, прекрасные ювелирные украшения соседствовали с безвкусными копеечными безделушками, а дамасские шали — с линялыми одеялами, и среди этих остатков былой роскоши толкались люди, продиравшиеся сквозь пеструю толпу ради обладания вожделенными ценностями. Это было поистине захватывающее зрелище, доказывающее безраздельное властвование первобытных инстинктов.

По сравнению с Сухаревкой отношение властей к менее оживленным торжищам было вопиюще несправедливым. Небольшой рынок у «Националя», где собирались беднейшие, отчаянно пытавшиеся выжить люди, то и дело разгоняли, отбирая у жалких, опустившихся людей их такого же свойства товар — мерзко пахнущие щи, мерзлую картошку, неугрызимые сухари или несколько коробков спичек, которые они трясущимися руками протягивали прохожим, приговаривая дрожащими голосами: «Купи, барыня, купи, ради Христа, купи!» Во время облавы всё, что составляло предмет торговли, подвергалось конфискации (иногда, по большей части его просто вываливали на землю), а несчастных продавцов волокли в тюрьму за спекуляцию; те же, кому удавалось избежать несчастливой участи, вскоре возвращались, подбирали разбросанный товар и снова начинали свою жалкую торговлю.

Большевики, как и все сторонники социальной революции, считали голод основополагающей из всех зол капиталистического общества. Они, непрестанно осуждавшие систему, каравшую пороки безотносительно причин их появления, к моему вящему удивлению, теперь сами шли этим чудовищным, безумным путём. Конечно, царящий всюду голод не был делом их рук — главными его причинами действительно были осада и военная интервенция, но тогда было бы гуманно и даже разумно не преследовать и не наказывать их жертв. Саша, потрясенный жестокостью и бесчеловечностью одной из таких облав, горячо протестовал против грубости, с которой солдаты и чекисты разогнали толпу людей, и от ареста его спас лишь мандат за подписью Чичерина. Увидев бумагу, схвативший его тут же рассыпался в извинениях перед «иностранным товарищем»: он-де только выполняет свой долг и приказы командиров, а сам ни в чем не виноват.

Судя по всему, новая власть, обретающаяся за кремлевскими стенами, внушала России страх не меньший, чем прежние правители, а официальная печать на документе была наделена той же волшебной силой, что и в старые времена. «В чем же тогда перемены?» — спросила я Сашу. «Нельзя судить о коренных переломах в общественном сознании по нескольким частностям», — ответил он. Нет, это не просто частности, думала я; они казались мне порывами ветра, угрожающими строительным лесам, которыми моё воображение руками большевиков окружило революцию. Все-таки моя вера была слишком сильна, чтобы обвинять их во всех бедах и ошибках, встречающихся на каждом шагу и

множащихся день ото дня. Я пыталась не обращать внимания на уродливые факты, полностью противоречившие тому, что на весь мир заявляла Советская республика, старалась даже не думать о них, но они выглядели уже из-за каждого угла, так что не замечать их было невозможно.

В «Национале», где жили почти сплошь коммунисты, был невероятно раздутый штат поваров, понапрасну тративший время и драгоценное продовольствие на приготовление несъедобной еды; а прямо по соседству находилась другая столовая, где специально нанятая обслуга кормила крупных советских работников. У последних были неслыханные привилегии: они, а заодно и их друзья получали порой по три пайка, в то время как простые смертные тратили последние силы на добычу необходимого им скудного рациона.

Распределение жилья тоже было предвзятым и несправедливым. Имея деньги, можно было легко снять большую, хорошо меблированную квартиру, а чтобы добиться положенной по ордеру темной каморки без водопровода, отопления и света, нужно было несколько недель унижаться перед мелкими чиновниками, и тот, кто после этих изматывающих усилий не обнаруживал, что выделенная ему хибара уже кем-то занята, мог считать себя счастливым. Верилось в это с трудом, но опыт некоторых товарищей, в том числе одной моей знакомой, а также Мани и Василия Семеновых, с которыми я подружилась в Америке, доказывал обратное. Они одними из первых устремились в Россию сразу же после революции, и с тех пор честно трудились в различных советских учреждениях на ответственных постах. Однако для того, чтобы получить жилье, им пришлось несколько месяцев обивать пороги разных учреждений, и радость от окончания этих мытарств длилась ровно до того момента, когда выяснилось, что выделенную им комнату уже занял какой-то мужлан. «Но мы же не можем жить вместе с вами», — пыталась объяснить новоявленному соседу Маня. «Ну и что? — отвечал тот. — В Советской России все равны; я долго боролся за эту дыру и не могу от нее отказаться. Давайте, я буду спать на полу, а вы, так уж и быть, на кровати!» «Это было очень любезно с его стороны, — рассказывала мне девушка, — но жить в одной комнате с совершенно посторонним человеком я не могла, а потому отказалась от этого жилища и начала искать другое».

Оставлять без внимания столь многочисленные гнойники на теле революционной России было невозможно. Факты, обнародованные московскими анархистами на конференции, краткий анализ текущей ситуации, представленный ведущими левыми эсерами, и мои беседы с обычными, не состоявшими ни в каких партиях людьми позволили мне заглянуть за кулисы масштабной революционной драмы и увидеть диктатуру без грима, во всей её первозданной красе. Это зрелище разительно отличалось от публичных заявлений: взимание налогов под дулами винтовок разоряло города и деревни, а имевшие смелость высказывать вслух свои мысли изгонялись с постов и даже из партии. Большевики всё сильнее укрепляли свою власть, обрекая на духовную смерть тех, кто своим умами, верой и отвагой спасал революцию: в памятные октябрьские дни анархисты и левые эсеры стали пешками в разыгрываемом Лениным дебюте, а теперь, когда дело дошло до миттельшпиля, ими можно было смело пожертвовать.

Те, кто покидал страну по политическим причинам, рисковал своими родными: в Советской России их брали в качестве заложников, не гнушаясь стариками и младенцами. Люди

тряслись от страха перед облавами — в любую минуту, особенно по ночам, к вам могли ворваться несколько оголтелых чекистов и перевернуть всё вверх дном в поисках якобы секретных документов, — и засадами, оставляемыми после таких обысков с целью арестовать всех, кто имел несчастье явиться в подозрительную квартиру. Доказательства были зыбкими, а наказания — суровыми: длинные сроки заключения, высылка в отдаленные места и даже казни.

Собственно, всё это я уже слышала от петроградских товарищей, но теперь, когда все свидетельства сложились воедино, потрясение стало слишком серьезным. Будучи ослеплённой блеском революции, я отказывалась признавать эти обвинения и отмахивалась от своих соратников; и хотя теперь моему взгляду была открыта вся сущность большевизма, я всё равно не могла поверить в очевидное. Я была совершенно сбита с толку; земля буквально уходила у меня из-под ног, и я, подобно утопающему, хваталась за соломинку, в мучительных раздумьях споря сама с собой: «Большевизм — это „мене, текел, фарес“¹⁶ над каждым престолом, это лютей враг власти денег; путь его тернист, преграды многочисленны, подъемы круты. Может ли он ошибаться? Да, может! А может ли он сам себе противоречить, став Иудой для обездоленных и угнетенных, предав собственные завоевания и идеалы? Ни в коем случае! Этого просто не может быть, потому что нельзя погасить самую яркую звезду, освещающую этот мир!»

Однако в своих обличениях власти московские анархисты были непоследовательны. Когда мы стали возражать против абсурдной и нелогичной резолюции, требовавшей разрешить анархистам работать легально и выпустить из тюрем наших товарищей, они ответили нам, что Советское государство отличается от всех прочих. «Ни в одной стране мира анархисты никогда не просили о благосклонности, — не соглашались мы, — потому что никто не верит в лояльность анархистов к власти. Почему же вы просите большевиков, тем более, обманувших доверие?» Однако наши российские товарищи настаивали на том, что, несмотря на все свои преступления, большевистское правительство по своей природе и задачам является революционным и пролетарским, после чего мы согласились подписать петицию и передать ее в соответствующие инстанции.

В нас с Сашей не ослабевала уверенность в том, что большевики — наши братья по общей борьбе, и мы поставили на кон собственные жизни и революционные надежды. Веря в то, что Ленин, Троцкий и их соратники были душой революции и ее самыми ревностными защитниками, мы решили пойти к ним, а также к Луначарскому 17, к Коллонтай 18 и к Балабановой 19: Джон Рид рассказывал обо всех этих людях с глубочайшим восхищением и любовью. Они способны оценивать людей и события не только с позиций партийного билета, говорил Джон, стало быть, они помогут мне увидеть вещи в их истинном свете, и потому я буду искать встречи с ними, думала я.

А что же наш старый учитель Петр Кропоткин? Мы разошлись с ним из-за его позиции касательно мировой войны, но сохранили в себе любовь к этому великому человеку и преклонение перед его острым умом, и я была уверена в том, что и его отношение к нам осталось прежним. Мы хотели повидаться с нашим дорогим соратником сразу же по прибытию в Россию; нам рассказывали, что он живет в маленьком домике в Дмитрове — деревушке в шестидесяти верстах от Москвы, а советское правительство снабжает его всем

необходимым. Правда, съездить к нему у нас пока не получится, но весной организовать такую поездку вполне возможно, заверил нас Зорин.

Теперь встреча с Петром была мне просто необходима, и трудности, с которыми была сопряжена поездка, меня не пугали: я решила, что так или иначе, но доберусь до него — это единственный человек, способный помочь мне выбраться из тенет сомнений и отчаяния. Он вернулся в Россию после Февральской революции и был свидетелем Октября, он видел, как часть лелеемого им идеала стала действительностью; его мысли дадут мне ключ к пониманию происходящего, и поэтому я должна поехать к нему.

Попасть же к Александре Коллонтай и Анжелике Балабановой оказалось довольно легко — они жили в том же «Национале». Сначала я отправилась к госпоже Коллонтай, которая выглядела изумительно: глядя на эту блистательную молодую женщину, невозможно было даже представить себе, что ей уже исполнилось пятьдесят, и недавно она перенесла серьезную операцию. Высокая, статная, каждым движением, каждой черточкой своей она напоминала скорей не пламенную революционерку, а светскую даму. Ее наряд и двухкомнатный номер, в котором она проживала, свидетельствовали о хорошем вкусе, а розы в вазе на столе показались мне, уже свыкшейся с российской серостью, буйством цвета — это были первые розы, которые мне привелось увидеть после высылки. Ее рукопожатие было мягким и сдержанным, хотя она и сказала, что рада меня видеть в «великой, бурлящей России». Она осведомилась, нашла ли я жилье и работу, и пришлось ли они мне по душе, и я ответила, что пока не готова к этому, потому что еще не поняла, в чём от меня будет польза.

Возможно, я пойму это, когда расскажу ей о тревогах и сомнениях, нахлынувших на меня в новой обстановке. По этому поводу переживать не стоит, отвечала она: через это проходят все, кто прибывает в Советскую Россию; это всего лишь временные неудобства, на которые вскоре перестанешь обращать внимание, когда глазам во всей своей красе открывается новое, великое государство. Однако я не согласилась с тем, что гнетущие меня сомнения — пустяки: для меня, сказала я, они настолько важны, что от правильной оценки происходящего зависит моё дальнейшее пребывание в России. «Ну что же, тогда рассказывайте», — сказала она и, беззаботно откинувшись в кресле, стала внимать с недавним меня душераздирающим подробностям. Слушала она внимательно, не перебивала, однако всё время, пока я говорила, её холодное красивое лицо оставалось безучастным. «Да, на красочном полотне нашего революционного бытия иногда появляются серые пятна, — сказала она, когда я закончила. — Но если в отсталой стране, населённой забитым народом, вы ставите социальный эксперимент такого невероятного размаха, что на вас ополчается весь мир, они неизбежны. Впрочем, они исчезнут сами собой, когда мы победим на всех фронтах и станем учить людей». И я тоже буду в этом участвовать, пообещала она, обучая женщин простейшим, но необходимым вещам, прежде всего осознанному материнству, и помогая им обрести гражданскую позицию; я отлично справлялась с этим в Америке, говорила она, а в России почва намного благодатнее. «Почему бы вам не присоединиться к нам, не обращая внимания на отдельные недостатки? — заключила она. — Ведь это действительно всего лишь пятна!»

Вот это да! На людей устраивают облавы, их бросают в тюрьмы и расстреливают за идеи, их от мала до велика берут в заложники; всякий малейший протест жестоко подавляется, пышным цветом расцветают несправедливость и подхалимство, человеческие ценности преданы забвению, сам дух революции ежеминутно попирают и распинают, но всё это не более чем «серые пятна», думала я, и от этих мыслей меня пробирало холодом.

Через два дня я отправилась на встречу с Анатолием Луначарским. Его приемная находилась в Кремле, успевшего в сознании простых людей стать неприступной цитаделью власти. Несмотря на то, что я сумела обзавестись сразу несколькими мандатами, а сопровождал меня видный «советский» анархист, двигались мы крайне медленно: нас то и дело останавливали, изучая наши пропуска и осведомляясь о цели посещения. Наконец мы очутились в приемной наркома, огромной комнате, полной произведений искусства и разных людей — по словам моего спутника, это ожидали приема художники, писатели, учителя и прочая интеллигенция. Все выглядели жалко, судя по всему, недоедали, и взгляды их, исполненные надежд и страха, были прикованы к двери, ведущей в кабинет; заволновалась и я, хотя и не зависела ни в чём от человека, отвечавшего за распределение должностей и пайков в культуре.

Но Луначарский оказался проще и сердечнее, чем Коллонтай. Он спросил, нашла ли я уже подходящую работу, и если нет, то он мог бы предложить мне на выбор несколько должностей в своем комиссариате. В Советской России вводится американская система образования, сказал он, и предложения по ее внедрению и обучению пролетариата от человека, прибывшего из США, будут весьма полезными. У меня перехватило дыхание, и я совершенно забыла о цели своего визита: передовые педагоги Соединенных Штатов считают эту систему ущербной и отказываются от нее, а революционная Россия берёт ее на вооружение? Как такое возможно?

Луначарский был ошарашен; неужели американцы против собственной системы, спросил он, и если да, то кто именно? А какие изменения они предлагают внести? Всё это я должна буду подробно изложить ему и педагогам, которых он соберет на специальную конференцию по этой теме. Он утверждал, что я просто обязана встать на его сторону в борьбе с реакционными элементами, тоскующими по старорежимным методам обучения и даже отстаивающими идею тюрем для умственно отсталых детей.

Эта его мысль несколько смягчила мое негодование, вызванное желанием перенести в Россию американский опыт: очевидно, Луначарский совершенно ничего не знал о многолетних спорах по поводу того, как надлежит изменить эту систему. И я докажу российским педагогам абсурдность слепого копирования устаревших методов в новой жизни с новыми ценностями; Америка осталась далеко, сейчас я в России и полностью посвящаю себя ей со всеми ее радостями и горестями.

Луначарский тем временем стал сетовать на консервативно настроенных учителей и обмолвился о дискуссии в советской прессе относительно методов работы с дефективными. Он и Максим Горький выступали против тюрем как метода исправления, а сам Луначарский вообще отказывал в праве на существование любым формам принуждения детей. «В современном подходе к воспитанию Вы гораздо гибче и современнее, нежели Горький», —

сказала я, но он возразил, что согласен с этим лишь отчасти: новому поколению России не повезло с родителями, и годы войны и гражданского противостояния еще больше выпятили эту проблему; и тем не менее, одним террором оздоровить нацию невозможно, завершил свою тираду Анатолий. «Браво! — воскликнула я. — Ну, а как быть с поддерживаемой вами диктатурой и ее методами?» Он отвечал, что примирился с этим временным злом, существующим, пока Россия истекает кровью на нескольких фронтах. «Как только мы закроем их и всерьез примемся за строительство подлинно социалистической республики, диктатура, конечно же, отомрет». Он полагал глупостью считать Деникина, Юденича и им подобных виновниками всех бед Советской России, закрывая при этом глаза на рост новой бюрократии и укрепление влияния ЧК. Громогласные же заявления о достижениях российского образования он открыто называл обманом: да, для детей уже было сделано немало, но по-настоящему титанические задачи еще только предстоит решить. «Смахивает на ересь!» — улыбнулась я. Он тоже усмехнулся и ответил, что еретик — это еще не самое серьезное обвинение из всех, что звучат в его адрес. Его упрекают в том, что он считает интеллигенцию незаменимой, утверждая, что интеллигенты тоже люди, а посему их нельзя морить голодом, и в том, что он искренне верит в пролетариат, но отказывается считать его непогрешимым. «Если вы не будете осмотрительны, вас предадут анафеме», — предупредила я его. «Или поставят в угол под строгий взгляд учителя», — ответил он с улыбкой посвященного.

Возможно, Анатолий и не был похож на революционера, но в нем чувствовалась человечность, и мне это понравилось. Я хотела было поделиться с ним своими мыслями, но и без того уже заняла слишком много его времени и не сомневалась, что люди, ожидавшие за дверью, уже проклинают меня. На прощание Луначарский повторил, что в его наркомате меня ждут с распростертыми объятиями, и что я не должна уезжать из Москвы, не выступив на конференции, которую он планировал созвать.

Уже на обратном пути в «Националь» я узнала от своего провожатого, что народный комиссар образования считался не только сентиментальным, но и очень ветреным и расточительным человеком. Он слишком мало делал для пролеткульта (пролетарской культуры), вместо этого тратя огромные средства на поддержку буржуазного искусства и более того, посвящал немало времени спасению контрреволюционной интеллигенции. С помощью Максима Горького ему удается пристраивать старых профессоров в Дом Ученых, где они сидят в тепле и получают продукты без очереди. Он также совершил серьезную ошибку, установив для наиболее известных российских писателей, мыслителей и ученых так называемые академические пайки, назначавшиеся тем без оглядки на их партийную принадлежность. Такой паек был отнюдь не роскошным, даже не сытным, но многие коммунисты, занимавшие ответственные должности и получавшие гораздо больше продуктов, всё равно критиковали Луначарского за его «благоприятствование» интеллигенции, сообщил мой собеседник.

Несчастные фанатики, думала я: революция для них — всего лишь драка за место под солнцем! Именно они и были тем балластом, который мог утопить корабль Октября, и Луначарский это понимал. А Коллонтай? Я думала, что она, конечно же, тоже осознавала это, но, будучи дипломатом, стремилась сгладить шероховатости и острые углы; а вскоре мне представилась возможность узнать, что представляет собой Балабанова, и убедиться в

ее полной противоположности Коллонтай.

Да, контраст между двумя главными коммунистками России был разителен! У Анжелики Балабановой не было того, чем в избытке была наделена Александра Коллонтай — ни стройной фигуры, ни внешности, ни грации, ни светского лоска; но ее огромные печальные глаза, полные нежного сострадания, перевешивали все достоинства ее соратницы. Первое, что я увидела, войдя в её тесную комнатушку, — изжелта-бледное лицо, словно вобравшее в себя все муки угнетенного народа, которому она посвятила свою жизнь. Балабанова плохо себя чувствовала и принимала меня лежа, точнее, съезжившись на кровати, но первым делом спросила, почему же я сразу не сказала, что мы соседи? Она тут же зашла бы ко мне. И вообще, нужно было не ждать приглашения, а сразу идти к ней! Не нужно ли мне чего-нибудь? Если что, она обо всём позаботится: ведь я приехала из Соединенных Штатов, и мне, должно быть, нелегко привыкнуть к российской бедности. Другое дело здешний народ, не ведавший ничего, кроме голода и нищеты. Ах, эти русские люди с их свойством стоически сносить невиданные лишения, лицом к лицу встречая любые испытания! Порой они совсем как дети, но мощь их духа не ведает пределов: за всё время, проведенное в дореволюционной России, она не узнала этот великий народ так, как за считанные послеоктябрьские месяцы, и чем дальше, тем сильнее были ее вера в него и любовь к нему.

Смеркалось, шум города не проникал в ее келью, но она и без того была полна нежных, чарующих звуков голоса Анжелики Балабановой, морщинистое, пепельно-серое лицо которой казалось прекрасным в сиянии исходившего от нее внутреннего света. Она догадалась, что меня что-то гнетёт, и, мягко улыбнувшись, сказала, что для победы революции важна лишь духовная сила народа, а всё прочее не имеет значения. Я спросила, правильно ли поняла ее слова, и она согласно кивнула — что бы ни творилось в моей душе, она хотела лишь одного: чтобы я не забыла о завоеваниях Октября.

Я подошла к ее постели и погладила темные, заплетенные в толстую косу волосы, уже подернутые сединой; она обняла меня и попросила называть ее просто Анжеликой. Затем она решила, что настало самое время для чая, и велела мне позвонить ее соседке по этажу, чтобы та несла самовар. У нее было немного варенья, а шведские товарищи привезли ей печенья и сливочного масла — из-за больного желудка она почти ничего не ела, но при этом изводила себя мыслью о том, что пирует в то время, когда другим людям не хватает даже хлеба. Меня глубоко тронула эта жертвенность, столь искренняя среди всеобщего безразличия, и я разрыдалась, хотя в последний раз плакала, когда простилась с сестрой Еленой. Анжелика испугалась — не сказала ли она чего-то, что причинило мне боль? Не простыла ли я? Не случилось ли со мной какого несчастья? И я открыла ей сердце, выплеснув все накопившиеся в нём потрясения, разочарования, ночные кошмары и ужасные мысли, которые мучили меня с самого приезда: где искать ответы, как объяснить всё, кто за всё это ответит?

За крушениями надежд стоит сама жизнь, отвечала Анжелика. Жизнь трудна и жестока, и те, кто выживает, тоже ожесточаются; ее мощное течение способно разрушить всё что угодно, и люди, чувствительные к чужой боли, не выдерживают этого напора. То же происходит и с взглядами: чем они утонченнее, чем человечнее, тем скорее их затягивают водовороты Жизни. «Это уже фатализм какой-то, — запротестовала я. — Как сочетается

подобное отношение к жизни с социалистическими взглядами и материалистической концепцией истории и человеческого развития?» Анжелика пояснила, что ее убедила в этом российская действительность: направление событий человеческой истории диктует жизнь, а не теории. «Жизнь, жизнь! — воскликнула я в нетерпении. — Что это, если не то, что в нее вкладывает человеческий ум? И в чем тогда смысл усилий человека, если какая-то таинственная сила под названием Жизнь вертит ими, как ей заблагорассудится?» Анжелика отвечала, что в наших усилиях и нет никакого смысла, кроме того, чтобы жить, то есть стремиться к лучшему. Впрочем, мне не нужно обращать внимания на ее слова, поспешно добавила она, а вот встретиться с Ильичом непременно следует, и она поможет организовать встречу. Только Ленин сумеет мне помочь, потому что он в совершенстве владеет искусством отвечать на вызовы Жизни.

Чувства смешались во мне, когда я уходила от этой маленькой женщины, внезапно ставшей мне близкой и родной. Успокоившись под неиссякаемым потоком исходившей от нее любви, я не могла понять ее податливости злу и творящимся вокруг нее злоупотреблениям. Она слыла настоящим борцом — твердым, непримиримым, прочно стоящим на своих позициях; что же заставило ее прекратить сопротивление? Из большевистской печати я знала, что коммунисты критиковали всех и вся; почему же тогда Анжелика не воспользовалась пером или голосом? Это не давало мне покоя, и я пристала с расспросами к ее подруге, которая принесла нам чай. Та рассказала мне, что Анжелика была секретарем Третьего Интернационала и самоотверженно боролась с бюрократами из группы Зиновьева, Радека и Бухарина, в результате чего ее бесцеремонно изгнали со всех постов, лишив возможности занимать их в дальнейшем. Саму Анжелику это несправедливое оскорбление не взволновало, но она понимала, что интриги и клевета, использованные против нее, бьют и по ее соратникам, расходившимся во мнениях с вождями. По партии стремительно распозалась зараза непогрешимости, и Анжелика знала, что это чревато катастрофическими последствиями для революции. «Разве нет способа покончить с этими бесчестными методами?» — спросила я подругу Анжелики. Внутри России — нет, отвечала та, а за границей никто и не подумает протестовать, пока революция в опасности. Осознание невозможности выступить против используемых ее партией методов, ведущих к всеобщим страданиям, террору и обесценивающим человеческую жизнь, подорвало здоровье Балабановой и парализовало ее волю.

Милая, дорогая Анжелика! Я наконец-то начала понимать ее слова о жизненных водоворотах, но не могла, подобно ей, опустить руки. Попробуем отыскать истинные причины российских бед, подумала я: если мне удастся до них докопаться, никакой партийной клике не удастся заткнуть мне рот — я всем расскажу об этом!

С Сашей мы не виделись уже несколько дней: он говорил, что путь от Харитоньевского до «Националя» был для него слишком утомителен, но на следующее утро после моего визита к Анжелике он позвонил и попросил срочно прийти к нему. Я обнаружила его одиноко лежащим в постели и немедленно принялась за привычные обязанности медицинской сестры: у него был сильный жар. Жажда жизни и на этот раз одержала верх, однако после такой болезни его ни в коем случае нельзя было оставлять одного. Но оставаться в Харитоньевском не могли ни я, ни сам Саша: комендант дома уже объявил ему о том, что срок его проживания истек, и комнату необходимо освободить. Мы и сами собирались через

неделю ехать в Петроград, поэтому не стали спорить с этим ответственным товарищем, но все эти дни Саше нужно было где-то ночевать, так что мы отправились в «Националь». По счастью, комната, в которой я там обитала, была больше той, что отвели мне в «Астории», и в ней имелась дополнительная кушетка. Когда о Сашиной болезни узнала Анжелика, она тут же приняла на себя обязанности его ангела-хранителя, регулярно снабжая его всякими лакомствами, которые привозили товарищи из Швеции, Норвегии и Нидерландов. Многие вообще считали Балабанову сентиментальной буржуйкой: дескать, она тратит кучу времени на поиски молока для больного ребенка, или одежды для стариков, или чего-то необходимого для некой беременной женщины...

Когда Анжелика предложила мне побеседовать с Лениным, я решила составить перечень самых острых противоречий советской жизни, но, пока это предложение оставалось единственным, ничего не предпринимала. Как-то утром она позвонила мне и огорошила: нас с Сашей ожидает Ильич, и за нами уже выехал автомобиль. Этот звонок до крайности нас взволновал: зная, что Ленин почти недосыпаем из-за множества дел, мы не могли упустить возможность встретиться с ним, и потому решили ехать без плана, полагая, что найдём способ поднять животрепещущие темы, а заодно передать резолюцию наших московских товарищей.

Не сбавляя скорости, машина Ленина мчалась в Кремль по запруженным улицам, и никто не пытался остановить нас и потребовать пропуск. У подъезда одного из старинных зданий нас попросили выйти из машины. У лифта стоял вооруженный охранник, уже предупрежденный о нашем приходе; он молча открыл двери лифта и впустил нас внутрь, а затем закрыл ее и положил ключ в карман. Мы медленно поднимались, слыша, как наши имена прокричали дежурившему на первом этаже солдату; крик повторялся снова и снова, поднимаясь всё выше, и вот уже наше прибытие объявлял целый хор. Охранник наверху повторил манипуляции с лифтом и провел нас в большую приемную, объявив: «Товарищи Гольдман и Беркман». Нас попросили немного подождать, но прошел почти час, прежде чем некий юноша пригласил нас последовать за ним.

Мы прошли через несколько комнат, в которых кипела работа: стучали пишущие машинки, скрипели перья, сновали курьеры. Вскоре мы остановились перед массивной деревянной дверью, украшенной великолепной резьбой. Нас вновь попросили подождать; наш провожатый скрылся за ней, и почти сразу же она распахнулась изнутри. Молодой человек сказал, чтобы мы входили, а сам тут же исчез, затворив двери.

Мы остановились у входа, растерянно ожидая подсказок, что же нам делать дальше, и неожиданно ощутили чей-то пристальный взгляд. Тот, кто смотрел на нас, сидел за огромным столом, на котором царил идеальный порядок. Всё в этой комнате свидетельствовало о рациональности и педантичности: за спиной сидящего располагалась огромная панель с множеством телефонных трубок и карта мира, а по бокам выстроились ряды шкафов, за стеклянными дверцами которых покоились тяжеленные тома. Вокруг продолговатого стола, покрытого красным сукном, стояли двенадцать массивных стульев с прямыми спинками, а возле окон расположились несколько кресел. Казалось, ничто, кроме пламенеющего кумача, не в силах нарушить аскетической монотонности, как нельзя лучше подходившей известному на весь мир своей практичностью и деловитостью человеку,

которого одни считали кумиром, а другие — исчадием ада.

«Ильич не тратит времени на разговоры, он сразу переходит к делу», — так с нескрываемой гордостью говорил о нём Зорин. Действительно, начиная с 1917 года, об этом кричал буквально каждый ленинский шаг, а эмоциональная рачительность Ильича и то, как он воспринимал людей, мгновенно оценивая собеседника и оборачивая в свою пользу всё, что тот сказал или сделал, стали притчей во языцех. Не менее изумляла и его способность выискивать смешное в себе и своих посетителях: если кто-то оказывался в неловком положении, великий Ленин хохотал так, что его визави невольно заражался его весельем и начинал смеяться вместе с ним.

Убедились в этом и мы. Оглядев нас с ног до головы, он обрушился целой лавиной вопросов — его светлый ум порождал их подобно кремню, высекающему искры. Как обстоят дела в экономике Соединенных Штатов? Какова политическая обстановка в стране — есть ли шансы на то, что революция в США случится в ближайшее время? Насколько Американская федерация труда пропитана буржуазной идеологией Гомперса и его клики? Что собой представляют рядовые члены профсоюзов — плодородная ли это почва для разложения изнутри? Так уж ли сильны «Индустриальные рабочие мира» (ИРМ), и так ли эффективны анархисты, как показал недавний судебный процесс? Он только что закончил читать наши выступления в суде. «Великолепно! Четкий анализ капиталистической системы и замечательная пропаганда! Очень жаль, что вы не попытались остаться в Соединенных Штатах любой ценой; мы, конечно, рады вас видеть в Советской России, но и Америке просто необходимы такие борцы, как вы — это приближает революцию. Вы, товарищ Беркман, вне всяких сомнений, талантливый организатор — совсем как Шатов; о, вот уж кого точно можно назвать железным человеком, так это товарища Шатова — несгибаемый, способный работать за десятерых, сейчас он в Сибири, назначен комиссаром путей сообщения Дальневосточной Республики. Кстати, к нам примкнули многие анархисты, занимающие теперь весьма ответственные посты; для них открыты все возможности, если они по-настоящему идейны и готовы с нами работать. И вы, товарищ Беркман, тоже скоро найдете себя, хоть и жаль, что вас вышвырнули из Америки в столь судьбоносные дни. А вы, товарищ Гольдман? Какое поле для деятельности у вас там было! Вот бы вам остаться, пусть даже и без товарища Беркмана! Но раз уж вы здесь, чем хотели бы заняться? Вы анархисты идейные, я вижу это по тому, как вы воспринимаете войну, защищаете Октябрь, верите в Советы и боретесь за них, как и ваш замечательный Малатеста 20, который безоговорочно за Советскую Россию. Так что вы собираетесь делать?»

Саша собрался с духом и принялся отвечать, но Ленин со смехом прервал его после первой же фразы: «Вы полагаете, я говорю по-английски? А вот и нет — я не знаю ни единого слова! Равно как и на любом другом иностранном языке: я в них не силен, хоть и прожил за границей много лет. Забавно, не правда ли?» Он залиvisto расхохотался, а Саша заговорил по-русски. Ему, безусловно, льстит столь высокая оценка его соратников, начал он, но почему же тогда анархистов бросают в советские тюрьмы? «Анархистов? — перебил его Ильич. — Чепуха! Кто рассказывает вам эти байки, и как вы можете в них верить? В тюрьмах у нас сидят не анархисты, а махновцы и всякие бандиты».

«Представьте себе, — вступила в разговор я, — в капиталистической Америке анархистов тоже подразделяют на две категории. Тех, кто попал в первую, принимают в высших кругах, а один из них даже занимает ключевой пост в администрации Вильсона; мы же имеем честь принадлежать к преследуемым и заключаемым под стражу. В России анархистов делят по такому же принципу, не так ли?» Нет, ответил Ленин, это не так; совершенно неправильно и даже глупо делать одинаковые выводы из совершенно разных предпосылок. Свобода слова — это буржуазный предрассудок, грим, которым капитализм маскирует свои болезни; в рабоче-крестьянском же государстве главную роль играет благосостояние населения, а свобода обеспечивается гораздо более надежными средствами, и как раз на это и нацелена диктатура пролетариата. Просто сейчас она вынуждена сталкиваться с серьезнейшими препятствиями, главное из которых — противодействие со стороны деревни, которой до зарезу нужны гвозди, соль, ткани, тракторы, наконец, электрификация; и когда мы дадим крестьянину всё это, он встанет на нашу сторону, и никакая контрреволюция не сумеет переманить его обратно. А при нынешнем положении любая болтовня о свободе становится пищей для реакции, стремящейся свалить Россию, и тот, кто в этом замешан, — бандит, которого следует держать под замком.

Саша передал Ленину резолюцию конференции, подчеркнув: московские товарищи ручаются в том, что находящиеся в заключении люди — идейные анархисты, а не бандиты. «Сам факт желания наших соратников легализовать свою деятельность подтверждает то, что они идут бок о бок с революцией и Советами», — убеждали мы его, и Ильич взял документ, пообещав рассмотреть его на ближайшем заседании ЦИК. Вас известят о принятом решении, сказал он, но в любом случае это сущий пустяк, из-за которого истинный революционер волноваться не должен. В Америке мы порой боролись и за политические права наших оппонентов, возразила я, поэтому лишение прав наших товарищей для нас отнюдь не пустяки; лично я не смогла бы сотрудничать с властью, преследующей анархистов и вообще любых людей единственно за их взгляды, и это не единственное, что меня гложет. Приведя несколько пришедших на ум примеров, я спросила его, как всё это примирить с высокими целями? Он ответил, что я проявляю буржуазную сентиментальность: когда диктатура пролетариата дерётся не на жизнь, а на смерть, нельзя принимать в расчёт всякую чепуху. Россия идет вперед семимильными шагами, раздувая пожар мировой революции, а я жалуясь на небольшое кровопускание! Это абсурдно, и потому я должна переступить через себя. «Займитесь чем-нибудь полезным, — посоветовал он, — это лучший способ привести себя в революционный порядок».

Возможно, Ленин прав, подумала я, и это действительно мне поможет. Я последую вашему совету, сказала я ему, но начну с того, что будет по-настоящему ценным для пропаганды революции в Соединенных Штатах. Если это возможно, я хотела бы организовать Общество русских друзей американской свободы, рабочий орган, который бы помогал в борьбе за свободу в Америке так же, как «Американские друзья русской свободы» в свое время помогали России в ее борьбе против царского режима.

Почти всю нашу беседу Ленин просидел в кресле, почти не двигаясь, но услышав это, прямо-таки выскочил из него и очутился рядом с нами. «Отличная мысль! — воскликнул он, радостно потирая руки. — Замечательное, дельное предложение! Вы должны незамедлительно этим заняться; а вы, товарищ Беркман, будете в этом участвовать?» Саша

ответил, что он уже обдумывал эту идею, и даже проработал детальный план; мы могли бы начать, как только у нас появится всё необходимое. С этим сложностей не возникнет, заверил нас Ленин, нас снабдят всем, что может понадобиться — помещением, типографией, курьерами и, конечно же, финансами. Мы только должны прислать ему план и подробную смету, а все расходы возьмет на себя Третий Интернационал. Это перспективное направление работы, и поэтому нам предоставят всё, что потребуется.

Мы изумлённо переглянулись и почти одновременно принялись объяснять, что наши усилия дадут результат только в том случае, если мы не будем никоим образом связаны с большевиками. Мы должны делать это сами, потому что знаем нравы американцев и то, как лучше вести эту работу. Но договорить не успели мы: неожиданно появился наш провожатый — так же незаметно, как и в первый раз, и Ленин принялся жать нам на прощание руки. «Не забудьте прислать план», — сказал он нам вслед.

Подруга Анжелики говорила мне, что методы клики, испробованные ею в политбюро партии, уже пронизали Интернационал, и теперь потихоньку отравляли всё рабочее движение; знал ли об этом Ленин, не было ли и это в его глазах «еще одним пустяком»? Но теперь я не сомневалась в его осведомленности обо всём, что происходило в России: ничто не могло укрыться от его пристального взгляда, и ничто не могло начаться прежде, чем он это не обдумает и не даст своего согласия. Могучая воля Ильича с легкостью склоняла всех к тому, что было нужно ему, и с такой же легкостью ломала людей, если они отказывались уступать. Сможет ли он согнуть или сломать нас? Подчинение Коммунистическому Интернационалу чревато фатальными последствиями и станет огромной ошибкой: да, мы стремимся помочь России, но вместе с тем хотим освободить Америку, которой отдали лучшие годы. А покориться клике означает предать собственное прошлое и поставить крест на нашей независимости. Об этом мы и написали Ленину, приложив к письму черновик придуманного Сашей плана.

В одном мы были согласны с Ильичом: конечно же, к работе нам следовало приступать немедленно; но о том, чтобы занять какую-либо должность в каком-нибудь советском учреждении, конечно же, не могло быть и речи — чтобы помогать людям, мы сами должны пойти к ним. В Москве это было затруднительно: столица уже успела стать бюрократическим центром России — чиновников здесь было больше, чем трудящихся. Саша побывал на ряде фабрик и заводов, и везде была одна и та же картина: всё заброшено, работа стоит, но зато всяких партийных секретарей не в пример больше, чем работяг. Последние даже не скрывали разочарования в Советах из-за чванства, барства и произвола бюрократов, управлявших производством.

Сашины впечатления еще сильнее убедили меня, что Москва — не то место, где нам стоит работать. Ах, если бы Луначарский выполнил обещанное! Но он писал нам, что завален работой, и сможет созвать задуманную им учительскую конференцию не раньше, чем через несколько недель. Он понимал, как тяжело людям, привыкшим трудиться самостоятельно, подстраиваться под общий ритм, однако его комиссариат был единственным местом в России, где мы могли бы принести пользу, и с этим нужно примириться, а пока держать с ним связь. На этом его письмо заканчивалось.

Это был тонкий намек на то, что диктатура, оплетшая своими сетями всю страну, не терпит независимости — по крайней мере, в Москве. Но, в конце концов, любая столица неизбежно становится пристанищем святош и лакеев, придворных и шпионов, всех этих стад прихлебателей, ждущих подачек из государственной руки, и Москва не была исключением. Мы не находили здесь места себе, не могли стать ближе к народу; но в одном Москва все-таки выгодно отличалась от прочих городов — недалеко от нее жил наш соратник Петр Кропоткин. Мы решили, что перед отъездом в Петроград должны непременно встретиться с ним.

Узнав, что Джордж Лансбери и мистер Барри хотят отправиться в Дмитров на литерном поезде, мы озаботились получением разрешения поехать с ними. Перспектива встречи с Петром в присутствии двух газетчиков нас не радовала, но поскольку с нашей собственной поездкой всё никак не вытанцовывалось, представившийся случай был единственной возможностью повидаться с соратником. Саша поспешил встретиться с Лансбери, и тот милостиво позволил нам не только сопровождать его, но и взять кого-нибудь с собой. Он заверял Сашу, что рад представившейся возможности вновь увидеться со мной, поскольку уже давно мечтал о встрече. Правда, о моем пребывании в Москве он знал чуть ли не с самого прибытия питерского поезда, в одном из вагонов которого я приехала в столицу, но за всё это время так и не сделал попытки встретиться, так что здесь его искренность была сомнительной. Впрочем, я не обращала на это внимания: мы должны были ехать к Петру, взяв с собой нашего товарища Александра Шапиро.

Поезд плелся как улитка, останавливаясь у каждой водокачки, и к дому Петра мы добрались уже поздно вечером. Он был очень болен и показался нам лишь тенью того бодряка, с которым мы встречались в 1907 году в Париже и Лондоне. Всё то время, пока я была в России, меня без конца уверяли в том, что Кропоткин живёт чуть ли не в райских условиях, и у него нет недостатка ни в еде, ни в топливе; но вот мы, наконец, у Петра, и оказалось, что он живет вместе с женой Софьей и дочерью Александрой в одной еле-еле протопленной комнате — в остальных жить просто невозможно, потому что там настоящий мороз. Пайков хватало лишь на то, чтобы не умереть с голоду, да и те перестали выдавать: они распределялись через Дмитровский рабкооп, который, как и многие подобные кооперативы, недавно ликвидировали, арестовав и отправив в Бутырку почти всех его членов. Мы спросили, как же им удастся выживать, и Софья объяснила, что по большей части они держатся коровой и огородом, и лишь иногда посылочку-другую продуктов присылает с оказией Махно. В общем, заключила она, жить можно, если бы не хвори Петра, которому требуется усиленное питание.

Неужели ничего нельзя сделать, чтобы все эти ответработники, наконец, очнулись и увидели, что голодает один из величайших людей России? Да будь он хоть трижды презируемым ими анархистом — должны же они знать о том, что он еще и писатель, и ученый! Может быть, Ленину, Луначарскому и остальным просто не докладывают о состоянии Петра, и рассказать им об этом должна я? Лансбери разделял моё негодование. «Не может быть, — сказал он, — чтобы советская власть позволила такому человеку, как Петр Кропоткин, умирать с голоду; мы в Англии такого не потерпели бы». Он заявил, что незамедлительно поставит этот вопрос перед руководителями государства, но Софья то и дело дергала его за рукав, умоляя замолчать: она не хотела, чтобы Петр слышал этот

разговор. Впрочем, великий человек был погружен в беседу с двумя Александрями, даже не подозревая, что мы обсуждаем его благополучие.

Петр ничего не примет от большевиков, сказала нам Софья. Совсем недавно, когда рубль был еще крепок, он отклонил предложение Госиздата продать за 250 тысяч рублей право на публикацию его сочинений. Если большевики экспроприировали труды других, сказал он, то пусть забирают и мои работы, только вот согласия своего я им не дам. Он в жизни не вступал по доброй воле ни в какие взаимоотношения с властью, и сейчас не хотел иметь дела с теми, кто именем социализма попирает все революционные и моральные ценности. Софья долго не могла уговорить Петра даже на академический паек, выделенный ему распоряжением Луначарского, и только стремительно прогрессирующая слабость Кропоткина заставила ее принять продукты без его ведома. Здоровье Петра ей дороже его моральных принципов, сказала она, словно извиняясь; к тому же, будучи ученым-ботаником, она имела право на такой же паек.

Саша тем временем беседовал с Петром о яркой мозаике революционных противоречий, увиденной нами в России, и о том, как толкуют их большевики, а также о нашей встрече с Лениным. Нам не терпелось узнать, что думает об этом Петр, как он оценивает существующее положение дел, и он ответил, что так бывает всегда, когда дело касается марксизма. Предвидя опасности этого учения, он предупреждал о них практически в каждой своей работе, и его примеру следовали все анархисты. Конечно же, никто не представлял, до каких размеров вырастет марксистская угроза, но, возможно, корень зла кроется не в самом марксизме, а в иезуитском духе его догматов? Большевики отравлены им насквозь, их диктатура уже превзошла всемогущую инквизицию, а их власть укрепляется благодаря не скупящимся на угрозы европейским правителям. Осада, союзническая поддержка контрреволюции, интервенция и все прочие попытки раздавить Революцию привели к тому, что теперь и внутри самой России подавляется любой протест против большевистской тирании. «Неужели нет никого, кто выступил бы против нее? — спросила я. — Никого, чей голос имел бы вес? Например, ваш, дорогой друг?» Петр грустно усмехнулся; я бы поняла всё намного лучше, если бы провела здесь чуть больше времени, сказал он. Способов удушения свободы здесь больше, чем в какой-либо другой точке земного шара, и каждый из этих способов удивительно жесток и действен. Да, он протестовал; протестовали, конечно же, и многие другие, в том числе всеми уважаемая Вера Фигнер, и даже Горький пару раз выступил с протестами... Без толку! Это не возымело совершенно никакого действия, разве что стало совершенно невозможно работать — теперь над всеми довлел карающий меч революции. Стало опасным держать дома компрометирующие материалы — если это не становилось причиной вашей высылки, то подвергало риску ваших близких. Так что людьми владел не страх, а сознание собственной никчемности и невозможности обращаться к миру из внутренних тюрем ЧК.

Но главной помехой, к вящему удивлению, были не враги, окружившие Россию — любое слово против большевиков, сказанное ли, написанное, во всём мире неизбежно расценивалось как нападки на революцию и сближение с реакцией. В особенности не повезло анархистам, оказавшимся между двух огней: они не могли ни примириться с угнездившейся в Кремле властью, ни сплотиться с врагами России. Единственной возможностью их существования в настоящее время Петр считал работу, полезную

непосредственно народным массам, и потому искренне обрадовался, узнав, что мы решились взяться как раз за это. «Ленинская попытка опутать вас партийными тенетами смехотворна, — заявил он. — Это очередная иллюстрация того, чем хитрость отличается от мудрости: отрицать ленинское хитроумие невозможно, однако ни в его отношении к крестьянству, ни в оценке возможностей подкупа тех или иных людей нет подлинной рассудительности и прозорливости».

Софья попыталась убедить Петра в том, что уже поздно, и ему пора отдыхать, но он упорно отказывался — слишком долго, по его словам, он был оторван от соратников, читай «от любого интеллектуального общения». Поначалу, казалось, наш приезд подействовал на него благотворно, но сейчас он явно утомился, и мы сочли необходимым откланяться. И все-таки даже усталый, Петр был мягок и предупредителен, и мы не могли отказать ему в том, чтобы проводить нас до дверей и сердечно обнять на прощанье.

Наш поезд отправлялся в два часа пополудни, сейчас же было только одиннадцать. Проводница спала без задних ног, даже не подумав протопить вагон, и нас прямо-таки обожгло царящим в нём холодом. Мои спутники немедленно попытались раздуть печку, но добились лишь того, что наглотались дыма. Тем временем Лансбери, по уши укутавшийся в огромную шубу, разглагольствовал о том, что Кропоткин не принимает участия в жизни Страны Советов, поскольку не может из своего захолустья увидеть и оценить успехи большевиков, а это не есть правильно. Я не стала ему отвечать, помня о том, насколько плох Петр, да и сама слишком замерзла, чтобы устраивать диспут, однако оба Александра единодушно встали на защиту нашего товарища и с лихвой восполнили моё неучастие в разговоре.

Саша спорил с лондонским газетчиком и раньше. На московском вокзале нас окружили голодные и полураздетые дети, выпрашивавшие еду, и я раздала им взятые в дорогу бутерброды, которые были немедленно и с жадностью съедены. «Ужасное зрелище», — заметил Саша. «Ты, Беркман, чересчур уж сентиментален, — покровительственно усмехнулся Лансбери. — Знаешь, сколько таких оборвышей у нас на Ист-Энде?» «Наверное, немало, — спокойно отвечал ему Саша, — но не забывай, что в России уже была революция, а в Англии еще нет».

По возвращении в Москву я на целых две недели свалилась с тяжелой простудой, и вновь на меня благотворно действовала Анжелика, которая ежедневно навещала меня, причем не с пустыми руками. Помогали мне и наши товарищи-универсалисты, и общая трогательная забота быстро поставила меня на ноги. Все убеждали меня остаться в столице еще хотя бы на неделю, потому что я еще не выздоровела, и поездка могла привести к осложнениям; но я не могла больше выносить этот чудовищный город, стремясь бежать из него до того, как он меня поглотит. В Петрограде я хотя бы могла забыться в работе; к тому же я почти пять месяцев не получала весточки из дому, хотя мы оставили американским соратникам наш питерский адрес, и надеялась, что за время нашего отсутствия пришло хотя бы одно письмо. В общем, тоска сплелась с плохими предчувствиями, и эта гремучая смесь превратилась в идефикс: я должна как можно скорее вернуться в город на Неве.

Так оно и вышло — в Петрограде нам вручили письма, пришедшие еще четыре недели назад. Мы спросили у Лизы Зориной, почему же нам не переслали их в Москву. «А какой в этом прок? — ответила она. — Вряд ли новости из Америки могут быть интереснее и важнее того, что вы видели и слышали в столице». Оказалось, что мне написали Фитци и Стелла, а «неважным» и «неинтересным» было известие о смерти моей любимой сестры. Но разве могло чье-то личное горе значить что-то для тех, кто стал частью колеса истории, в вечном своём вращении перемолотившего столько людей? Я ощущала, что и сама становлюсь одним из его зубцов: Елена умерла, а у меня ни слёз, ни слов, ни даже огорчения — внутри одна лишь растущая с каждым днём пустота.

Стелла писала, что моя высылка стала последним ударом для и без того пошатнувшегося здоровья Елены: до того ей становилось всё хуже, а когда она узнала, что меня выслали, ее хватил удар, поставивший точку в летописи ее брэнного существования. Дорогая, милая моя сестра! И вправду благословен был твой конец; всё, чего ты желала после смерти Дэвида, сбылось: твой измученный дух упокоился, и теперь ты пребываешь в вечном мире — в отличие от тех, кого засыпает осенней листвой надежд и сухими ветками умирающей веры...

Письмо Фитци тоже меня не порадовало: наша соратница Эйлин Барнсдэлл собиралась в Россию и пригласила ее с собой, но в последний момент Вашингтон отказал им в паспортах. Власти заявили, что «Мэри Элеонора Фитцджеральд — известная анархистка, сотрудничавшая с Александром Беркманом и Эммой Гольдман, и поэтому выезд из страны ей не разрешается». Чек же, который выписала мне Эйлин, стал уликой, изобличающей ее связи с радикалами, и поэтому был опротестован, так что даже если бы Фитци смогла каким-то образом выехать, она всё равно не добралась в Россию по причине отсутствия денег. Она ужасно расстроилась, но утешала себя тем, что мы всё поймём.

По возвращении в Петроград мы с удивлением отметили, что наших попутчиков с «Бьюфорда» значительно поубавилось: кое-кто отправился на родину, но многие попросту примирились с советскими порядками. В чужой монастырь, оправдывались они, со своим уставом не лезут, и теперь все одиннадцать высланных из США коммунистов жили в Советской России припеваючи. Что ж, при виде дармового угощения остается лишь занять за столом место получше да успеть ухватить кусочек пожирней.

Состояние же остальных было плачевным: работы по их специальности не находилось, а то, куда их направляли, оказывалось бесполезной тратой времени. Они сами предлагали свои услуги властям, но их лишь гоняли из учреждения в учреждение, от комиссара к комиссару, и никто не мог решить, нужны ли они, и если да, то где именно. И в этом была вся Россия, нуждавшаяся в этих людях, но не понимавшая этого и делавшая всё, чтобы превратить их преданность в ненависть.

Мы гадали, не случится ли подобного и с теми, кого должны выслать после нас, и кто сам устремится в Советскую Россию, чтобы помочь революции, соображая, как избежать повторения столь преступной глупости со стороны советских бюрократов. Саша предложил создать для ссыльных некий сборный пункт, и уже успел продумать детали — приём прибывающих в этом случае был бы не таким помпезным, как наш, но зато у людей были бы

и паёк, и крыша над головой. Да и вообще было бы дешевле и разумнее распределять беженцев сообразно их профессиям, а затем направлять на соответствующие должности. «Невозможно представить, насколько полезным для революции может оказаться американский опыт», — горячился Саша, и я была согласна с ним: его план автоматически вовлекал в это не только нас, но и наших оказавшихся не у дел товарищей по несчастью.

В свою очередь, я предложила пойти к Равич, которая была личным представителем Чичерина в питерском Наркоминделе, возглавляла городское управление НКВД и, кроме того, заведовала женотделом. Она любила и умела работать, а потому должна была с лёту понять всю ценность Сашиной идеи. Жила она тут же, в «Астории», и поэтому нам было известно, до которого часу она засиживается за работой, так что с просьбой о встрече я позвонила ей около двух пополудни.

Она, конечно же, не спала и немедленно пригласила меня к себе, прибавив, что только что получила сообщение от Чичерина для «товарищей Гольдман и Беркмана». Оказывается, в Россию отправили большую группу американских ссыльных, и товарищ Чичерин просил ее позаботиться об их приёме. Это был замечательный повод показать ей Сашин план, и всё случилось как нельзя лучше: несмотря на позднее время и усталость, Равич отпустила нас только после того, как мы объяснили ей суть нашего предложения, и на прощание заверила, что мы можем рассчитывать на любую помощь, а она незамедлительно даст секретарю нужные указания.

И она сдержала свое слово: нам даже выделили автомобиль, а ее помощник Каплан, прикомандированный к нам, оказался серьезным и ответственным товарищем. Он вооружил нас множеством пропусков, позволявших беспрепятственно входить в любые учреждения, и однажды в искреннем рвении даже предложил нам взять для пущей важности чекиста. Однако я отказалась от этой мысли, сказав, что знаю менее жесткий и при этом более действенный метод получения желаемого, как бы смешно или унижительно это ни звучало. Каплан недоверчиво спросил, возможно ли такое в Советской стране, и я ответила, что этот метод, правда, не собственного изобретения, а позаимствованный в Америке, уже работает и состоит из американского шоколада, сигарет и сгущенного молока; его мягкости и нежности не в силах противостоять ни одно советское сердце, и он с легкостью обеспечивает благожелательный результат там, где не помогают ни уговоры, ни приказы, ни угрозы.

С помощью этого метода мы всего за две недели добились того, на что обычными путями, по собственному признанию Равич и Каплана, потратили бы несколько месяцев. Для приёма ссыльных были отремонтированы три ветхих здания, распределение пайков организовали таким образом, чтобы избежать очередей, медицинская помощь могла быть оказана при первой же необходимости, и даже работа для «плавающего» контингента уже приобретала видимые очертания.

Тем временем Саша и Этель готовились встречать ссыльных на латвийской границе, а вместе с ними американцев ожидали сразу два эшелона под парами. Однако прошло две недели, прежде чем выяснилось, что произошла фатальная ошибка, типичная в тогдашней российской неразберихе и подбавившая в неё хаоса. В Наркоминделе неверно истолковали

радиограмму о возвращении военнопленных, посчитав, что речь идет об американских ссыльных. Саша несколько раз телеграфировал Чичерину; он пытался объяснить истинное положение дел, но ему неизменно приказывали оставаться на границе и ждать американцев: пленными занимался наркомат военно-морских дел.

Тогда, заручившись заверениями конвоя о том, что среди полутора тысяч несчастных солдат, по дороге из плена брошенных на произвол судьбы в дикой степи, без еды и медицинской помощи, нет никаких политических беженцев из Америки, Саша решил послушаться приказа Москвы, посадить пленных в эшелоны и отправить их в Петроград. Мы сразу же предложили поместить их в уже готовые к приёму здания, и госпожа Равич поддержала это предложение; однако поскольку эти люди находились в юрисдикции военного ведомства, она посчитала нужным получить разрешение. Больше мы о своём центре не слышали: все три помещения, на ремонт которых ушло столько сил и времени, были немедленно опечатаны, а у каждого входа оказалось по здоровенному чекисту. Всё, что мы сделали, пошло насмарку, Сашин план оказался ненужным.

Столь же неутешительными были и другие наши попытки что-либо сделать без вмешательства государственной машины. На Каменном острове в изобилии находились особняки богатеев, которые было решено превратить в дома отдыха для трудящихся. «Это замечательная мысль! — говорил Зорин. — Но необходимо успеть всё доделать в шесть недель». А соблюсти такие жесткие сроки возможно лишь с американской сноровкой и опытом; не поможем ли мы в этом деле? Мы согласились и снова с головой ушли в работу, и самоотверженно трудились — ровно до тех пор, пока опять не уперлись в непреодолимую стену советской бюрократии.

Мы сразу настояли на том, чтобы всех, кто трудился над созданием этих домов отдыха, по крайней мере, раз в день кормили горячей пищей. За организацию ее приготовления и справедливого распределения взялась я, и поначалу всё шло хорошо: люди были довольны, а потому работали с огоньком, что в нынешних условиях было непривычно. Однако со временем большевистские начальники и их прихлебатели начали увеличивать свой рацион, соответственно уменьшая порции рабочих. Последним понадобилось совсем немного времени, чтобы понять, кто и почему отбирает у них хлеб; желание трудиться у них тут же иссякло, и последствия этого не заставили себя ждать.

Мы жаловались Зорину на то, что одних гоняют в хвост и в гриву, а другие работают с прохладцей, зачастую и вовсе валяя дурака; протестовали мы и против выселения из собственных домов людей, чьим единственным проступком было наличие высшего образования. Октябрьская революция уже миновала, но стариков-профессоров, поселившихся на острове в незапамятные времена, пока не трогали; теперь же их вместе с чадами и домочадцами лишали крыши над головой, ничего не предоставляя им взамен. Выселять их Зорин отправил Сашу, но тот решительно отказался становиться вышибалой коммунистического государства.

Из-за этой «гнусной сентиментальности» Зорин страшно разозлился. Человек с такими революционными заслугами, как Беркман, сказал он, должен выполнять любой приказ, и ему должно быть всё равно, окажутся ли эти буржуазные паразиты в сточной канаве или

утопятся в Неве. Мы ответили, что для революции гораздо полезнее и честнее утверждать коммунизм в настоящем, чем отрицать его словом и предавать делами во имя некоего предполагаемого будущего, но Зорин слепо верил в свои идеалы и не мог понять, насколько разлагающе и разрушительно они действуют. Он перестал заходить к нам во время своих ежедневных поездок на остров; мы же не хотели, чтобы он думал, будто мы трудимся ради возможности ездить на его автомобиле, поэтому стали ходить пешком, и это отнимало у нас около трёх часов. Но когда в один прекрасный день на наших должностях очутились другие, более гибкие и послушные властям люди, мы наконец-то всё поняли.

Дома отдыха были открыты с большой помпой, но нам эти ряды ржавых кроватей, стоявшие в больших и холодных залах, где мебель была обита выцветшим шелком и плюшем, показались безвкусными и негостеприимными. Мы были уверены, что уважающий себя человек вряд ли станет отдыхать в такой обстановке, и наше мнение разделяли многие, а некоторые были даже убеждены, что эти «дома отдыха для трудящихся» на Каменном острове на самом деле предназначены для партийцев и тех, кто имеет влиятельных знакомых.

С болью наблюдали мы за подлинной трагедией революции, зараставшей ядовитыми сорняками, которые высасывали ее жизненные соки, но не отчаивались и не сдавались: да, путь тернист, но ведь кто-нибудь должен когда-нибудь начать расчищать его? Достаточно сделать первый шаг в нужном направлении, большего не требуется — мы и сами бы с радостью взяли за это, и обязательно найдем способ это сделать, если только не откажемся от своих поисков.

Зорин много раз говорил нам о том, что советские столовые отвратительны, и однажды спросил, можно ли это как-то исправить. Саша снова загорелся, полностью погрузившись в реорганизацию этих поистине тошнотворных мест, и через несколько дней составил готовый план, в своей обычной манере подробно расписав каждый его пункт. По его замыслу, нужно было отказаться от непомерно раздутого штата работников существовавших кухонь, тем самым покончив и с огромными потерями продовольствия. Вместо этого следовало обустроить разветвленную сеть небольших буфетов, в которых даже при скудном снабжении люди могли бы в чистоте и уюте питаться простыми, но вкусными и полезными блюдами.

Саша был готов взяться за эту работу и не сомневался, что я помогу ему; для начала, предложил он, откроем несколько таких буфетов, а затем расширим их сеть. Отличная мысль, одобрительно сказал нам Зиновьев, когда мы представили ему Сашин план, очень простая и легко реализуемая; и почему никто не подумал об этом раньше? Все, кому мы рассказывали об этом, воспринимали наше предложение с воодушевлением и не скупилась на обещания. В Петрограде было множество магазинов, которые со времен революции стояли опечатанными. Саша мог выбирать любое помещение, любую мебель, и вообще требовать всё, что ему было необходимо для воплощения его идеи; в общем, мой друг снова был у руля.

Нас заверяли, что уж в этот раз неувязок точно не будет, однако бюрократия по-прежнему блокировала любую нашу инициативу, предпринятую без ее участия, и сложности возникали

в самых неожиданных местах. Совслужащие оказывались заняты, а чистота места для приема пищи в сравнении с вот-вот ожидаемой мировой революцией не имела никакого значения. Да и трястись так из-за каких-то мелочных улучшений накануне всеобщего вступления в прекрасную и светлую новую жизнь просто глупо; и Беркман, кстати, мог бы заняться чем-то серьёзным и по-настоящему важным, а не своими дурацкими реформами, из которых не выйдет ничего, кроме очередного разочарования. Все думают, что Беркман железный, а он, понимаешь, рассказывает тут нам, что первейшая задача революции — накормить голодных, что ее главная забота — благополучие и счастье народа, обеспечивающие ее безопасность и являющиеся ее разумной и нравственной основой. Подобная сентиментальность есть чистейшее проявление буржуазной идеологии! Основа революции, равно как и ее лучшая защита — это Красная Армия и ЧК, и капиталистический мир знает об этом, и в ужасе трепещет перед мощью Советской России!

Так ушла в небытие еще одна наша надежда, но с каждым ударом сердца в нас крепла вера, что не всё еще потеряно. Никогда еще Саша не был столь решителен и целеустремлен; мне же мешало сдаться пресловутое еврейское упрямство. Не все советские потоки стекают в одни и те же канавы, думали мы, есть, должны быть и другие, живительные, полноводные, питающие глубокие моря, и мы должны быть настойчивы в своём поиске.

У меня состоялся разговор с женой Лашевича, друга Зиновьева, занимавшего высокий пост в большевистском правительстве. Имея медицинское образование, я готова была помочь с больницами и госпиталями, и моя собеседница вызвалась сказать об этом самому товарищу Первухину, комиссару отдела здравоохранения исполкома Петросовета. Прошло несколько недель, прежде чем мне позвонили, и я поспешила в инстанцию.

«У вас образование медсестры, вы уже несколько месяцев находитесь в России, и до сих пор не распределены к нам на службу?» — воскликнул Первухин. Прискорбно, что я не понимаю, кто более всего нуждается: больницы в ужасном состоянии, катастрофически не хватает амбулаторий и квалифицированной помощи, не говоря уже о кадрах, инструментарии и инвентаре. Да он и несколько сотен американских медсестер нашел бы, чем занять, пока я прохлаждаюсь! Мне незамедлительно надлежит приступить к работе, настаивал он, и рассчитывать на него буквально во всём. Он даже выделит мне автомобиль, а как только я буду готова приступить, мы сразу же начнем инспекцию; вот прямо завтра мне и нужно прийти.

Я ответила, что, конечно же, буду у него с самого утра и обещаю сделать всё от меня зависящее, хотя в порученном ему деле колоссальной важности переоценивать мои возможности не стоит. Ничего другого, сказал Первухин, от старой революционерки и коммунистки, от истинной соратницы он и не ожидал. Я действительно коммунистка, уточнила я, но анархистской школы; он согласился, хотя не видел здесь никакой разницы: многие анархисты думали так же, как и коммунисты, были заодно с партией и работали вместе с большевиками. «В деле защиты революции я тоже с вами, — воскликнула я, — и буду с вами до последнего вздоха!» Однако мне не по пути с коммунизмом диктатуры, добавила я; с этим я примириться не могу, потому что не вижу ни единого признака общности насильственного государственного коммунизма и свободного, добровольного и основанного на сотрудничестве коммунизма анархического.

Мне уже приходилось видеть, как в подобных случаях перекашивает лица коммунистов, так что резкая перемена, произошедшая в комиссаре Первухине, меня ничуть не удивила. Добрый доктор, искренне озабоченный здоровьем народа, гуманист, еще секунду назад жаловавшийся на нехватку медсестер и отвратительное состояние больниц, одним махом превратился в фанатика, пышущего враждебностью и брызжущего негодованием. Я поинтересовалась, влияет ли моя позиция, отличная от его, на качество ухода за больными, или он полагает, что это может как-то отразиться на моих умениях. В ответ он выдал из себя слабое подобие улыбки: мол, Советская Россия ценит всякого, кто желает трудиться, и если это истинный революционер, отбрасывающий второстепенное во имя главной цели, то его взгляды не вызывают вопросов. Смогу ли так поступить и я? Мой ответ был искренним: я могла поклясться лишь в том, что всеми силами буду ему помогать.

Назавтра я пришла с самого утра, и потом приходила так всю неделю, однако запланированный Первухиным инспекционный обход так и не состоялся. Вместо этого он часами держал меня в кабинете, пытаясь убедить в непогрешимости коммунистического государства и непорочности зачатия большевистской диктатуры. Он полагал, что человек либо должен принять всё это, либо его следует исключать из числа единомышленников. Ужасающего вида больницы, дефицит лекарств, отсутствие должного ухода — всё это было сущими пустяками в сравнении с требуемой от всех верой в новую Троицу. Сомневаться не приходилось: «отчаянной потребности» во мне больше не было, и из пресловутого «числа» меня исключили.

Однако благодаря помощи Кибальчича, того самого юноши, что был моим соседом в «Астории», мне все-таки удалось посетить несколько больниц. Я нашла их в ужасном состоянии, но не столько по причине отсутствия самого необходимого, прежде всего медсестер, а из-за сложившейся атмосферы, которая была поистине невыносимой. Врачей с блестящим послужным списком, искренне преданных своему делу, притесняли на каждом шагу; вездесущая политическая машина — все эти коммунистические «ячейки», комиссары и прочие приметы времени — исправно надзирала за ними, парализуя их волю и пропитывая всё вокруг ненавистью и страхом, и перед этим были бессильны даже коммунисты. Кроме того, некоторые медики до сих пор не избавились от такого позорного пережитка прошлого, как человечность, и, принадлежа к интеллигенции, считались сомнительными личностями, которых следовало держать на коротком поводке... Конечно же, Первухин никак не мог принять меня в штат!

За очередным неприятным открытием в Аркадии советской диктатуры последовали и другие, еще более чувствительные удары, которые окончательно убили лелеемую мной веру в большевиков как в призывный голос Октября. Милитаризация труда, протасченная, словно паровым катком, на девятом съезде партии методами, знакомыми нам по Таммани-Холлу 21, совершенно определенно превратила каждого труженика в галерного раба. Замена коллективного управления единоначалием снова поставила рабочих в зависимость от тех самых элементов, которых последние три года учили бояться и ненавидеть. Теперь на заводах и фабриках на руководящие должности, дающие зачастую неограниченную власть, выдвигались «спецы» из числа интеллигенции, до этого именовавшиеся кровососами и врагами, саботирующими революцию.

Это одним ударом уничтожило важнейшее достижение Октября — право рабочих на управление собственным трудом. Положение усугублялось введением трудовой приписки 22, которая фактически клеймила каждого рабочего и лишала его последних остатков свободы (до этого момента на выбор места работы большевики не посягали), привязывая к определенной территории, покидать которую ему запрещалось под угрозой сурового наказания, вплоть до расстрела. Конечно же, столь реакционные и антиреволюционные меры были с негодованием встречены партийным меньшинством, имевшим достаточный вес для решительного им противодействия, и осуждались в низах. Среди противников таких методов были и мы, причем Саша даже в большей степени, хотя его вера в большевиков была по-прежнему очень сильна; но он еще не был готов посмотреть на очевидное изнутри, признать трагичность революции и согласиться с тем, что большевистский Франкенштейн рушит здание Октября.

Часами напролет он пытался побороть мою «нетерпеливость», высмеивал ограниченность моих суждений по масштабным вопросам, осуждал мой «подход белоручки» к революции. Я всегда недооценивала экономический фактор как основную причину зол капитализма, кричал он; неужели я не вижу, что советская власть базируется на той же экономической целесообразности? Непреходящая угроза извне, природная леность российского народа, не дающая увеличить производительность труда, отсутствие у крестьян необходимых орудий и вытекающий из этого их отказ кормить город — всё это вынуждало большевиков принимать отчаянные меры. Конечно, он считал их контрреволюционными и был уверен, что так поставленных целей достичь невозможно, но подозревать людей вроде Ленина и Троцкого в обдуманном предательстве революции по меньшей мере нелепо. Как такое можно даже предположить? Они же посвятили ей свои жизни! Из-за революции их преследовали, бросали в тюрьмы и ссылали — они попросту не могли ее предать!

Я заверила Сашу, что ни в коем случае не обвиняю большевиков в предательстве, считая их даже более последовательными во взглядах, чем работавших с ними наших соратников. Ленин вообще представлялся мне цельной натурой, никогда не отклонявшейся от выбранного курса; конечно же, нельзя было отрицать его высочайшего мастерства в политической акробатике, но упрекнуть его в предательстве не могли бы даже злейшие враги революции. Однако я настаивала на том, что его цели как раз и составляют корень зла, ведущего Россию к гибели. Он хочет построить коммунистическое государство с абсолютным верховенством его партии и собственной исключительной властью, но даже если при этом будут уничтожены все завоевания революции, а миллионы людей будут обречены на смерть, и Россия потонет в крови своих лучших сынов и дочерей, это не приведет железного человека из Кремля в смятение. Для него это по-прежнему будет всего лишь «чепуха», «небольшое кровопускание», которое никак не отразится на окончательной победе. С точки зрения ясности взгляда, силы воли и неистощимой решительности Ленин вызывал уважение, но его участие в революции я полагала величайшей угрозой для нее, более губительной, чем вся интервенция, потому что его цели были призрачны, а методы лживы.

Саша не оспаривал этого; он не меньше моего был убежден в бессмысленности дальнейших попыток работать в удушающих рамках советской бюрократии, но полагал, что я напрасно виню Ленина и его соратников во всех прегрешениях: всё, что они делают, навязано им

революционной необходимостью. И вообще, наяву революция достаточно сильно отличается от ее теорий, обсуждаемых салонными радикалами — она состоит из крови и железа, и тут ничего не попишешь. Первым об этом вслух заявил Шатов, того же мнения держались все трезвомыслящие наши соратники, да и сам Саша уже осознал это.

Деликатность моего давнего товарища вкупе с царящей меж нами интеллектуальной гармонией в значительной степени облегчала мне поиски выхода из лабиринта советской действительности. Саша был самым дорогим, что оставалось у меня после пронесшегося по моей жизни урагана, и я считала его надежным якорем в бушующем море Советской России. Поэтому эта неожиданная размолвка, словно гигантская волна, накрыла меня, изранив и выбросив на пустынный берег. Однако я не сомневалась в том, что со временем Саша осознает ошибочность своей позиции, а пока его отчаянные попытки защитить большевиков и их методы были последним рубежом проигранной, увы, нами битвы — той самой, которую мы начали в Соединенных Штатах от имени Октябрьской революции.

В Москве к нам приходило много народу, и среди посетителей оказалась весьма любопытная барышня — Александра Тимофеевна Шаколь. О том, что мы в столице, она узнала от Шапиро, и, будучи анархисткой, захотела увидеть американских товарищей, чтобы обсудить идею петроградского Музея Революции. Она рассказала, что это учреждение организует масштабную, на всю страну экспедицию по поиску документов о революционном движении в России с момента его зарождения, и собранный материал станет документальной основой для изучения великого переворота. Не согласимся ли мы присоединиться?

Поначалу мы загорелись этой идеей, дающей возможность увидеть будни Страны Советов, узнать у ее жителей, что дала им революция, как она отразилась на их существовании — да, нам вряд ли когда-нибудь еще представилась бы такая замечательная возможность пойти в народ! Однако, поразмыслив, мы с сожалением поняли, что сборы чьих-то воспоминаний посреди бьющей ключом жизни — вовсе не то, что мы ищем. Тридцать лет мы находились в самой гуще событий, на переднем крае революционной борьбы, а теперь должны довольствоваться такой малостью? Нет, мы жаждали более важного дела, которое дало бы нам возможность отдаваться ему целиком и использовать свои способности ради достижения великой цели.

Вернувшись в Петроград, мы вновь с головой погрузились в борьбу с советскими ветряными мельницами, и так страстно желали победы, что даже позабыли на время о предложении Шаколь; но, лишившись последней надежды на участие в по-настоящему полезном деле, немедленно о нём вспомнили. Это был действительно выход, возвращавший нашему существованию смысл: ведь если собранный материал позволит в будущем установить истинные связи между революцией и большевиками, значит, наши усилия не пропадут даром, и в этом мы с Сашей были единодушны.

Кроме того, эта работа еще и даст нам возможность увидеть всё своими глазами: города и веси огромной страны, ее людей, их повседневную жизнь, привычки и уклад — всё это обогатит наши знания, убеждали мы себя; в конце концов, нужно решаться хотя бы потому, что ничего другого всё равно не остаётся. «Только бы и это не оказалось еще одним мыльным пузырем», — сказала я Саше по пути в Зимний дворец, где располагался Музей

революции.

Мы не застали там Шаколь и очень огорчились, узнав, что она чудом выжила после подхваченного в Москве тифа; сейчас она уже выздоравливала, но выйти на работу собиралась не раньше, чем через две недели. Правда, она все-таки сообщила о нашем визите в музей, так что мы были приняты его секретарём М. Б. Капланом, молодым, лет тридцати с небольшим человеком приятной интеллигентной внешности. Он любезно предложил провести нас по учреждению и показать, чего уже удалось достичь. Несколько комнат были заполнены поистине бесценными архивами, среди которых были секретные документы эпохи царского режима, в том числе и доносы Третьего отделения, проливавшие свет на деятельность его шпионов. Значительная часть этой обширной коллекции уже была разобрана, систематизирована и подготовлена к выставке, которая должна была открыться в ближайшее время. «Мы только начали этим заниматься, — пояснил секретарь. — Чтобы создать в России единственный в своём роде музей, который был бы полнее любого из ныне существующих, в том числе Британского, потребуются долгие годы. Опять же, нигде в мире нет такого количества нуждающихся в немедленном спасении сокровищ, которые революция разбросала по всей стране». Поэтому музей и стремился организовать экспедицию до того, как многие из его возможных экспонатов будут утрачены. Каплан же был душой и сердцем этого учреждения, да и остальные сотрудники были настроены не менее оптимистично — всем хотелось, чтобы обновлённый музей открылся как можно скорее, и здесь все уповали на нашу помощь.

Была уже середина мая, но просторные залы Зимнего дворца пронизывал лютый холод, и мы, даром, что тепло укутались, быстро заоченели. Тем удивительнее было увидеть людей, вот уже три года трудившихся в этой страшной промозглости даже в суровые питерские зимы — их лица были испещрены синими пятнами, руки обморожены, а некоторые страдали от ревматизма или заходились в чахоточном кашле. Сам Каплан смущенно признался нам, что его здоровье тоже оставляет желать лучшего; и хотя и сам он, и большинство его сотрудников были беспартийными, каждый из них счастлив, ибо они удостоились чести внести вклад в строительство будущего революционной России.

Он очень хотел, чтобы мы помогли им с музеем, и его рвение было столь пылким, что мы, не в силах сопротивляться его натиску, сдались. «Тогда вам желательно приступить прямо сейчас», — настаивал он. Для организации экспедиции нужно сделать еще очень многое: приобрести необходимое оборудование, подготовить два вагона, один для шестерых командированных сотрудников, второй — для собранного материала; а еще получить в различных учреждениях нужные согласования, добыть пропуски и разрешения на проезд, обеспечить припасы... В общем, дело не терпит отлагательства, и мы должны заняться этим немедленно.

Мы попрощались с музеем и его радушным секретарём, и настроение наше заметно улучшилось. Предстоящие трудности нас не пугали, хотя было ясно: прозябать одним лишь сбором документов мы долго не сможем — нам хотелось иной, бурной деятельности; но сила духа этих людей и их преданность делу хотя бы сбросили с наших сердец гнетущее отчаяние, и в том была наиболее вдохновляющая примета советской жизни. В самую тяжкую минуту бесплодных поисков нашему взору представали невидимые за официальным

советским фасадом примеры героизма и стойкости, пусть даже не превозносимые ежедневно на публике и не отмечаемые яркими демонстрациями и военными парадами. В официоз не верил никто из беспартийных, и даже в самой партии было множество людей, которые ненавидели всю эту показушную помпезность, хоть и бессильны были противостоять производящей ее машине. Эту вульгарную нарочитость они пытались компенсировать целеустремленностью и порядочностью, методично трудясь над решением своих задач, до конца отдавая себя Революции и не требуя взамен ни пайков, ни похвалы, ни каких-либо наград. У этих людей были великие сердца, и это искупало в наших глазах всё дрянное в большевистском режиме.

Подготовка к экспедиции шла ни шатко, ни валко, и у нас оставалось время на то, чтобы ходить по музеям, картинным галереям и прочим достопримечательностям, и даже на побочные дела. Узнав от питерских товарищей об аресте двух анархисток семнадцати и пятнадцати лет, которых обвиняли в протестах против унижительных трудовых книжек и невыносимых условий содержания «политических» в тюрьмах на Шпалерной и Гороховой, мы тут же бросились к большевистским вождям. Зорин уже разочаровался в нас — для него мы уже не существовали; Зиновьев же, как мне казалось, не особенно любил меня (если честно, это было взаимное чувство), однако всегда был очень обходителен с Сашей, и поэтому последний обратился с нашей просьбой к председателю Петросовета.

Тем временем я направилась к Равич, чьей простотой, скромностью и готовностью признавать и исправлять бюрократические злоупотребления не уставала восхищаться. К сожалению, политические заключенные не входили в ее юрисдикцию — подобные дела находись в ведении ЧК, начальник питерского управления которой товарищ Бакаев был известен своей предвзятым отношением к анархистам. Сразу же по прибытии «Бьюфорда» он неприятно поразил ссыльных заявлением о том, что «Советская Россия не потерпит никаких анархистских глупостей». Подобная роскошь годится только для капиталистических стран, сказал он, а при пролетарской диктатуре анархисты должны либо подчиниться, либо их надлежит раздавить. Увидев, что наши ребята возмущены таким приемом, Бакаев приказал посадить все 247 человек под домашний арест; мы же узнали об этом только на третий день, и это известие чрезвычайно нас взбудоражило. Зорин, правда, не преминул назвать это «незначительным происшествием», объяснив его досадным недопониманием, но в итоге заставил товарища из ЧК распорядиться о снятии вооруженной охраны с общежития в Смольном, где поселились наши товарищи. Увы, впоследствии нам часто приходилось сталкиваться с подобным «досадным недопониманием»...

Но на этот раз звонки Зиновьева и Равич возымели на Бакаева немедленное действие: он, как и мы, жил в «Астории», и, позвонив мне, попросил зайти. Он отпустит арестованных девушек-анархисток, заявил он, если мы поручимся, что они прекратят свои «бандитские действия». Я изумилась тому, что он так говорит о двух молоденьких девушках, единственная вина которых заключалась в выражении несогласия с методами, которые они считали контрреволюционными. «Ваша партия, вероятно, не очень уверена в себе, иначе ее то и дело не преследовали бы воображаемые бандиты и контрреволюционеры», — сказала я ему, отказавшись ручаться за кого бы то ни было, потому что и сама на их месте не смолчала бы. За товарища же Беркмана, продолжала я, говорить не имею права (хотя знала, что он наверняка не откажется заступиться). Ну, а что касается отвратительного обращения

с политзаключенными, добила я главу ЧК, то в американских тюрьмах будут рады узнать, что тюрьмы в Советской России в этом отношении ничуть не хуже. Это, похоже, попало в точку: Бакаев заявил, что даёт девушкам еще один шанс, потому что они пролетарки, просто не поняли еще, что не должны вредить своему классу, критикуя его диктатуру; ну, и, конечно же, он посмотрит, что там нужно улучшить в тюрьмах, хотя их «невыносимость» сильно преувеличена.

В Америке мы довольно часто вытаскивали людей из заключения, и это даже стало одним из направлений нашей деятельности; но мы и помыслить не могли, что нам придётся то же самое делать и в революционной России. Это просто не приходило нам в голову, а если бы такая мысль и появилась, мы бы немедленно погнались ее прочь. Однако до сих пор единственной ощутимой пользой от нас было заступничество за арестованных товарищей — перед Лениным, Крестинским, а теперь вот и перед вождями поменьше. Это было бы смешно, если бы не было так грустно; но мы еще не разучились смеяться над собой, хотя сквозь смех всё чаще поблескивали слезы.

Тем не менее, мы не жалели сил ради освобождения наших товарищей. Особенно упорно нам пришлось биться за Всеволода Волина, руководившего культурно-просветительской работой в армии Нестора Махно, которого большевики скрепя сердце признавали талантливым полководцем больших стратегических способностей и исключительной храбрости. Кстати, именно повстанцы Махно много раз наголову били белогвардейцев и вместе с Красной армией обратили вспять деникинские орды, но после отказа подчиняться Троцкому Нестор был немедленно объявлен врагом и бандитом, а его войска — контрреволюционными.

Волин не участвовал в военных действиях, однако украинской ЧК это было безразлично: при первой же возможности Всеволод был арестован и помещен в харьковскую тюрьму, где находился в полной изоляции от внешнего мира, хотя был серьезно болен и метался в лихорадке. Наши московские товарищи понимали всю опасность его положения, поскольку Троцкий в это же самое время слал телеграммы с приказом расстрелять Волина, и пытались добиться его перевода в столицу, где он был известен как человек безупречной репутации и высоких интеллектуальных качеств. По Москве ходила подписанная всеми находившимся в ней на тот момент анархистами петиция, в которой мы требовали перевести Всеволода в столицу. Вручить эту бумагу лично в руки секретарю Коммунистической партии Крестинскому 23 должны были Саша и московский товарищ Аскарков.

Николай Крестинский оказался фанатиком и ярким противником анархистов. Сначала он заявил, что Волин заслуживает расстрела как контрреволюционер, а потом вдруг стал придуриваться, будто его уже перевели в Москву; однако Саше удалось уличить его во лжи и убедить в том, что Волину нужно хотя бы дать высказаться в свою защиту, чего в Харькове ожидать невозможно. В конце концов, Крестинский услышал Сашу и пообещал телеграфировать в соответствующие инстанции, чтобы Волина отправили в Москву. Судя по всему, свое слово он сдержал: вскоре нашего товарища привезли в Бутырскую тюрьму, а еще через некоторое время и вовсе выпустили.

Добившись освобождения Всеволода, а также тех двух юных питерских барышень, в ожидании начала экспедиции мы решили все-таки побывать на предприятиях. До меня доходили самые невероятные слухи о том, что там происходит, но поскольку побывать на заводах и фабриках мне пока не удалось, я относилась к этому с недоверием. В стране, где нет свободы печати и слова, отвечала я говорунам, общественное мнение вынуждено опираться на преувеличения и ложь, поэтому я должна сама всё увидеть, а уж потом делать какие-то выводы.

Долгожданная возможность посетить предприятия и по возможности поговорить с рабочими возникла, когда Равич обратилась ко мне с просьбой сопровождать неведомо откуда появившегося в Петрограде американского журналиста. Оказалось, это был один из газетчиков, расспрашивавших нас в Териоки. Он предпринимал отчаянные попытки попасть в Советскую Россию, и даже просил встреченного на границе Сашу замолвить словечко перед Чичериным, который решал, допускать ли в страну того или иного журналиста. Внешность и манеры молодого человека производили приятное впечатление, но, кроме этого, мы совершенно ничего о нем не знали — даже его имени и названия газеты, которую он представлял. Только в самый последний момент, когда мы уже переходили границу, он сунул нам визитную карточку, и Саша пообещал передать его просьбу наркому иностранных дел, оговорившись, однако, что не может дать никаких гарантий. Тем не менее, он сдержал обещание, рассказав Чичерину об этом молодом журналисте — его звали Джон Клейтон, а работал он в чикагской Tribune, американской реакционной газете.

В российской суматохе мы совершенно забыли о его существовании, поэтому я была немало удивлена, когда по возвращении в Петроград Равич стала по телефону расспрашивать меня, знаком ли мне некий Клейтон, арестованный при попытке нелегально пересечь границу России и находившийся теперь в ЧК. Когда его спросили, кто мог бы за него поручиться, он назвал наши имена, и я повторила Равич слова, сказанные Сашей ранее Чичерину, присовокупив, что, раз уж этот человек находится на советской земле, самым верным выходом было бы его освободить. Всё равно ему не дадут увидеть больше положенного, а мимо большевистской цензуры не пройдет ни одно его сообщение, так что здесь опасаться нечего. Госпожа Равич решила передать сказанное мною управлению пограничной охраны ЧК, предоставив чекистам возможность самим решать этот вопрос.

После этого о Клейтоне снова долго не было ничего слышно, пока я однажды я с удивлением не обнаружила его у дверей своей комнаты в «Астории». «Откуда вы взялись?» — набросилась я на него, даже не подумав пригласить его внутрь. «Ох, и не спрашивайте, — сказал он жалобно. — Я рисковал жизнью, чтобы попасть в страну, я прибыл сюда с лучшими намерениями, а ко мне относятся хуже, чем к собаке». «Что случилось?» — спросила я. «Черт побери! — вскричал Клейтон. — Да мне же и дня не хватит, чтобы рассказать обо всех своих злоключениях, а вы даже не предложите мне войти?» Несчастный был в отчаянии, а я не хотела показаться невежливой — даже перед американским репортером, хотя у меня, как ни у кого, были веские причины на подобное обращение с этой братией. «Заходите, старина, и рассказывайте», — недолго думая сказала я. Его лицо посветлело. «Спасибо, Э.Г., — ответил он, — я знал, что вы не сможете превратиться в бездушную большевичку». «Чепуха, — поправила его я, — не все большевики черствы, а те, кто стал таким, должны благодарить за это ваше правительство, которое вместе с прочими

морит Россию голодом».

Клейтон поведал, что он сначала долго шел на лыжах, потом за взятку перешел финскую границу, был пойман, брошен в какую-то грязную тюрьму, потом отправлен в Москву, а последние шесть недель находился «на свободе». «На свободе?» — удивилась я. Да, подтвердил он, только за всё это время ему не удалось увидеть или услышать ровным счётом ничего — совершенно ничегошеньки, даже на самую убогую статейку. К тому же в столице его всячески унижали и провоцировали. «Чрезвычайно паршивая ситуация, если вам интересно, что я по этому поводу думаю, — с горечью констатировал он. — И вообще, так обходиться с журналистами — большая ошибка!»

Как гласит русская пословица, путь к сердцу мужчины лежит через желудок, а с оскорблённым Клейтоном нужно было срочно что-то делать. «Давайте поговорим об этом подробнее, — сказала я, — но после того, как вы выпьете кофе». «Кофе? Вот это да! Вот это настоящий подарок судьбы!» — воскликнул он с искренней радостью. Всего две чашечки — и печаль Клейтона рассеялась, а сам он стал более восприимчив к доводам разума, признавая несостоятельность своей позиции и бессмысленность обид: в конце концов, его попросту никто не знал. Удостоверение же корреспондента чикагской Tribune не сулило ничего хорошего — у коммунистов был пунктик относительно шпионов и заговорщиков, но в силу нападков, которым подвергалась Россия со стороны врагов революции, это тоже было вполне естественно. Поэтому, если его намерения столь же добры, как он божился, ему следует посмотреть на этот неприятный случай с другой стороны; в противном случае он, подобно некоторым своим коллегам, рискует скатиться в глупости, публикуемые в американской прессе. Она уже сообщала и о якобы имевшей место национализации женщин, и о скармливаемых народу ушах и пальцах буржуазии, и о прочих «сенсациях» того же пошиба, но Клейтон поклялся, что никто и никогда не сможет обвинить его в подобной лжи. «Вы сами в этом убедитесь!» — заверял он меня. Надо же! Тридцать лет я безуспешно искала в американской прессе объективность и правдивость; исключения, конечно, случались, но крайне редко, и ни одно из них не было связано с чикагской Tribune, поэтому я надеялась, что Клейтон все-таки окажется одним из них.

Соглядатайство и хождение за кем-либо хвостиком никогда не были мне по нраву, но я не могла отказать Равич, всегда охотно откликавшейся на наши просьбы облегчить чье-либо существование. Опять-таки, обстановка в России была очень непростой, и я еще не до конца разобралась во всех ее хитросплетениях. Соблюдать рамки, в которые меня загоняли большевики, я не собиралась, но при этом должна была избегать того, чтобы меня цитировали в американской прессе в качестве оппонентки Советской России, которая в это время бьётся не на жизнь, а на смерть по всем фронтам. В общем, я оказалась меж двух огней: помогать Клейтону с информацией не хотелось, но и перспектива подсовывать ему откровенную ложь тоже совершенно не прельщала.

Видимо, Равич знала, что делала, давая Клейтону разрешение на посещение предприятий — вполне возможно, всё было не так уж и плохо; а может быть, она просто думала, что рядом со мной он действительно примет это за чистую монету. К счастью, нас должен был сопровождать и Саша; это позволяло одному из нас улучшить возможность слегка отстать и поговорить с рабочими, пока второй будет переводить Клейтону официальный доклад о

положении дел.

Путиловский завод находился в плачевном состоянии: большинство станков были попросту разграблены, остальные же требовали ремонта, а территория предприятия была захламлена и запущена. Пока Саша объяснял Клейтону, что говорил ему начальник цеха, я чуть отстала от них и подошла к рабочим, но те не хотели говорить со мной, пока не услышали, что я приехала из Америки помогать революции, но при этом не большевичка. Для них это значило очень многое: они могли бы немало мне рассказать, но, видимо, у заводских стен были уши: дня не проходило, чтобы кто-нибудь не переставал вдруг выходить на работу. Болен? Нет, просто чересчур громко протестовал. Я заспорила: власти утверждали, что путиловцы работают в важнейшей отрасли промышленности, и потому их пайки гораздо лучше, чем у других трудящихся — им выдают по два фунта хлеба в день и другие продукты. В ответ люди посмотрели на меня с удивлением, а один из них, усмехнувшись, протянул мне свою краюху: «На, кусай!» Попробовав ее на зуб и тут же поняв, что рискую попасть к дантисту, я вернула черствую горбушку владельцу, насмешив собравшихся вокруг работяг.

Однако я не сдавалась: да, хлеб плох, и его мало, но нельзя винить в этом одних коммунистов; вот если бы путиловские рабочие и их коллеги на других заводах повысили производительность труда, крестьяне смогли бы выращивать больше зерна. Да-да, вновь засмеялись они, как раз эту байку им рассказывают чуть ли не ежедневно, втолковывая необходимость милитаризации труда. Работать на пустой желудок тяжело, но можно — до тех пор, пока работать не принуждают; теперь же трудиться стало просто невозможно. Новый декрет озлобил всех — он отрывал рабочих от деревень, где те жили, и которые кормили их; кроме того, выросло число дармоедов, которых тоже нужно было кормить. «Из семи тысяч человек, работающих здесь, непосредственно на производстве заняты только две тысячи», — заметил старый рабочий, стоявший около меня. Я наверняка видела рынки, сказал другой, и должна была заметить, что тот, кто в состоянии заплатить, может себе ни в чём не отказывать. К сожалению, ответить я не успела: кто-то подал условный сигнал, и рабочие поспешили вернуться к станкам, а я присоединилась к моим спутникам.

Следующий визит, как нам показалось, мы нанесли в некий гарнизон; по крайней мере, вооруженные люди были здесь повсюду, даже вокруг мельницы. «Зачем столько охраны?» — спросил Саша сопровождавшего нас комиссара. Ответ был следующим: с недавних пор мука стала исчезать целыми вагонами, и солдаты должны были предотвратить воровство; пока, правда, это не удаётся, но несколько грабителей уже задержаны — ими оказались здешние работники, подговорённые некоей бандой спекулянтов. Это объяснение прозвучало смехотворно, и я, используя проверенный способ, замедлила шаг и произнесла нужный пароль: «Я из Америки, передаю вам революционный привет от борющегося пролетариата, а также подарок — сигареты». Всё получилось: тут же рядом со мной остановился проходивший мимо с мешком муки на спине молодой парень с умными глазами и тяжёлой челюстью. Я сразу же взяла быка за рога: откуда здесь военные? В ответ он осведомился, слышала ли я про новый декрет о милитаризации труда, до глубины души оскорбивший революционную сознательность рабочих — еще бы, брата-солдата, с которым они плечом к плечу стояли в те памятные октябрьские дни, теперь поставили надзирать над ними! Я заикнулась о краже муки — мол, наверное, солдаты поставлены, чтобы ее не

воровали, но парень печально усмехнулся: «Кому, как не комиссарам, знать, кто на самом деле ворует муку — ведь они же и следят за ее вывозом!» «А революция? Что она дала рабочим?» — спросила я. «Дала! — протянул он. — Дала только надежду, но и ту сразу же отняла... Да и революции-то уже нет — всюду застой, как в болоте; но скоро начнётся новая буча, не сомневайся!»

Вечером, делясь друг с другом впечатлениями, мы с Сашей сошлись на том, что уже знаем всё, что нам нужно знать о советских предприятиях, и теперь можем дать сто очков вперёд официальным провожатым, менее щепетильным в переокраске черного в белое, а серого — в ярко-красное. Поэтому Саша категорически отказался ходить с нами, но я все-таки выполнила обещание, данное Равич, и на завтра отправилась с Клейтоном на табачную фабрику «Лаферм». Кстати, она, в отличие от прочих, была в неплохом состоянии — наверное, потому, что дела здесь вели бывший владелец и управляющий.

Вскоре Клейтон уехал, пообещав вернуться уже надолго — чтобы досконально изучить обстановку; помогать же ему будет русская жена, так что он не станет больше злоупотреблять нашим временем и добротой. На прощание он торжественно пообещал быть осторожным в словах и не вводить никого в заблуждение по поводу России. Бедный юноша, подумала я; он даже не догадывается, что буквально каждый день, прожитый в России, вводит в заблуждение и меня, и всех остальных. Ах, настанет ли тот день, когда я вновь смогу чувствовать себя уверенно?

Экспедиция всё не отправлялась, и нервы мои были на пределе. Хрупкое, только-только обретённое душевное равновесие немедленно полетело в тартарары, как только я увидела, в каких условиях приходится жить и трудиться рабочему классу, и только с приездом Анжелики Балабановой настроение моё немного улучшилось. Ее направили сюда якобы для того, чтобы проконтролировать последние приготовления к приёму британской профсоюзной делегации. На самом же деле бедняжку попросту выслали из Москвы: она должна была стать такой же сопровождающей, как и я, и не было сомнений, что и страдать ей придется так же, как и мне, игравшей в прятки с бледной тенью когда-то ярко горевшей веры.

Для размещения почетных гостей с берегов Темзы был выделен Нарышкинский дворец, одно из красивейших зданий на набережной Невы, закрытое еще со времен Октября. Анжелика попросила меня помочь ей привести его в порядок, и я с радостью согласилась, хотя по-хорошему необходимости во мне не было: сюда нагнали целую ватагу обслуги, несмотря на то, что здесь с легкостью и гораздо быстрее справились бы всего трое по-настоящему работающих людей. Я была уверена, что Анжелике просто одиноко, а когда увидела ее, тут же поняла, что она снова заболела. Нам было приятно проводить время в обществе друг друга, но я никак не могла откровенно поговорить с ней о том, что у нас на душе — мне казалось, что это сродни ковырянию в открытой ране. Кроме того, Анжелике очень нравился Саша, и она уже договорилась с ним, что он будет ее переводчиком, тут же поручив подготовку приветственных речей.

Наконец, делегация прибыла, и большинство в ней представляли типичные англосаксы, уверенные в собственном превосходстве. Конечно же, они выступали против интервенции и

хвалились тем, как отражают нападки на Советскую Россию, но на всё, что касалось революции и коммунизма, давали один и тот же ответ: нет, спасибо, нам ничего этого не нужно. Тем не менее, приём этот должен был стать как бы призывом к широким массам британских трудящихся и рабочим всего мира: нельзя упускать ни единой возможности для пропаганды!

Грандиозный военный парад на площади перед Дворцом Урицкого стал лишь первым номером обширной программы; остальные должны были стать еще более убедительными. Обеды в Нарышкинском дворце со столами, ломящимися от лучших яств и питий, которые только можно было найти в голодающей России; прогулки в сопровождении личных переводчиков по образцовым специально подобранным школам, заводам, фабрикам и домам отдыха; посещение театров, балета, концертов, оперы, где каждое представление гости смотрели из царской ложи... И это была лишь малая часть запланированных празднеств, так что британская сдержанность не устояла перед таким массивным гостеприимством: большинство членов делегации попала под влияние этого спектакля, с каждым днём становясь всё податливее.

Некоторые из англичан еще и упражнялись в логике, пытаясь убедить меня, что диктатура и ЧК в такой отсталой стране, как Россия, неизбежны, ибо ее народ веками жил под властью деспотов. «Мы, англичане, конечно, не поддержали бы этот переворот, — заявил один из делегатов, — но тёмные российские массы, не знавшие цивилизованного пути развития, совсем другое дело». Советская власть, утверждал он, показывает исключительную разумность и замечательные способности в управлении имеющимся человеческим сырьем, но простой англичанин, конечно, не потерпел бы подобных вещей. «Простой англичанин, сэр, — парировала я, — предпочитает бежать три квартала за кэбом джентльмена для того, чтобы выступить в роли лакея и заработать баснословную сумму в два пенса». «Если вам доводилось видеть подобную сцену в Лондоне, значит, вам попались на глаза отбросы общества», — защищался он. «Именно так — сказала я, — ведь в Англии таких отбросов более чем достаточно, и как раз они и являются главной препоной на пути фундаментальных экономических преобразований. Ах, да, я забыла, что вам, англичанам, не нужна никакая революция: она могла произойти только в неграмотной и нецивилизованной России!»

Произнеся это, я отошла, но не столько для того, чтобы посмотреть окончание балета, сколько во избежание дальнейшей дискуссии с британской спесью. В это время открылась дверь, и в зал вошел военный; зажегся свет, и я узнала Льва Троцкого. Как же он изменился за эти три года! Это был уже не невзрачный, бледный и худой эмигрант, увиденный мной в Нью-Йорке весной 1917 года — вошедший показался мне шире и выше, хотя лишнего веса в нём по-прежнему не было. Серое лицо стало бронзовым, рыжеватые волосы и борода сильно подернулись сединой, но выглядел Троцкий человеком, хорошо знающим собственную силу и вкус власти. Он нёс себя с гордостью, а в его глазах, устремленных на британских гостей, сквозили надменность и презрение. Вскоре, не сказав никому ни слова, он удалился. Меня он тоже не узнал, да и я сама не пыталась напомнить ему о себе: слишком широкой стала пропасть между нашими мирами, и дотянуться до него было невозможно.

Но были в британской делегации и те, кто не хотел смотреть по сторонам, разинув рот в умильном удивлении, и были это отнюдь не рабочие. Например, Бертран Рассел с самого начала вежливо, но решительно отказался от официального сопровождения, предпочитая бывать всюду самостоятельно. Не выказывал он восторгов и относительно того, что жил во дворце и вкушал различные деликатесы — в общем, подозрительный тип, шушукались большевики; ну, а чего еще ждать от буржуа?

Анжелику же всё это приводило в отчаяние. Она была убеждена в том, что пытаться обвести всех вокруг пальца — глупо и преступно. Гости должны увидеть истинное положение дел, всю ужасающую нужду и нищету осаждённой России, настаивала она; возможно, это поспособствует тому, что мировая общественность выступит против тех стран, что душат Советы голодом. Вероятно, в ЧК думали иначе, но не препятствовали, во всяком случае, гласно, свободному передвижению гостей.

Однажды господин Рассел зашел к нам вместе с Генри Дж. Алсбергом — сопровождавшим делегацию американским корреспондентом, писавшим для нью-йоркской Nation и лондонской Daily Herald. Нас заочно познакомил всё тот же Джон Клейтон, от которого Алсберг, встретившийся с ним в Эстонии, узнал, что мы живём в «Астории», и принял посылочку с продуктами для нас. Столь приятный сюрприз, неожиданно пополнивший наши запасы, нужно было как-то отметить, и мы пригласили гостей отобедать с нами, тем более, что кухня была прямо в номере — я отвела уголок и под нее.

Наверняка у меня получилось не самое изысканное в мире блюдо, но и Рассел, и Алсберг наперебой уверяли, что не едали ничего вкуснее, и вообще, питаться так им гораздо приятнее, чем есть в Нарышкинском дворце с севрского фарфора на дамасских скатертях. Возможно, сказывалось то, что им можно наконец-то было говорить откровенно, а может, им не терпелось получить честные, непредвзятые сведения о российском бытии. Для нас же это был первый контакт с миром за пределами России, с людьми, которые были действительно озабочены ее благополучием, и нам дорог был каждый миг беседы с нашими гостями. В особенности мне понравился Генри Алсберг, от которого так и веяло всем, что было хорошего в Америке — искренностью, непринуждённой легкостью в разговоре, дружеской прямоотой; господин же Рассел был более сдержан в проявлении чувств, но зато благородства в нём было с избытком.

Анжелика вызвала нас переводить речи на прощальном приёме, и в тот же вечер вместе со всей делегацией отбыла в Москву, забрав с собой и Сашу. Он действительно был ей необходим, да и у кого бы из нас повернулся язык ей отказать? Правда, ему еще предстояло заниматься подготовкой музейной экспедиции, для которой осталось раздобыть самое главное — вагон. Несколько недель Каплан и Ятманов, комиссар Музея Революции и видный коммунист, безуспешно пытались его найти и, отчаявшись, решили, что Саша должен пойти с этим вопросом к Зиновьеву. Однако теперь всё вновь откладывалось, и я, всегда находившаяся в самой гуще событий, снова оказалась не у дел. Положительно, я начинала привыкать к тому, что в России ничего не делается быстро, и понемногу училась ждать; но ведь диктатура пролетариата создавалась навечно, и что в таком случае могли значить недели, месяцы или даже годы?

Вскоре поиски вагона возобновились с новой силой — из Москвы вернулся Саша. Он был крайне недоволен и огорчён увиденным в столице балаганом, устроенным ради британской профсоюзной миссии, но бедная Анжелика, конечно же, была не при чём: как только на вокзале она подвела гостей к Карахану 24 и его присным, ее немедленно оттёрли в сторону. В сумятице встречи все позабыли о Бертроне Расселе — оказалось, никто не знал (или все притворялись, будто не знают), что значит этот человек для мировой науки и прогрессивной мысли. Положение спас Саша, окликнувший Карахана, который уже собрался уезжать в своём роскошном автомобиле. Тот поинтересовался, что за птица этот Рассел — он ведь никогда о нём не слышал, а потому не знает, стоит ли так убиваться по его поводу, но верит Саше на слово, — и пригласил их обоих в свою машину. А вот от участия в публичных мероприятиях и демонстрациях в честь британской делегации мой друг уклонился. С него было достаточно этих представлений — он уже просто не мог выносить весь этот пафос и всю ложь, которой пичкали ничего не подозревавших британцев. Он только перевел несколько резолюций да поездил с делегатами по заводам и фабрикам, да и то по просьбе Анжелики.

Неожиданно к Саше обратился Карл Радек, попросив его перевести кое-что написанное Лениным и даже отправив за ним один из кремлёвских автомобилей, который должен был привезти моего друга в штаб-квартиру Третьего Интернационала. Там Радек вручил ему ленинскую рукопись «Детской болезни „левизны“ в коммунизме». «Представь, как я удивился и возмутился, — рассказывал потом Саша, — когда, бегло просмотрев эти страницы, обнаружил: это чрезвычайно резкая критика в адрес всех революционеров, чьи идеи отличались от большевистских. Я сказал Радеку, что переведу это, если только мне позволят написать предисловие». «Радек, должно быть, подумал, что ты тронулся, раз позволяешь себе подобные выпады», — заметила я. «Да он был попросту взбешён, когда понял свою ошибку, посчитав, что я такой же сумасшедший, как и все они», — ответил мой друг-шутник. Больше к этому вопросу Радек не возвращался, а Саша занялся своими делами.

Тем более, что таковые в Москве нашлись, и некоторые требовали серьёзного внимания. наших соратников, в том числе универсалиста Абу Гордина, участника революции 1917 года, снова арестовали и держали в тюрьме, не предъявляя им никаких обвинений. Ответом на их непрестанные требования сообщить о причинах ареста было молчание, и тогда в знак протеста они объявили голодовку. Саша посвящал всё свое время тому, чтобы добиться от властей либо доказательств виновности наших товарищей, либо же их освобождения, и после долгих усилий ему все-таки удалось попасть на аудиенцию к Преображенскому, секретарю Коммунистической партии. Саша предупредил его, что находящиеся в заключении люди сильно ослабли из-за голодовки, на что Преображенский холодно заявил, что «чем раньше они умрут, тем лучше для нас». Саша заверил его, что российские анархисты и не подумают оказать такую услугу ни ему, ни его партии; более того, если режим продолжит преследование наших товарищей, нести ответственность за всё придётся именно ему. «Вы мне угрожаете?» — спросил его Преображенский. «Нет, я всего лишь констатирую факт, а вы, революционер со стажем, сами должны сделать из этого выводы», — ответил Саша.

Увы, освобождения московских товарищей он так и не добился. «Какую же цель преследует эта новая для нас политика сознательного уничтожения анархистов?» — спрашивали мы себя; Саша полагал, что это было ответом на резолюцию московской конференции, переданную нами Ленину. В ответе из исполкома Коммунистической партии, который нам специально переслали, говорилось, что «...идейные анархисты работают с советским правительством»; прочие же становятся врагами революции, и с ними никто не будет нянчиться — так же, как и с другими контрреволюционерами вроде эсеров или меньшевиков. Конечно же, ЧК поняла этот намек и действовала соответствующим образом.

Положение было ужасным, но мы были бессильны: любой протест внутри Советской России возымел бы действия не больше, чем выступления Петра Кропоткина или Веры Фигнер. А поскольку как раз в это время Россия оказалась в затруднительном положении на польском фронте, мы посчитали, что не имеем права обратиться к рабочим всего мира.

Узнав о войне с Польшей, я отбросила своё недовольство и попросилась медсестрой в армию. На то время Равич в Петрограде не было, поэтому пришлось идти к Зорину — я вновь стала бывать у них после того, как Лиза родила. И мать, и ребёнок были очень больны, и я, как могла, заботилась о них, смягчив тем самым зоринское недовольство несовпадением наших позиций относительно домов отдыха. Мое предложение помочь Советской России в час испытаний, казалось, глубоко тронуло его; видимо, он думал, что мы просто до сих пор не поняли, что революция и диктатура суть одно и то же, а служить первой означает работать ради последней. Он пообещал поговорить о моём предложении в соответствующих инстанциях и сообщить мне о решении, но так и не сделал этого, что, впрочем, никак не повлияло на мое стремление помочь его стране в каком угодно качестве, ибо на тот момент ничего важнее не было.

В это же время Саше удалось добыть старый и ветхий пульмановский вагон из шести купе. Его довольно скоро привели в порядок — вычистили, покрасили и продезинфицировали специально для музейной экспедиции, начальником которой поставили Сашу, прекрасно проявившего себя там, где не справлялись другие. Шаколь назначили секретарем, меня же обязали, помимо сбора исторических материалов (этим делом мы должны были заниматься все вместе), быть казначеем, сестрой-хозяйкой и поварихой. Еще одна семейная пара из русаков специализировалась на революционных документах, а шестой участник, некий молодой еврей, отвечал за связи с партийными органами и учреждениями на местах; правда, он, единственный коммунист, оказавшийся в компании трех анархистов и двух беспартийных, ощущал себя не в своей тарелке.

Нам требовались матрасы, одеяла, посуда и прочее, и я получила от Ятманова ордер на то, чтобы взять всё необходимое в Зимнем дворце. Вооружившись этим «мандатом», я отправилась в подвалы, где хранилась домашняя утварь Романовых, и увиденные там неопишуемые богатства, которыми до последнего времени пользовалась царская семья во время официальных приемов, поразили меня до глубины души. Сколько людей из разных стран трудились над всем этим, но ради чего? Бесценные фарфоровые сервизы, потрясающие серебряные и медные столовые приборы, стекло, ткани... Комната за комнатой, под самый потолок уставленные покрытыми толстым слоем пыли немymi свидетелями былого величия, и посреди всего этого великолепия — я, пришедшая сюда за

посудой для экспедиции! Можно ли представить более фантастический сюжет, рисующий эфемерность природы человеческих судеб?

На то, чтобы выбрать что-то подходящее, у меня ушел целый день, но и отобранное больше годилось для музея, хоть я и старалась не волноваться из-за того, что мы будем есть селедку и картошку, а если повезет, то и щи, из тех самых тарелок, из которых ели правители Всея Руси и члены их семьи. Однако при мысли о том, как бы обыграли это американские газеты, становилось смешно: архианархисты Беркман и Гольдман пользуются бельем с царскими гербами и китайским фарфором Романовых! Интересно, что сказали бы американцы — к примеру, Дочери Американской Революции, — рожденные свободными, но готовые умереть ради одного взгляда, брошенного на них коронованной особой, не важно, живой или мертвой, или какого-нибудь сувенира вроде старого башмака, истоптанного венценосной ногой!

30 июня 1920 года, всего через семь месяцев после того, как мы очутились на советской земле, наш восставший из пепла вагон прицепили к ночному эшелону «Максим Горький» и отправили в Москву. Там был «центр», где в различных учреждениях, начиная с Наркомпроса и Наркомздрава и заканчивая Наркоминделом и ЧК, нам предстояло получить все необходимые разрешения. В последней из названных инстанций мы должны были обзавестись особым мандатом на право пользования контрреволюционными документами — их сбор также входил в наши задачи. Мы рассчитывали, что на всё про всё нам хватит нескольких дней, но вместо этого провели в столице целых две недели.

Москва бурлила: недавно бастовали хлебопеки — исполнительный комитет их профсоюза был распущен, а его члены были брошены в тюрьму. Похожая участь постигла профсоюз типографских рабочих, совершивших еще более чудовищный проступок: они организовали митинг, пригласив на него членов британской профсоюзной делегации. Гвоздем программы стало неожиданное появление на трибуне Чернова, ушедшего в подполье лидера эсеров и в недавнем прошлом председателя Учредительного собрания, за которым долгое время охотилась ЧК. Он отрастил окладистую черную бороду, и узнали его лишь по страстной речи против большевиков, вызвавшей в зале овации, а когда председательствовавший на собрании коммунист призвал арестовать оратора, он смешался с толпой и растворился в ней.

В общем, Москву лихорадило — в довершение всего, здесь проходил второй конгресс Красного Интернационала профсоюзов, на который прибыло множество иностранных делегатов. Нам было приятно увидеть анархо-синдикалистов из Испании, Франции, Италии, Германии и Скандинавии, а также английских рабочих — более боевых и менее удобных для власти, чем их соотечественники из профсоюзной делегации. Проведав, что в это время мы тоже были в городе, они разыскали нас, и мы провели с ними немало времени.

Самыми рационально мыслящими из всех были анархисты — Пестанья из Испании и Августин Зуки из Германии, представлявшие анархо-синдикалистские объединения этих стран. Оба они были полностью на стороне революции и симпатизировали большевикам, однако при этом не принадлежали к тем, кого можно было убедить смотреть на всё через розовые очки — они приехали оценить обстановку, получить свидетельства из первых рук и

увидеть революцию в действии.

Как бы между прочим они спросили, как в коммунистическом государстве чувствуют себя наши товарищи: в Европе уже проникали слухи о преследовании анархистов и других революционеров. За рубежом, сказали они нам, отказываются верить этим сообщениям, поскольку ничего не слышали об этом от нас, и потому просят уведомить их о нынешнем положении дел через Зухи и Пестанью. Саша ответил, что слухи, к сожалению, небезосновательны: анархистов, левых эсеров и даже обычных рабочих и крестьян держат в тюрьмах и концентрационных лагерях, объявляя бандитами и контрреволюционерами. Они, конечно же, таковыми не являются — всё это наши соратники, честные и искренние, которые деятельно участвовали в октябрьских событиях, но помочь им мы можем далеко не всегда. Возможно, делегаты-анархо-синдикалисты, как зарубежные представители крупных левых рабочих организаций, добьются от советских властей большего: им необходимо настоять на посещении тюрем и беседах с заключенными, и потребовать восстановления наших людей в правах. Но говорить с товарищами о ситуации в целом мой друг не захотел — ему еще не всё стало ясно, сказал он, а поскольку окончательного мнения у него еще нет, он бы не хотел быть предвзятым: делегаты должны узнать всё сами.

Я же думала по-другому. Наши иностранные товарищи были уполномоченными представителями боевых рабочих организаций и — в отличие от репортёров — вряд ли стали бы использовать сказанное мной в ущерб революции. Я тоже не хотела быть пристрастной, но и факты замалчивать не собиралась, желая, чтобы наши европейские и американские соратники всё же увидели обратную сторону блестящей советской медали.

Зухи, Пестанья и парень из британского отделения ИРМ внимательно выслушали меня, но по их лицам было видно: они восприняли сказанное мной с тем же недоверием, что и я когда-то выказывала Брешко-Брешковской, Бобу Майнору и всем, кто рассказывал о действительном положении дел в России. Но я не пеняла им: для угнетенных народов всего мира большевики стали синонимом революции, и тем, кто живёт за пределами России, было не так легко понять, насколько на самом деле это далеко от истины. Человек редко учится на чужих ошибках, но я не жалела о своей откровенности: каковы бы ни были собственные впечатления делегатов, они будут знать, что я доверилась им.

Чувствуя себя оторванной от Европы и Америки на целые десятилетия, я обрадовалась тому, что благодаря нашим гостям Старый и Новый Светы снова стали ближе ко мне, и я узнаю, что делают и думают анархисты за пределами России. На предложение делегатов передать зарубежным рабочим какое-нибудь послание, я ответила: «Пусть они вдохновляются примером их российских братьев-трудящихся, но только не их наивной верой в политических вождей, как бы яростно те ни протестовали и какими бы красными ни были их лозунги! Только это станет надежным средством для того, чтобы уберечь будущие революции от государства, которое захочет их снова усмирить и поработить с помощью кнута бюрократии!»

Чрезвычайно приятной неожиданностью стала для меня встреча со знаменитой Марией Спиридоновой 25 и ее товарищем Камковым, лидеров левых эсеров. Мария под видом крестьянки жила на нелегальном положении, и для того, чтобы уберечься от ЧК, ей нужно

было быть невероятно осторожной, поэтому она послала надежного товарища, который и провел нас с Сашей к ней.

Спиридонова была одним из самых ярких светил в созвездии героических женщин России. Покушение на Луженовского, советника тамбовского губернатора 26, стало настоящим подвигом восемнадцатилетней девушки: Мария выслеживала этого печальной памяти усмирителя и гонителя крестьянства несколько недель, терпеливо выжидая, чтобы поразить его наверняка. Когда поезд, в котором ехал Луженовский, подходил к станции, Мария вскочила на подножку вагона и застрелила чиновника еще до того, как охранники поняли, что она собирается сделать.

Не менее впечатляло ее поведение во время пыток, которым она подверглась после ареста. Ее таскали за волосы, ей разорвали одежду и тушили о тело папиросы, ее лицо превратилось в кровавое месиво, но Мария Спиридонова по-прежнему молчала, с презрением глядя на своих мучителей, и ничто не могло вырвать из нее имена сообщников. Тогда, чтобы сломить дух Спиридоновой, на закрытом судебном процессе ее приговорили к смертной казни, и лишь благодаря прокатившейся по Европе и Америке волне протестов жестокий приговор заменили пожизненной ссылкой в Сибирь.

Двенадцать лет спустя в храм ворвался новый мессия, опрокинувший столы нечестья 27. Царь отрекся от престола, и из темниц и ссылок с триумфом выходили исчислявшиеся тысячами жертвы монархии, в числе которых была и Мария Спиридонова, чей путь на Голгофу был хорошо известен радикалам всего мира. Эта яркая личность вдохновляла меня и придавала мне сил в работе, которую я вела в Соединенных Штатах, и именно ее я мечтала увидеть одной из первых по прибытии в Россию. Однако никто почему-то не говорил, где она: коммунисты, в том числе и Джон Рид, на мои расспросы отвечали, что у нее случился нервный срыв, и сейчас она где-то в санатории.

Лишь впервые оказавшись в Москве, я узнала от друзей Марии о том, как она жила и боролась после освобождения из Сибири. Пережитые мучения подорвали ее здоровье, но, даже сломленная полученным в тюрьме туберкулезом, она не щадила себя: ведь она была символом России. Крестьяне, ради которых она пожертвовала молодостью и свободой, сейчас нуждались в ней более, чем когда-либо: их уже предали Керенский и его партия, к которой принадлежала и Спиридонова (и по указанию которой она убила в свое время Луженовского). Однако Временное правительство эсеров вновь и вновь толкало людей на мировую бойню, а Мария не хотела иметь с этим ничего общего.

Вместе с радикальным крылом своей партии, куда входили Камков, доктор Штейнберг, Трутовский, Измайлович, Каховская и другие, Мария организовала Партию левых эсеров, которая затем бок о бок с Лениным и его соратниками готовила октябрьский переворот, невольно содействуя большевикам в захвате власти. Ильич, надо отдать ему должное, не забыл о том, что сделала Спиридонова сотоварищи, и потому одобрил ее избрание председателем Всероссийского крестьянского союза, а также назначение доктора Штейнберга народным комиссаром юстиции и Трутовского — наркомом местного самоуправления 28.

Однако после Брест-Литовского мира левые эсеры разошлись с большевиками, посчитав соглашение с кайзером смертельным ударом по революции. Мария одной из первых решительно отвернулась от коммунистического режима подобно тому, как в своё время порвала с Керенским и его кликой, а за ней последовали и ее товарищи. Это повлекло за собой новые лишения: арест, заключение в кремлёвской тюрьме, побег, еще один арест и опять тюрьма, однако ее влияние среди крестьян не только не уменьшилось, но с началом преследований даже возросло, и тогда большевики прибегли к привычному и удобному объяснению: Спиридонова сошла с ума, за ней нужен присмотр.

И вот я в комнатухе на шестом этаже большого доходного дома в Москве, ненамного большей, чем камера в тюрьме штата Миссури, и меня обнимает невысокая женщина — Мария Спиридонова. Ей всего тридцать пять, но она кажется мне глубокой старухой — исхудавшей, с измождённым лицом, отмеченным роковой печатью чахоточного румянца; однако глаза по-прежнему горят, а питаемый несокрушимой верой дух не ведает преград. В такой миг любые слова звучали бы банально, да я и не хочу ничего говорить: меня успокаивает прикосновение ее сухих рук, и тишина довершает это умиротворение.

Я слушала ее и не могла наслушаться, а Мария всё говорили и говорила — три дня подряд, прерываясь лишь на скудные перекусы и недолгий сон, за всё это время ни разу не повысив голос, и плавность ее речи свидетельствовала о ясности ума. Факты, которые она излагала, были столь же ужасны, сколь и неопровержимы, и подтверждались письмами крестьян со всех концов России, молившими, чтобы Мария просветила их, бедолаг, что же за напасть приключилась с Россией-матушкой. Они уповали на Октябрь, как на второе пришествие Христа, и с нетерпением ждали обещанных им земли и мира, упорно трудясь во имя этого и трепетно веруя в святую мощь революции — Мария знает это, как никто другой, писали они.

Увы, все их надежды рассыпались, всё пошло прахом. Да, они отобрали землю у помещиков, но новые господа начальники отбирали у них весь урожай — до последнего зернышка, отложенного на сев. Не поменялось ничего, разве что способы грабежа: вместо казака с нагайкой явился чекист с маузером; а так повсюду те же запугивания и аресты, та же бессердечная жестокость и угнетение — всё, всё то же самое. Они не могли понять, что творится, а объяснить было некому: они никому не верили, разве что своему ангелу Марусе. Вот пусть она-то, никогда их не обманывавшая, и скажет теперь: распят ли уже новый Христос, и воскреснет ли он снова, чтобы избавить их от страданий?

У Марии скопилось невероятное множество таких криков души, зачастую нацарапанных на каких-то диких клочках или грязных тряпицах, тайком и с огромными трудностями доставленных ей. «Большевики утверждают, что к насильственной конфискации продовольствия 29 их принудил отказ деревни кормить город», — заметила я. Мария ответила, что в этом нет ни грана правды: крестьяне отказывались иметь дело с «центром» посредством его комиссаров — у них были собственные советы, смысл и задачи которых они понимали буквально, как это свойственно простым людям. Советы были для них способом связи с городскими трудящимися и обмена продуктов на товары, и когда им отказали в этом, а вдобавок распустили Всероссийский крестьянский союз и принялись арестовывать его членов, крестьяне возмутились и восстали против диктатуры.

Озлобила сельское население и пресловутая продразверстка вкупе с последовавшими за ней карательными экспедициями. Такими методами перетянуть деревню на свою сторону было невозможно; многие говорили, что Ленин может уничтожить крестьян, но не одержать верх над крестьянством. «И они правы, — сказала Мария, — Россия на четыре пятых аграрная страна, и крестьяне — ее станова жила, так что скоро Ленин поймёт: скорее они выкрутят ему руки, чем он им».

За всё время Спиридонова ни словом не обмолвилась о себе — ни о том, каким гонениям она подвергается, ни о своих болезнях или нужде. Я чувствовала, что она черпает силы в безбрежном людском море, малейшая волна которого отзывается болью в ее большом сердце, но за все эти три дня не увидела в ее речах и поступках ни единого намека на собственную выгоду.

На наших встречах неизменно присутствовали Саша и Борис Камков. Последний, как и его подруга, был весьма хладнокровен и резок в обличении зол, которые принесли крестьянству три года диктатуры, но и только; Мария же ни словом, ни взглядом не давала понять, что этот человек вызывает в ней какие-либо чувства, кроме желания совместного служения общему идеалу. Камкову предстояло отправляться во внутренние губернии, и он настаивал, что для поездки ему не нужно ничего, кроме хлеба, так что из припасов Марии он не возьмет ничего. До этого кто-то принес ей яиц и вишен, и пока Камков беседовал с Сашей, она незаметно сунула обёрнутый в носовой платок свёрток с провизией в мешок с литературой, которую ее друг брал с собой. Она стояла рядом с ним, совсем крошечная по сравнению с этим богатырём, и молча глядя на него снизу вверх, прямо ему в глаза, лёгкими, еле ощутимыми движениями гладила своими тонкими нервными пальцами его ручищу — Борису предстояло трудное путешествие, и Мария понимала, что он может не вернуться. Этот искренний в своей бесхитростности жест был так прекрасен, так трогателен, что ни один поэт не смог бы написать о любви красноречивее, чем само за себя говорило, кричало и пело их светлое чувство, представшее нам во всём великолепии.

Наш ярко-красный пульман на запасном пути московского вокзала регулярно подвергался набегам многочисленных посетителей, среди которых однажды оказались и Генри Дж. Алсберг с приехавшим в Россию Альбертом Бони. Оба дико завидовали невероятному везению, позволившему нам стать участниками этой замечательной экспедиции — они очень хотели ехать с нами. Из них двоих и Саше, и мне гораздо больше импонировал Алсберг, и мы пообещали ему, что договоримся с коллегами, чтобы он присоединился к нам, если у него будут все необходимые документы.

В день нашего отъезда он пришел с мандатами от Зиновьева, Наркоминдела и ЧК. В последней требовали еще одну разрешительную подпись, теперь уже из МЧК, однако секретарь Карахана заявил, что этот автограф не нужен, и можно спокойно ехать и без него. Алсберг сомневался, но мы уговорили его испытать судьбу: американский паспорт, а также то, что он представлял два поддерживавших Советскую Россию издания, в любом случае избавило бы его от серьёзных неприятностей. У нашего секретаря возражений по поводу седьмого члена экспедиции не возникло, а в Сашином купе имелось лишнее спальное место, так что всё уладилось как нельзя лучше.

Последняя из подстерегавших нас в Москве неожиданностей случилась всего за час до отъезда: к вагону подбежал запыхавшийся человек, явно искавший нас. «Э.Г., ты что, не узнаешь меня? — воскликнул он. — Я же Краснощёков 30, который Тобинсон! Тот самый, из Чикаго! Неужели ты позабыла того, кто председательствовал на митинге Рабочего университета — вашего с Сашей коллегу из Города ветров?» Да, это был он, но, подобно Троцкому, сильно изменившийся: теперь он казался выше и шире, его осанка была прямой и гордой, однако на лице не было того сурового и надменного выражения, которым запомнился мне Наркомвоенмор.

Тобинсон-Краснощёков рассказал, что теперь возглавляет Дальневосточную республику, а в Москву приехал по вызову партийного руководства. Он в городе уже неделю, и очень хотел увидеться, но до сих пор не мог нас найти. У него масса вопросов, которые необходимо обсудить, и он настаивает на том, чтобы мы задержались еще на несколько дней. Тем более, нашу встречу нужно хорошенько отметить: он трясся через всю Сибирь, но зато в личном вагоне с изрядным запасом провизии и личным поваром, так что готов закатить нам настоящий пир. Но, хоть Краснощёков остался тем же открытым и щедрым парнем, каким мы знали его в Штатах, менять планы мы не могли, и на свидание с ним оставались считанные часы.

Саша был еще в городе — заканчивал последние приготовления к отъезду, но скоро должен был вернуться; пока же Краснощёков пичкал меня рассказами о своих приключениях в России. Он стал главой ДВР, а вместе с ним работали Билл Шатов и другие американские анархисты, прельстившиеся свободой слова и печати, которая открывала широкие перспективы для пропаганды. Он настаивал на том, что мы с Сашей тоже должны приехать к нему: ему позарез нужна наша помощь, а мы, в свою очередь, можем во всём рассчитывать на него. Шатов, отлично справлявшийся с обязанностями комиссара путей сообщения ДВР, перед отъездом Краснощёкова горячо убеждал его не возвращаться без нас. «Свобода слова и печати? Это прекрасно, но как к этому относится Москва?» — спросила я. Ха! В том далеком краю всё по-другому, ответил Краснощёков; ему дана полная свобода — с ним работают и анархисты, и левые эсеры, и даже меньшевики, а это доказывает, что лучшие результаты достигаются совместными усилиями, основанными на свободомыслии. Это была прелестная картина, и мне, конечно же, захотелось увидеть всё это собственными глазами; возможно, по завершении экспедиции мы упросим музей отправить нас на Дальний Восток...

Вскоре явился Саша, и радости вновь не было конца, но, увы, нужно было отправляться. Краснощёков не хотел нас отпускать, и на прощанье мы клятвенно пообещали ему сообщить, когда будем готовы отправиться в его Республику, а уж он организует эту поездку как надо — у нас будет полная свобода передвижения и целый вагон материалов для музея.

Первой остановкой на нашем пути был запланирован Харьков, после Петрограда и Москвы показавшийся нам сытым и зажиточным. Невзирая на постоянные набегивающие всевозможных армий и частую смену власти с неизменными грабежами, здешние жители были веселы и беззаботны. Правда, одежды и обуви здесь явно недоставало: все, от мала до велика, ходили босиком, лишь некоторые щеголяли в невыразимых лаптях из лыка и соломы. Женщины носили яркие платья в народном стиле из льна или батиста, отделанные

кружевами ручной работы и обрамлённые цветастыми платками, что после унылой серости московских улиц производило приятное впечатление.

А еще я никогда прежде не видела в одном месте столько по-настоящему красивых людей. Мужчины были все, как на подбор: темноволосые, бородатые, загорелые, с задумчивым взглядом и белоснежными зубами; прелестные же женские головки украшали короны из заплетенных кос, из-под которых блестели карие с поволокой глаза, а фигурам впору было украшать полотна Рубенса. В общем, рядом со своими северными соотечественниками харьковчане казались совершенно другой расой.

Народ по большей части собирался на местных рынках, бывших здешними центрами притяжения. В торговых рядах, порой тянувшихся на целые улицы, вольготно разлеглись горы фруктов, овощей, масла и других продуктов — даже не верилось, что в России бывает такое изобилие. Некоторые прилавки были уставлены бастионами искусно вырезанных и раскрашенных деревянных игрушек причудливой формы и устройства. Сердце мое заняло от тоски при мысли о маленьких москвичах и питерцах, их сломанных, бесформенных куклах и вырубленных из дерева чудовищах, которые назывались лошадками. Всего за два доллара в пересчёте на керенки я накупила целую охапку чудесных игрушек, потому что была уверена: радость, которую они доставят моим юным друзьям, намного превзойдёт уплаченную за них цену.

Однако провоз чего-либо из одного города в другой без специального разрешения считался спекуляцией, то есть контрреволюционным преступлением, а потому сурово карался — зачастую даже «высшей мерой социальной защиты», как именовалась тогда смертная казнь. Мы с Сашей были уверены, что подобные запреты не только неразумны и несправедливы, но даже не являются революционно целесообразными. Не оспаривая того, что спекуляция продовольствием была действительно уголовным преступлением, мы полагали глупостью объявлять спекулянтom всякого, кто пытался добыть полмешка картошки или фунт сала для своей семьи, считая, что это не заслуживает наказания. Напротив, было отрадно видеть в российском народе такую неукротимую жажду к жизни — в ней, а вовсе не в бессловесном, покорном ожидании мучительной голодной смерти, виделась нам главная надежда России.

Задолго до начала экспедиции мы сошлись на том, что будет вполне разумным вместе с архивами для будущих историков привезти и немного провизии, дабы облегчить положение больных и нуждающихся товарищей. Изобилие на харьковских рынках уверило нас в собственной правоте и позволило обеспечить себя припасами на обратную дорогу, и жалели мы только об одном — о том, что не могли взять с собой столько, чтобы накормить всех страждущих в истерзанной голодом стране.

В Москве стояла жара, но Харьков был просто раскалён; вокзал же находился в нескольких верстах от центра, и собирать целыми днями документы, возвращаясь в свой вагон лишь к ужину, стало попросту невозможно. Товарищи в городе помогли найти комнату, в которой я могла бы готовить для нашего секретаря Александры Шаколь, Генри Алсберга и нас с Сашей. Генри, как просоветски настроенный американский корреспондент, без труда нашел комнату, которую гостеприимно разделил с Сашей, Шаколь предпочитала спать в вагоне,

русская пара, у которой в городе были друзья, тоже как-то устроилась, ну, а о нашем коллеге-коммунисте позаботились однопартийцы. Закрыв бытовые вопросы, мы приступили к работе, распределившись по учреждениям: Саша должен был посещать профсоюзы, ревкомы и кооперативы, я же занялась отделами образования и социального обеспечения.

Повсюду нас принимали прохладно — не то чтобы тамошние бюрократы были откровенно враждебны, но в их обхождении не чувствовалось ни сердечности, ни искреннего желания помочь. Я не могла понять, почему все так настроены, пока Саша не напомнил мне о недовольстве украинских коммунистов действиями Москвы, лишившей их самостоятельности в решении даже местных вопросов. В наших посещениях они видели очередную попытку центра навязать им новую глупость, но, не имея смелости игнорировать распоряжение из самой Москвы, саботировали, как могли. Поэтому мы пошли проторенным путём, став «товарищами из Америки, приехавшими для изучения революционных успехов Украины и написания книги о них».

Отношение к нам мгновенно переменилось: все дела немедленно откладывались в сторону, на лицах расцветали улыбки, а все необходимые сведения предоставлялись нам целыми кипами. С помощью этой невинной хитрости мы увидели и узнали о методах диктатуры пролетариата на Украине и ее последствиях намного больше, чем если бы действовали как-нибудь иначе, а материала нам удалось собрать столько, сколько и не снилось нашим российским коллегам, включая даже коммуниста.

К нему, бедняге, здесь вообще отнеслись отвратительно, отказываясь предоставлять ему что-либо: все полагали, что Москва и без того слишком довлеет над ними, не позволяя и шагу без неё ступить, а потому отдавать в качестве трофея ее гонцам еще и богатейший исторический материал нельзя.

Комичность этой, с позволения сказать, семейной ссоры заключалась в том, что всякий раз, когда мы сталкивались с хаосом в каком-либо учреждении или безобразным состоянием дел, украинцы объясняли это вмешательством Москвы. Напротив, каждый присланный центром руководитель-коммунист утверждал, что украинцы саботируют, потому что все они сплошь антисемиты, убеждённые в том, что на севере почти все коммунисты — евреи. Лавируя между всеми, мы легко дознались об истинном положении дел в Харькове и причинах его неприкрытого антагонизма по отношению к Москве.

Свет на происходящее пролил недавно вернувшийся из Донбасса инженер-русак, с которым мы познакомились. Он утверждал, что вину за создавшееся положение дел валить на столицу просто глупо: коммунисты в южных губерниях своими диктаторскими замашками никоим образом не отличаются от большевиков с севера, а если уж на то пошло, то их деспотизм еще более безответствен, чем где-либо в России. Поработав на шахтах, он убедился в том, что с интеллигенцией, не желающей с ними сотрудничать, здесь обходятся еще безжалостнее; что же касается отсутствия успехов и отношения к людям, то нам достаточно побывать в одной из тюрем или концентрационных лагерей, и всё сразу станет на свои места. И вообще, от соратников с севера здешние власти отличаются только одним: они не верят в победу мировой революции — их не интересуют ни она, ни международный пролетариат; всё, чего им хочется, это иметь свое коммунистическое государство и

отдавать в нём приказы по-украински, а не по-русски. Он считал, что в этом и состоит главная причина их недовольства Москвой.

Я задала ему вопрос об украинском антисемитизме, и инженер признал, что подобное явление здесь отнюдь не редкость, хотя говорить о том, что все украинские коммунисты настроены против евреев, неверно: он знаком со многими большевиками, свободными от этого предрассудка. В любом случае, северные губернии не имеют морального права обвинять здешнюю партийную братию в нелюбви к евреям, поскольку у них и у самих рыльце в пушку. Хватает антисемитов и в Красной Армии, и даже в Москве, где пытаются сдерживать это позорное явление железной рукой, но справляются с ненавистью к евреям не всегда. Пока погромы на Украине были делом рук белых, но хотели ли бороться с этим злом красные, нам только предстояло понять.

Мы все-таки решили побывать в одной из местных тюрем, а заодно и в лагере, но этому неожиданно воспротивилась глава местного Рабкринна — Рабоче-крестьянской инспекции, недавно учрежденного органа, надзиравшего над всеми советскими инстанциями. Концлагеря и тюрьмы находились под ее началом, и мы предъявили ей свои мандаты, но в ответ она лишь нахмурилась: условия содержания в харьковских тюрьмах — это забота местных властей, и ничья более, безапелляционно заявила она.

Мы вышли от нее в расстроенных чувствах, но в коридоре нас неожиданно нагнал человек, представившийся товарищем Дыбенко, мужем Александры Коллонтай. По его словам, он слышал наш разговор, а поскольку благодаря супруге был со мной заочно знаком, решил помочь. Попросив обождать в коридоре, он вскоре вышел к нам вместе с той чиновницей, которая немедленно принялась рассыпаться в извинениях: она-де не знала, что мы такие известные американские товарищи; конечно же, мы можем посетить и тюрьму, и лагерь, и она немедленно отвезет нас туда на своём автомобиле.

Оба исправительных учреждения всем своим видом подтверждали справедливость слов нашего знакомого относительно как деспотизма украинских коммунистов, так и их способности руководить. Концлагерь находился в старом здании без каких-либо удобств, рассчитанном в лучшем случае на половину из содержащейся там тысячи человек. Зловонные камеры были переполнены, из всей мебели в них были лишь дощатые нары, да и то на двоих или даже на троих. Узникам полагалась всего одна часовая прогулка в день, всё остальное время они были вынуждены бездельничать целыми днями, причём сидя на корточках или прямо на полу из-за ужасной скученности.

Преступления, в которых их обвиняли, варьировались от саботажа до спекуляции, но контрреволюционерами здесь были все без исключения — во всяком случае, так заявила наша суровая провожатая. «А разве нельзя занять этих людей каким-нибудь полезным делом?» — поинтересовалась я. «Мы не можем позволить себе буржуазное сюсюканье с врагами революции, — отвечала она. — А после победы мы вообще загоним их, куда Макар телят не гонял!»

Тюрьма, в которой при царском режиме отбывали свои сроки политзаключенные, вновь заработала в полную силу 31, сохранив не только прежние порядки, но и обеспечив работой

большинство бывших надзирателей. Знакомясь с этим «милым» учреждением, мы неожиданно остановились перед двумя запертыми камерами — остальные были открыты, — и не преминули спросить, почему для сих врат сделано исключение. Ответ Вергилия в женском облике был невразумительным, и нам пришлось надавить: дескать, это в американских тюрьмах проверяющим по-быстрому показывают парадный фасад, а потом те дают в прессу победоносные репортажи; мы же находимся в Советской России, и нас беглый осмотр не устраивает.

Помявшись, начальница все-таки решилась сделать для нас исключение, оговорившись, что надеется на нашу деликатность и понимание того, что за всеми применяемыми в Советской России мерами стоит революционная целесообразность. Такое предисловие объяснилось чрезвычайной опасностью находившихся в запертых камерах преступников: женщина воевала в армии Махно, а ее сосед обвинялся в контрреволюционном заговоре, так что оба заслуживали самого сурового обращения и высшей меры наказания. Но даже их камеры, хоть и всего на несколько часов в день, но открывались — чтобы заключённые могли побеседовать с товарищами по несчастью, правда, в присутствии надзирателей.

Когда лязгнул замок, и дверь камеры, в которой сидела махновка, оказавшаяся пожилой селянкой, распахнулась, та, словно заяц, забилась в угол камеры и несколько мгновений сидела неподвижно, лишь глупо моргая, а затем внезапно бросилась ко мне с пронзительным воплем: «Барыня, выпусти, Христа ради, я ничего не знаю, ничегошеньки!» Я, как могла, стала успокаивать ее, надеясь, что она расскажет о своём деле — возможно, я смогла ей бы помочь; но она явно была не в себе: жалобно подвывая, она непрерывно твердила, что ничего не знает о Махно. Выйдя в коридор, я сказала сопровождающей, что считать обезумевшую старуху опасной для революции просто глупо: от содержания в одиночной камере и в страхе перед казнью она повредила разумом, и если и дальше держать ее там, она окончательно сойдет с ума. Ответом мне была гневная филиппика, напомнившая мне прежние питерские разочарования: это, мол, чистейшей воды буржуазная сентиментальность, мы живем в революционное время, со всех сторон нас окружают враги и далее в том же духе.

В соседней камере на маленьком табурете, низко склонив голову, сидел мужчина, который вздрогнул от неожиданности, когда мы с Сашей вошли в его узилище. Всего на миг в его глазах блеснул страх затравленного зверя, но затем он немедленно взял себя в руки: мышцы напряглись, а взгляд, полный ненависти, обвёл нежданных посетителей и остановился на нашей провожатой. Царившую в камере тишину нарушили всего два слова, которые он не сказал, а скорее выдохнул: «Сволочи! Убийцы!» Я оцепенела, придя в ужас от мысли, что он принял нас за чекистов, но нашла в себе силы подойти к нему, дабы объяснить, кто мы такие и зачем пожаловали. Однако он повернулся спиной, и его поза была столь неприступной, что я не решилась приблизиться и с тяжелым сердцем вышла в коридор вслед за своими спутниками.

За всё это время Саша не произнёс ни слова, но я чувствовала, что увиденное впечатлило его не меньше моего. С бесстрастным видом он направился вглубь коридоров в поисках некоего юного анархиста, который, как нам по секрету сказали, тоже сидел здесь. Я же осталась выслушивать упреки от нашей провожатой — пусть уже выговорится, зато моему

другу мешать не будет, тем более, что мысли мои по-прежнему занимали те двое несчастных, в чьи камеры мы заходили. Меня особенно поразил мужчина, точнее, его достоинство и независимость: я тщетно пыталась обнаружить подобные добродетели в себе, и мне казалось, что я изучаю скорлупу изъеденного червями ореха...

Вернулся Саша, который все-таки разыскал того парня. Тот сообщил ему, что наша провожатая из РКИ еще совсем недавно была чекисткой, и потому пытается управляться с тюрьмой в свойственной ее коллегам манере, раз за разом закручивая гайки — вплоть до введения одиночных камер для политзаключённых. Узники пробовали добиться смягчения условий, не впадая в крайности, но когда в карцер бросили полубезумную женщину и приговоренного к смерти мужчину, взбунтовалась вся тюрьма. Заключённые объявили голодовку, и, хоть она и не принесла желаемых результатов, камеры, где сидели двое этих несчастных, пусть ненадолго, но все-таки стали открывать; поэтому для закрепления успеха в ближайшее время планировалась еще одна голодовка.

Мне неожиданно стало ясно, почему мужчина в камере был так напуган, и почему он с такой ненавистью кричал насчёт сволочей и убийц: он сидел в одиночке в ожидании казни, и каждый миг мог стать для него последним. Может ли хоть какая-нибудь, пусть даже и революционная, целесообразность объяснить столь утонченную жестокость? Попади я в Россию во время переворота, непременно бы отыскала бы или ответ на свой вопрос, или пулю в затылок; сейчас же я чувствовала себя опутанной какими-то призрачными тенетами, день ото дня затягивавшимися всё сильнее.

Менее всего мои мучения были понятны харьковским соратникам, в особенности тем, с кем мы были знакомы еще по Америке — Иосифу и Лии Гутман, Арону и Фане Барон, Флешину и другим товарищам, причём Флешин, работавший с нами в редакции «Матушки-Земли», знал меня лучше прочих. Местные же анархисты, возглавляемые поистине легендарной Ольгой Таратутой, честно служили революции: сражались на фронтах, терпели гонения — как со стороны белых, так и от большевиков, но ничто не могло охладить их пыл и убить в них веру в наши идеалы. Эти славные ребята, настоящие рыцари без страха и упрёка, были, мягко говоря, удивлены моей нерешительностью: неужели я, неизменно уверенная в себе, всегда непоколебимая в убеждениях, в России потеряла свою хватку? Чего же тогда ждать от Саши? Почему он, человек трезвомыслящий и собаку съевший в революции, не примкнет к ним — вместо того, чтобы рыться в каких-то пыльных, никому не нужных бумагах?

Они пеняли нам на то, что мы воодушевили их своим приездом, уверив в том, что на советской земле мы продолжим работу, которую так энергично вели в Соединенных Штатах. Конечно же, они знали, что мы будем верить большевикам ровно до тех пор, пока сами не убедимся в их измене собственным лозунгам; именно поэтому «Набат», их организация, делегировала к нам Иосифа и Арона. Рискуя жизнью, они сумели добраться до Петрограда и откровенно рассказать нам о том, как большевики выхолащивают революцию; неужели этого недостаточно, чтобы убедить нас? А гонения на анархистов? А вероломство и двурушничество с Махно? Разве всё это не доказывает, что диктатура предала сам дух революции?

Да, действительно, мы уже увидели и услышали вполне достаточно для того, чтобы составить себе мнение о коммунистическом государстве. Да, Арон Барон и Иосиф и вправду навещали нас в Петрограде, соблюдая при этом строжайшую конспирацию (большевики объявили их обоих вне закона), и две недели пытались убедить нас в том, что коммунисты предали революцию, приводя массу доводов в подтверждение этого тезиса. Но те, кто знал нас, не должен был надеяться на то, что мы немедленно разуверимся в Ленине, Троцком и их соратниках лишь потому, что их политика в отношении Махно и других наших единомышленников оказалась ошибочной. Харьковские товарищи были готовы допустить, что слишком нетерпеливы в ожиданиях; но теперь-то, горячились они, спустя восемь месяцев, проведенных в Советской России, имея все возможности своими глазами увидеть, что и как, — почему мы сомневаемся теперь?

Движение нуждалось в нас, и работы всем было — поле непаханое: мы легко могли бы реорганизовать анархистов Украины в мощную федерацию и переманить под свои знамёна рабочих и крестьян. С последним было бы проще всего — благодаря Нестору Махно, знавшему сельское население и пользовавшемуся его доверием. Он неоднократно обращался к анархистам всей страны с призывом развернуть на юге грандиозную пропагандистскую машину, для которой были широчайшие возможности, и готов был предоставить всё, начиная с денег и заканчивая бумагой, убеждали нас товарищи, умоляя не тянуть с решением.

Если я буду работать в России, объясняла я им, поддержка Махно не будет ничем отличаться от ленинского предложения о помощи по линии Третьего Интернационала. Я не отрицаю заслуг Нестора перед революцией, говорила я, равно как и того, что его повстанческая армия была действительно народной, однако не считаю, что анархисты обязаны чего-то добиваться на военном поприще, или, чего доброго, пропаганда должна зависеть от военных и политических ресурсов. Впрочем, это уже не важно; я не смогу к ним присоединиться, и вовсе не потому, что как-то по-особенному отношусь к большевикам: признавая свою ошибку и не считая более Ленина и его партию подлинными поборниками революции, я всё же не выступлю против них, пока Россия со всех сторон окружена врагами. Да, их личина меня уже не обманывает, но истинная подоплёка не в этом — всё дело в самой революции, которая оказалась совсем не тем, что я под ней понимала и когда-то пропагандировала. Корабль моей веры потерпел крушение, меня выбросило за борт, и теперь остаётся либо тонуть, либо барахтаться; и всё, что я могу сделать, — это держаться на поверхности и ждать, когда меня вынесет на сушу.

Флешин и Марк Мрачный, наиболее трезвомыслящие из харьковских анархистов, поняли, что меня гложет, и поддержали с позиции того, что заплутавший не может быть поводырем, но остальные набатовцы были разочарованы и недовольны, отказываясь видеть в представшем им бледном призраке ту Эмму Гольдман, которую знали в Америке. Они принялись терроризировать Сашу: зная, что он предан революции, чего бы та от него ни потребовала, и что в конспирации он понимает намного лучше моего, он, по их мнению, должен был понимать преимущества работы с Махно и немедленно принять его предложение. В желании добиться Сашиного согласия особенно неистовствовали Иосиф и Лия, милейшие прежде люди; им вторила Фаня Барон, только что вернувшаяся от Махно и привезшая приглашение посетить его армию. Поедем ли мы? Нас проведут туда безопасным

путем. «Ты поедешь?» — спросил меня Саша. Если он на этом настаивает, то поеду, отвечала я: ни при каких обстоятельствах я брошу его в опасности; но только вот что будет с экспедицией? Ведь мы дали слово пробыть в ней до конца, он сам успел взвалить на себя кучу обязанностей, а теперь мы должны от всего отказаться? Об этом в своём стремлении повидать Махно и его повстанцев Саша не подумал, и потому расстроился; но затем, собравшись с духом, он заявил, что обещание есть обещание, и мы должны остаться, а с крестьянским вождём увидимся как-нибудь в другой раз.

Неожиданно нам пришлось покинуть гостеприимный Харьков: Шаколь, секретарь нашей экспедиции, случайно узнала, что по решению исполкома партии собранный материал могут задержать и не выпустить с Украины. Намёк был более чем прозрачен, и в ту же ночь, вытребовав, чтобы наш вагон прицепили к полтавскому эшелону, мы покинули город.

Привыкшие к быстроте передвижений американцы вроде нас с Сашей нашли бы в скорости, с которой полз наш состав, немало поводов для шуток; но для невероятных размеров человеческой массы, столько дней, а иногда и недель пытавшейся попасть на любой поезд, даже такая черепашья скорость была настоящим счастьем. Люди, ехавшие с нами, представляли собой жалкое зрелище: одетые в тряпье, нагруженные тюками, измотанные, кричащие, ругающиеся, падающие друг на друга, пытаясь в этой сумасшедшей кутерьме хоть за что-нибудь уцепиться; их отталкивали, били прикладами, но они упорно поднимались, пытаясь ухватиться за поручни вагона или вскочить на подножку. Это был настоящий ад, еще не описанный мастерским пером нового русского Данте.

В нашем вагоне ехало всего восемь человек — семеро нас да проводник, а многоголосый людской хор без умолку молил впустить их на площадку, на крышу или даже на сцепку. Увы, нам оставалось лишь мечтать о тишине и покое — помочь им мы ничем не могли: помимо опасности заразиться тифом (многих из них чуть ли не заживо пожирала вши), нас останавливала ценность собранных нами материалов. Повсеместное российское воровство уже давно вошло в поговорку, а в смутные послеоктябрьские времена мастерство грабителей дошло чуть ли не до совершенства; было очевидно, что нам не под силу уберечь коллекцию от расхищения, и потому мы просто не можем взять к себе ни одного из этих несчастных.

Однако здесь мнения разделились: когда я предложила все-таки взять на площадку вагона хотя бы нескольких женщин и детей, евреи поддержали меня, а неевреи высказались против. Русские муж и жена вообще с самого начала показали себя малоприятными людьми: создавалось впечатление, что делом всей своей жизни они избрали именно раздражение окружающих. Шаколь же была типично славянской натурой, то яростно сочувствовавшей соплеменникам, то, подобно какой-нибудь дворянке, цедившей слова сквозь зубы. Она терпеть не могла грязных людей, тем паче рядом с собой, утверждая, что смертельно боится тифа и вообще всего такого, и не желает заразиться вновь. Бедное дитя, она совсем недавно выкарабкалась из лап смерти, и винить ее в чрезмерной чистоплотности я просто не могла; но людям нужно было ехать, и потому я настаивала на своём предложении, обещая каждое утро чистить и дезинфицировать площадки. Однако куда как убедительнее оказалась Сашина обходительность — мой друг в совершенстве владел искусством мягко, но уверенно вести людей в нужное ему место, заставляя их думать, будто они сами страстно

хотят туда попасть, — и, склонив Шаколь на свою сторону, мы все-таки отсталяли нашу точку зрения.

Всё в жизни относительно и стоит ровно столько, сколько мы готовы за это платить, поэтому площадки нашего вагона стали для тех немногих бедняг, которых мы взяли к себе, желаннее всех дворцов мира — теперь они были защищены от ветра, пара, копоти и опасности ночного падения с крыши, столь нередкого в пути. У нас же появилась возможность наблюдать за тем, насколько обесценилась человеческая жизнь: все были слишком заняты собой, чтобы думать об остальных. Едва протиснувшись сквозь цепь солдат и захватив для себя крошечный уголок поезда, люди перестали не только оглядываться, но и смотреть вперёд; им принадлежал лишь настоящий момент, за который они с жадностью и схватились, тут же забыв о слезах, ругательствах и криках и принявшись веселиться и петь. Что за народ! Как переменчиво его настроение!

В Полтаве наши выданные центром удостоверения произвели огромное впечатление. Секретарь местного ревкома, фактически здешний царёк, не только радушно принял нас, но и дал нам карт-бланш во всех советских учреждениях, поэтому экспедиции не составило труда собрать богатейший урожай. Среди добытых материалов было и множество контрреволюционных документов, оставленных после себя всякими бандами и армиями, без конца вторгавшимся в Полтаву, но неизменно изгонявшимися красными. То и дело в наш вагон с почётом вносились целые бастоны записей, декретов и манифестов, а также причудливых эмблем и диковинного оружия, обнаруженных Сашей и нашим секретарём.

А Генри Алсберг отправился беседовать с местными руководителями (а заодно и с теми, кто не состоял в компартии) и пригласил меня быть его переводчицей, на что я с радостью согласилась. Удивительно, но многочисленные захватчики почти не оставили в Полтаве следов своего пребывания — здания и парки по большей части остались нетронутыми, а величественные деревья презрительно взирали с высоты своего роста на тщедушных существ, именуемых людьми. Повсюду росли цветы, тут же созревали овощи, и всё это великолепие никто и не думал охранять — даже заборов здесь не было, и после ужасов, виденных нами по дороге из Харькова, гулять по тенистым аллеям, созерцая буйство природы, было поистине райским блаженством.

Советские учреждения не представляли для нас особого интереса: всеми ими руководили одинаково, в полном соответствии с указаниями из Москвы. Ничего не дали и беседы со здешними начальниками, зато мы совершенно неожиданно набрали на местных отверженных. Сначала мы познакомились с дочерью Владимира Короленко 32, последнего представителя старой школы русских писателей, и еще одной женщиной, возглавлявшей организацию «Спасём детей» (Save the Children), которая была создана еще в 1914 году 33, но существовала до сих пор — вопреки всему, в том числе и интервенции. Они пригласили нас к себе и познакомили с остальными.

Несмотря на различия во взглядах, все эти люди принадлежали к старой радикальной интеллигенции и посвятили себя российскому народу, его просвещению и помощи ему. Они честно признались, что не могли смириться с диктатурой, но и не выступали против нее, во всяком случае, на людях; более того, они сотрудничали с большевиками, работая в местном

отделе собеса. Однако их то и дело преследовали как саботажников, а общество «Спасём детей» вообще занесли в список контрреволюционных организаций, и теперь с благословения местных властей регулярно подвергают нападкам, несмотря на мандат продолжать работу, подписанный самим Луначарским.

Генри заметил: уж в чём-чём, но в отсутствии заботы о детях большевиков обвинить нельзя — они смогли сделать гораздо больше, чем делалось в любой другой стране. Зачем же нужны частные благотворительные организации? Наши хозяйки грустно улыбнулись. У них совершенно нет оснований оспаривать искренность большевиков в отношении детей — да, они сделали для юного поколения очень многое и, вне всяких сомнений, сделают еще больше. Правда, это относится лишь к определенным, привилегированным категориям детей; но вот число беспризорных растёт, причём с пугающей скоростью, а такие страшные явления, как проституция, венерические заболевания и преступность наблюдаются уже среди самых юных. О чём можно говорить, если встречается беременность в десяти- и даже восьмилетнем возрасте? Те из коммунистов, кто понимает размах этого бедствия, чувствует, что победить его одними лишь декретами и ЧК невозможно — к этому нужно подходить с другой стороны, используя иные средства. Поэтому они всячески приветствуют помощь общества «Спасём детей»: Луначарский, к примеру, чрезвычайно щедро помогает этой организации. Беда только в том, что местным властям плевать на Луначарского и его просвещенные взгляды — в каждом беспартийном интеллигенте они видят исключительно предателя, не суть важно, действующего ли, скрытого, и относятся к ним соответственно.

Великая сила духа, исходящая, как правило, от многих ненавидимых и преследуемых правящим режимом, чувствовалась и в госпоже Короленко сотоварищи. Они ничего не просили для себя, но умоляли меня ходатайствовать перед Луначарским относительно детей, заботы о которых приняли на себя. На прощанье нам вручили целую кучу поделок из бумаги, тряпья, соломы и даже старых башмаков — поистине уникальную коллекцию причудливых существ, сделанных руками маленьких воспитанников их общества. Изначально это предназначалось нам «для детей Америки», но я убедила хозяек, что этих забавных зверушек и кукол с гораздо большей радостью примут истосковавшиеся по игрушкам дети Петрограда. В общем, наша встреча прошла замечательно, и омрачило ее лишь одно: Владимир Короленко на то время еще не оправился после тяжелой болезни, и к нему никого не пускали; однако его дочь пообещала поговорить с отцом и пригласила нас зайти завтра.

Вечером того же дня я зашла к госпоже Х., председателнице Политического Красного Креста 34, ранее оказывавшего помощь жертвам царского режима, — меня чрезвычайно занимало, чем этой организации позволила заниматься новая власть. Х., красивая голубоглазая женщина с благородной сединой, представляла собой типичную старорусскую идеалистку — невероятную редкость в бурлящей Советской России. Главными отличительными признаками таких людей были доброта и гостеприимство, и моя хозяйка не растеряла этих качеств, хотя и пережила вместе со своей родиной все невзгоды, начиная с 1914 года.

Был душный полтавский вечер. Мы сидели на маленьком балкончике, и на столе пыхтел самовар, придававший сцене некий романтический оттенок; однако разговор шёл о самых

что ни на есть неромантических вещах — российской действительности, точнее, о множестве несчастных, заполнивших тюрьмы и ссылки царского режима. Деятельность организации почти парализована, сказала хозяйка; растёт число ограничений, то и дело возникают сложности. Крепнущая диктатура вкупе с гонениями на всех, на кого падало малейшее подозрение в несогласии с режимом, лишила политических заключённых прежнего авторитета, которым они пользовались во всех общественных кругах, за исключением, быть может, только крайне реакционных; теперь все они были бандиты, контрреволюционеры и враги, а народ, которому никто и не подумал представить доказательства этих ужасных обвинений, вынужден верить большевикам на слово.

В своём стремлении заклеить цвет России каиновой печатью и отобрать у этих несчастных признание новый режим зашёл гораздо дальше старого. «Я считаю это самым ужасным преступлением большевиков, позорнее которого не найти даже с точки зрения их так называемой „революционной целесообразности“», — сетовала хозяйка. Теперь, по ее словам, Красный Крест вынужден работать на два фронта: помогать политическим материально, спасая их от голодной смерти, и одновременно развеивать распространяемые о них слухи и ложь. В этом и крылся адский замысел новой власти: взывать к сознательности общества не имело смысла — любая попытка просветить людей на этот счет воспринималась как контрреволюция и могла закончиться окончательным запрещением организации и арестом всех связанных с ней людей. Другое препятствие заключалось в почти полном разладе железных дорог и прочих средств сообщения — посещать политзаключённых и поддерживать с ними сношения становилось всё труднее. Так большевистская Россия лишала этих идеалистов жизненно необходимого, того, что было для них важнее даже продовольствия — поддержки товарищей, и справляться с этим стало гораздо сложнее, заключила Х.

Я поделилась с ней соображениями по поводу иезуитских методов, к которым большевики прибегали для истребления оппонентов, и историей долгой внутренней борьбы, закончившейся тем, что я всё же поверила в это. Рассказав о встрече с Лениным и его уверенности в том, что в тюрьмах содержатся только бандиты и контрреволюционеры, я заметила, что человек такого ума и размаха не должен унижаться до использования столь невероятной лжи даже для оправдания своих поступков, но госпожа Х. лишь покачала головой. Видимо, я не очень хорошо знакома с обычными приемами Ленина, сказала она; из его ранних работ вполне очевидно, что он много лет практикует подобные нападки на политических противников. Суть их в том, чтобы «заставить их быть презируемыми и ненавидимыми как самые злобные существа»; он использовал эту тактику, когда его жертвы еще могли защищаться, так неужели теперь, когда за него вся Россия, он откажется от нее? «А ведь за него еще и весь радикальный мир, — добавила я. — Еще бы, Ленин же для них — новый, революционный мессия. Да я и сама верила в это, и мой товарищ Александр Беркман тоже — мы вообще одними из первых начали кампанию в поддержку Ленина в Америке, так что попытки избавиться от большевистского наваждения вместе с его главным призраком даже сейчас для нас очень болезненны».

Уже смеркалось, а мне еще очень хотелось поговорить о Короленко: я знала, что, подобно Толстому, он долгие годы был для России огромным нравственным авторитетом. Я пыталась выяснить, что изменилось после 1917 года, и мне ответили, что лучше всего об этом

расскажет его свояченица госпожа Х., которая очень близка с великим писателем. Поэтому я попросила ее рассказать о нём.

Какое счастье, ответила она, что яснополянский пророк не дожил до того дня, когда он сподобился бы увидеть воскрешение самодержавия в ином обличье! Ему хотя бы не пришлось писать глупых писем новому царю — в отличие от почти семидесятилетнего мужа ее сестры, который к тому же слаб здоровьем. Однако теперь Владимир Короленко проводит время по большей части в ЧК, где заступает за невинных людей, и одно за другим шлёт письма Ленину, Луначарскому и Максиму Горькому, умоляя их остановить массовые расстрелы. Кстати, Горький, добавила она, всех разочаровал: ссылке в заброшенную деревню он предпочёл общество Ленина и квартиру в Кремле. Ему попросту не хватает мужества жить так, как жили истинно русские писатели, поддерживавшие своих собратьев по перу и в трудную минуту встававшие на их защиту.

Я сразу вспомнила свой разговор с Горьким и его наивные попытки оправдать большевистское самодержавие. Я всё еще не окончательно разуверилась в человеке, которым прежде восхищалась, тем паче, он тоже кое в чём преуспел — например, помог с открытием Дома ученых, протестовал против взятия заложников и монополии государства на всё, что публикуется в России. Госпожа Х. согласилась с тем, что всё это действительно можно причислить к заслугам Горького, но для человека столь широкой души и настоящего гуманиста этого явно недостаточно. Опять же, всё, что он делает, проистекает не из возмущённого чувства справедливости или стремления к порядочности, а исключительно из желания успокоить собственную совесть. Это потому, возразила я, что Горький искренне верит в непогрешимость ленинской политики: он поэт, и его вводит в заблуждение ореол вокруг имени Ленина, принуждающий всех боготворить последнего. Во всяком случае, мне легче верить в это, чем считать, что Горький променял свой первородный дар на чечевичную похлебку.

Затем мы заговорили о Короленко. Я недоумевала, почему он до сих пор на свободе — его голос всё чаще и громче звучал среди критиков новой власти, однако Х. не считала это странным. По ее словам, Ленин был далеко не глуп, и знал, какие козыри у него на руках: Кропоткин, Вера Фигнер, Короленко — эти имена известны всему миру, и на них всегда можно было указать как на людей, критикующих власть, но остающихся на свободе, тем самым опровергая все обвинения в том, что диктатура знает лишь винтовку да кляп. Увы, мир проглотил эту наживку и молчит, пока истинные идеалисты восходят на свои Голгофы. «Для царских тюрем вновь настала страда, а расстрелы опять вошли в привычку», — такими словами Х. заключила наш разговор.

От жары меня мучила одышка; возвращаться в тесноту вагона не хотелось. Было уже около двух пополудни, до рассвета оставалось немного, и я предложила своему спутнику немного пройтись. Пустынные улицы благоухали, Полтаву окутывало мирное сонное марево украинской ночи, и я невольно перенеслась мыслями из дня сегодняшнего в грядущее — туда, где рождалась надежда на новую жизнь России. Неожиданно меня напугал какой-то глухой ритмичный звук — это по гранитной мостовой чеканили шаг солдаты с винтовками на плече, а внутри строя брели сбившиеся в кучку люди. «Расстрелы вошли в привычку...» — снова мелькнуло в моей голове.

Наутро, еще не остыв от впечатлений минувшего вечера, мы с Генри Алсбергом отправились к Короленко. Он жил в небольшом, укрытом от посторонних глаз буйной зеленью деревьев и разросшимся виноградом домике, обставленном антикварной мебелью и богато украшенном причудливой резьбой. Сам Владимир Короленко, седовласый, седобородый, в домотканой рубашке, казался пришельцем из глубины веков, но с первым же его словом эти иллюзии развеялись в прах.

Он оказался непосредственным и любопытным человеком, и внимательно слушал наши рассказы об Америке — похоже, она ему очень нравилась. Он сказал, что знаком с очень многими живущими там людьми, которые всегда откликаются на просьбы россиян о помощи, а сам он восхищён царящей в этой стране демократией. Мы отвечали, что раньше это действительно было так, но теперь от нее остались одни воспоминания, так что и говорить об этом не стоит. Нам не терпелось узнать, что сам Короленко думает и говорит о России, и мы осторожно заговорили об этом, но тут же пожалели — мне даже показалось, будто мы расковыряли открытую рану: каждое слово писателя просто сочилось неизбывной болью, утихшей лишь после того, как Короленко пообещал дать нам копии двух своих писем Луначарскому. Именно в них он затрагивал вопросы, которые мучили меня с самого Петрограда, и именно они стали первыми из того, о чём Анатолий попросил написать Владимира, предложив ему честно высказаться о диктатуре. «Скорей всего, эти письма никогда не увидят свет, но в вашем музее будут их копии», — сказал он 35.

Алсберг спросил, не будет ли Короленко возражать, если его письма опубликуют и в Америке; тот ответил, что ни в коем случае: молчать уже невозможно, ибо, какие бы опасности ни нависли над Россией, «...они — ничто в сравнении с внутренней угрозой, нависшей над революцией». Угроза эта заключалась в незыблемости постулата большевиков об оправдании революционной необходимостью любого террора, в том числе массовых казней и взятия заложников, в чём Короленко видел карикатуру на идею и ценности революции. «Я всегда считал, — добавил он, — что революция есть высочайшее выражение человечности и справедливости, однако диктатура лишила ее и того, и другого. Коммунистическое же государство, родившееся внутри страны, каждодневно лишает революцию смысла, подменяя его деяниями, намного превосходящими произвол и варварство царского режима. Например, тогда меня могли арестовать жандармы, а сейчас коммунистическая ЧК имеет право меня расстрелять — и это в то же самое время, когда большевики вовсю твердят о близости мировой революции. На самом деле этот их эксперимент над Россией надолго затормозит перемены, особенно за рубежом: разве найдёт европейская буржуазия своим реакционным методам оправдание лучше российской диктатуры?»

Жена Короленко предупредила нас, что муж еще не выздоровел, а посему ему нужно избегать сильного волнения; однако он, заговорив о России, никак не мог остановиться. Тем не менее, выглядел Владимир очень плохо, и мы решили, что не следует затягивать наше пребывание в гостях у этого великого человека. На прощанье я сказала ему, что не нахожу слов, чтобы поблагодарить его за то, что он вновь укрепил мою веру в революцию, пошатнувшуюся за восемь смутных месяцев в Советской России.

Я бы с радостью побывала в Полтаве подольше — хотелось провести еще хоть немного времени со славными людьми, которые здесь жили, но экспедиция выполнила намеченное, и нужно было двигаться дальше. Следующей остановкой был Киев, однако волею судеб и упрямства русских паровозов мы оказались в Фастове, ничуть не пожалев впоследствии об этой незапланированной задержке — мы много слышали и читали о страшных еврейских погромах, но ни разу не сталкивались с их ужасными последствиями лицом к лицу.

До самого центра города мы не встретили ни души, и первых его жителей увидели только на рынке, где на жалком десятке прилавков сиротливо лежали капуста, селедка и кое-какие крупы. Торговали этим нехитрым товаром женщины, которые при виде стольких покупателей одновременно тут же замотались в платки и съёжились от страха. Их испуганные взоры были обращены на мужчин — Сашу, Генри и юношу-коммуниста, и мы растерялись. Поскольку я говорила на идиш лучше всех, то спросила старую еврейку, стоявшую ближе всех, почему женщины так странно себя ведут с приехавшими из Америки сынами израилевыми. Вместо ответа моя собеседница указала на мужчин: «Пусть они отойдут», — попросила она. Те повиновались, и тогда женщины, подойдя к нам с Шаколь, окружили нас и наперебой начали рассказывать историю своих бед.

Между тем слухи о приезде американцев распространились очень быстро, и местечко ожило: из синагоги прибежали мужчины, а женщины побросали свои дела по дому — все спешили увидеть прибывших издалека путешественников. «Вы должны пойти с нами, чтобы услышать рассказ о фастовском плене 36», — сказал один из мужчин, и вся процессия немедля направилась в синагогу. По дороге к нам присоединились раввин, певчий и местный маггид 37, приветствовавшие нас как дорогих гостей. Все были возбуждены, все громко говорили и оживлённо жестикулировали, а женщины смеялись и плакали так истово, как будто явился сам Мессия.

Наши спутники тоже зашли в синагогу, где в это время почти все пытались поведать нам трагическую историю своего города, причем делали это одновременно. Понять что-то в царившем гвалте было невозможно, и тогда мы предложили им самим выбрать троих человек, которые и расскажут нам, что произошло, по очереди — так история одного из самых страшных погромов выйдет более связной.

Вскоре мы ее услышали. Фастов давно заслужил мрачную славу места массовых убийств евреев, совершавшихся ордами каждого белого генерала, который захватывал этот идиллический прежде уголок, но более всего местным жителям запомнился деникинский набег 1919 года. Тогда всего за неделю только в самом городе жизни лишились четыре тысячи человек, а еще несколько тысяч, пытавшихся бежать в Киев, были зарублены по пути. Но смерть была не самым страшным испытанием, дрожащим голосом сказал раввин: гораздо хуже были издевательства. Женщин всех возрастов, особенно молодых, насиловали по многу раз, часто в присутствии мужей и отцов, которых связывали и заставляли на это смотреть. Стариков загоняли в синагогу, где подолгу истязали и затем убивали, а с их детьми творили то же самое на рыночной площади.

Старый раввин очень волновался, и вскоре уже не смог продолжать свой рассказ, и тогда слово взял второй из назначенных говорить, перешедший к грабёжам. Фастов был одним из

самых зажиточных южных городов, сказал он, и когда солдаты устали от крови и оргий, они принялись грабить, уничтожая всё, что не могли унести с собой, и поджигая за собой дома. Почти весь обезлюдивший город был разрушен, а выжившие — жалкая часть прежнего Фастова, в основном старухи и дети, — были обречены на медленную смерть. Но видно, Бог услышал их молитвы и послал нас в тот самый миг, когда они уже отчаялись донести до еврейского мира рассказ о постигших их горестях. «Благословен ты, Господи! — торжественно вскричал рассказчик. — Да будет благословенно имя твое!» «Благословен ты, Господи!» — повторили все вслед за ним.

Религиозный пыл — вот всё, что осталось у этих несчастных после долгих страданий, но, несмотря на уверенность в том, что никакого Иеговы, способного услышать их, нет, я прониклась полной трагизма сценой, разыгрывавшейся на моих глазах в бедной синагоге разрушенного и поруганного города. В Америке у этих евреев было бы куда больше шансов увидеть и услышать ответы Господни; увы, всё, что мы могли для них сделать — это написать об этих ужасных погромах, но вряд ли хоть одна газета (разумеется, за исключением анархистских) отважилась бы опубликовать наш рассказ. Сказать этим несчастным, что мы сами вынужденно стали американскими агасферами 38, было бы слишком жестоко; однако с нами был Генри, в силах которого было сделать куда как больше нашего, и я была уверена, что он непременно это сделает.

Алсберг был с нами все эти полтора месяца, и, вольно или невольно, стал свидетелем многих душераздирающих сцен, однако я никогда не видела его таким, как в Фастове. Не то чтобы он принял близко к сердцу чужую беду — Генри вообще был само олицетворение чувствительности, хотя его мужская гордость всегда упрямо отрицала подобные обвинения, выдвигаемые женщиной; но душа его при виде столь ужасных последствий погромов явно преисполнилась боли. Собравшиеся же в синагоге люди словно почувствовали, что небеса послали им нужного вестника, и прямо-таки набросились на него, не желая отпустить.

Нас с Сашей тем временем осаждали письмами, адресованными американским родственникам. Особенно жалко было женщин, несущих записки сыновьям и дочерям, которые были где-то in Amerike 39. Мы спрашивали адреса или хотя бы названия мест, где жили их родственники, но они не знали их, искренне полагая, что одного имени их любимого человека более, чем достаточно, и горько плакали, когда мы пытались объяснить им, что «in Amerike» — отнюдь не в их Фастове. Мы обязательно должны взять эти письма, настаивали они: может быть, у нас получится их доставить. Нам не хватило мужества отказать им, и Саша предложил отправить эти письма нашим друзьям, работавшим в американских газетах, которые печатались на идиш. Как к этому отнеслись жители Фастова? Да они еще никого и никогда не провожали такими сердечными благословениями, как нас!

Во всей ужасной картине, представшей нам в этом несчастном городке, наиболее ярко и выпукло выделялись две особенности: во-первых, в массовых убийствах не принимали никакого участия местные жители, не бывшие евреями, а во-вторых, погромы прекратились только с приходом большевиков. Нам рассказали, что среди красноармейцев тоже были антисемиты, но провозглашение в городе советской власти избавило его жителей от страха новых бесчинств и подвигло молиться за Ленина. «Почему же только за Ленина? — спросили

мы. — Почему же не за Троцкого и Зиновьева?» «Видите ли, Троцкий и Зиновьев тоже иудеи, — объяснил нам с неподражаемыми интонациями талмудиста один старый еврей. — Разве они заслуживают молитвы за то, что помогают своим? А вот Ленин — гой; так что вы должны понять, почему мы благословляем его». Мы были искренне рады узнать, что в возглавляемом гоем режиме отыскалась хотя бы одна добродетель.

Нас познакомили с доктором, который, не будучи евреем, героически спасал людей во время деникинского погрома, и не раз мужественно вел себя перед лицом смертельной опасности, неминуемо грозившей ему в борьбе за еврейские жизни. Община просто боготворила его, беспрестанно рассказывая нам о бесчисленных примерах его благородства и доблести, и мы пригласили этого славного человека поужинать с нами. В знак признательности он принёс с собой дневник, который вёл во время фастовских погромов, и до самого утра леденил наши души, зачитывая отрывки из него.

Кошмар, пережитый нами по дороге в Харьков, повторялся все шесть дней, которые потребовались нам, чтобы добраться до Киева. Измотанные и разбитые, мы всё же не переставали удивляться невероятной выносливости славян в преодолении величайших трудностей. На каждой станции отчаявшиеся люди бились за возможность попасть в поезд, но теперь их стало еще больше: вместе с ними эшелон буквально осаждали дети всех возрастов. Одетые в грязные лохмотья, с голодными глазами, они жалобно просили хлеба, и эти невинные жертвы гражданской войны были самым душераздирающим зрелищем во всём нашем путешествии.

Однако, по словам Саши и Генри, толпы на железнодорожных станциях меркли в сравнении с человеческими потоками на станционных рынках, совершенно нечувствительными к боли и потому ставшими для торговцев истинным бедствием. Милиция время от времени разгоняла несчастных, но они очень скоро возвращались, причём, казалось, раз за разом их становится всё больше и больше. «Выходит, разгонять их не имеет смысла?» — спросила я Генри. «Осада, голод... Похоже, у России нет иного способа навести порядок», — ответил он.

Мне же по-прежнему хотелось бы верить, что во всём действительно повинна только осада, а не всеобщая некомпетентность и тотальная бюрократия. Ни одна власть не в силах справиться с населением сама, сказала я Генри, и даже в Соединенных Штатах, со всеми их неисчерпаемыми ресурсами и мощнейшей политической организацией, во время войны приходилось мобилизовать различные силы. Выиграть мировую войну Вудро Вильсону помогли вовсе не генералы, а хорошо подготовленные и усердно работавшие люди, не скованные рамками государства; у диктатуры же нет возможности обратиться за подобной помощью, а энергия и способности народа остаются нерастраченными. При этом тысячи людей по всей России были бы рады помочь своей стране, но им отказывают в этом просто потому, что они не согласны с «21 условием» 40 Третьего Интернационала. Как же тогда можно надеяться на то, что коммунистическому государству удастся преодолеть все эти трудности?

Генри был убеждён, что моя нетерпимость к большевикам объяснялась верой в революцию «по Бакунину», которая уж точно принесла бы больше пользы. Но такой она и задумывалась, просто в какой-то момент бакунинское стало постепенно превращаться в марксистское, и в

этом-то и была вся загвоздка. Я была не настолько наивна, чтобы ожидать возрождения анархизма «аки Феникса из пепла» старого мира, но надеялась, что те, кто совершил революцию, смогут хотя бы направлять ее; Генри же считал, что российский народ не способен созидать, и из этого ничего бы не вышло, даже если бы диктатура не захватила всю власть. Однако он был уверен, что большевики сумеют добиться успеха после снятия осады и окончания войны. Я бы очень хотела быть такой же уверенной, но, увы, не видела ни единого намека на грядущее ослабление поводов — напротив, их только и делали, что натягивали, грубо и недвусмысленно, тем самым выхолащивая первоначальный смысл революции.

Наши споры обычно заканчивались тем, что все оставались при своих мнениях, но уже одна возможность обсуждать это с Генри дорогого стоила: такое было бы немыслимо с русскими коллегами, особенно с Шаколь. Наша секретарь прекрасно всё знала и понимала, но была готова убить собеседника за одно-единственное слово, уничивавшее Советскую Россию или существующий режим; впрочем, я всё равно любила ее, и этому не мешала даже ее чисто славянская, порой невыносимая склонность к хандре.

Нам ужасно хотелось сделать три вещи: вымыться, выспаться и собрать в Киеве вождельный материал. Ни у кого не было сомнений, что он будет богатейшим, особенно в части контрреволюционных документов — город на днепровских холмах был тем самым становым хребтом Украины, за который здесь бились красные и белые, и который еще совсем недавно был в руках поляков. Еще в Петрограде мы с Сашей полностью разделяли возмущение советской прессы вандализмом польских оккупантов, по словам Луначарского и Чичерина, осквернивших все художественные ценности города и разрушивших прекрасные древние соборы — Софийский и Владимирский. Заранее страшась увидеть развалины столицы Древней Руси, мы не приняли во внимание ни советские методы пропаганды, в совершенстве овладевшие искусством изготовления слонов из мух, ни ставшую притчей во языцех неспособность поляков делать что-либо хорошо. Возможно, они и хотели нанести Киеву как можно больший урон, но совершенно с этим не справились: всё, что им удалось — это разрушить несколько мелких мостиков да повредить кое-где железнодорожные пути; никаких иных руин, в которые якобы повергли Киев последние его постояльцы, мы не увидели.

При этом все убеждали нас в просто невероятном количестве интересных материалов, однако заполучить их оказалось исключительно сложным делом: местные коммунисты буквально источали враждебность к Москве и ее посланникам, пренебрежительно игнорируя наши выданные «центром» удостоверения. Было очевидно, что здесь не любят никого из «северных» товарищей, за исключением Ленина — он, судя по всему, заменил собой все прежние святыни. Все ощетиивались при одном только упоминании имени Зиновьева, видя в нас его личных эмиссаров, присланных, чтобы шпионить за ними. «Да кто вообще такой этот Зиновьев? — примерно так восклицали нам в ответ все, к кому мы обращались с просьбами о содействии. — Кто он такой, чтобы мы отдавали ценные исторические материалы по одному его слову?» Распоряжаться чужим имуществом легко, говорили нам, особенно сидя в Кремле или в Смольном — там хорошо, тихо и красиво; а каково им, украинцам, особенно киевлянам, живущим в вечном страхе перед новым вторжением? Так что, они должны всё бросить и пуститься плясать под зиновьевскую

дудку? Неужели у них нет других дел, требующих неусыпного внимания? И они были правы: им действительно нужно было обеспечивать существование целого города, и тратить время на помощь нашей экспедиции они попросту не могли.

Наш секретарь дошла и до всесильного Ветошкина 41, но вернулась от него, чуть не плача: председатель исполкома был непреклонен, отказав нам в какой бы то ни было помощи. Ей казалось, что всё кончено, и нашему делу уже не суждено завершиться, а нам пора возвращаться; однако такое ее настроение мне категорически не понравилось, и я решила вновь попробовать проверенный способ, который между собой мы называли «наш американский Сезам». Если раньше он срабатывал, причем порой даже в самых безнадёжных случаях, почему бы не применить его в Киеве? Тем более, с нами был самый настоящий американец, к тому же еще и журналист — местная власть будет просто не в силах сопротивляться такому натиску, и Генри ухмыльнулся в знак согласия. В его красивых глазах плясали озорные чертики, но он с серьёзной миной ответил, что его переводчиком должна быть я: он-де успел убедиться, что в моём присутствии люди рассказывают больше, чем собирались, а вместе мы уж точно разъясним несговорчивым украинцам, что, помогая Музею революции, они оказывают услугу вечности.

Действительно, удостоверение Алсберга сработало почище любой волшебной палочки. Великий и ужасный Ветошкин не только сам вышел к нам, но даже пригласил нас в святая святых, то есть в собственный кабинет, и долго, но весьма любопытно рассказывал о Петлюре, Деникине и прочих авантюристах, изгнанных с Украины красными войсками. Когда же мы, наконец, покинули гостеприимного хозяина, на руках у нас были ордер в жилотдел на две комнаты и требование в партком на пайки для всей экспедиции (от своих мы с Сашей решили отказаться — на рынке было полно еды, а мы были вполне платежеспособны); помощнику же было дано строжайшее указание во всём нам содействовать.

Вскоре мы поняли, что наши надежды на материалы не оправдались. Большевики вернулись в город совсем недавно, и новые бюрократы были еще не настолько опытны, чтобы плодить бумаги, имеющие для нас какую-либо ценность: как водится, правая рука не знала, что делает левая, а приказы издавались и отменялись без какой-либо системы. Ничуть не лучше было и с контрреволюционными документами — Киев завоёвывался четырнадцать раз, и каждая власть преуспевала лишь в еврейских погромах.

С их жертвами, в том числе и фастовскими, мы встретились в еврейском госпитале, который теперь именовался советской больницей. С момента последнего погрома прошло уже немало времени, однако в ней еще оставались многие женщины и девочки; многие из них были весьма тяжелы, а некоторые изувечены на всю жизнь, но страшнее всего было смотреть на детей, чьи родители погибли у них на глазах. Доктор Мандельштам, здешний хирург, немало рассказал нам о том, что творилось, в том числе, и в его больнице; ужасы, творимые деникинской бандой, он полагал худшим из бедствий. Он не сомневался в том, что озверевшие вояки извели бы напрочь всех пациентов, а само здание сровняли бы с землёй, если бы не героическое сопротивление его сотрудников, по большей части отнюдь не евреев, мужественно остававшихся на своих постах и тем самым сохранив жизни многим подопечным. «К счастью, вернулись большевики, и с ними пришло избавление от этих зверств», — заключил он.

Удивительнее всего оказалось то, что в Киеве нашлось несколько экземпляров «Матушки-Земли»! Их вручил нам один человек, которого мы тоже хотели расспросить о погромах, но тот не проявил к нам особого интереса; каково же было наше удивление, когда на следующий день он заявился в наш вагон с целой пачкой журналов, издававшихся мной в Штатах! Он набросился на меня с упрёками: почему мы с Беркманом сразу не сказали, кто мы такие — он бы повёл себя совсем по-другому! Журналы? Их буквально вчера принёс ему товарищ, которому он шутики ради рассказал о визите «американцев», и в ответ услышал, кого на самом деле принимает еврейская община города.

Мне было любопытно, как могли попасть в Киев журналы, которые мы никогда не посылали их в Россию. Гость отвечал, что их получал его друг Заславский, которому, в свою очередь, их присылал из Америки брат. «Заславский? — спросила я. — А не наш ли это старый товарищ из Бруклина, штат Нью-Йорк?» «Он самый», — отвечал человек, добавив, что теперь, когда выяснилось, кто мы такие, мы просто обязаны прийти к нему на чай, где будет вся местная еврейская интеллигенция: ему не простят, если узнают, что мы были в Киеве, а их не известили о нашем приезде. На прощание гость представился: оказалось, это Лацкий 42, бывший министр Рады, украинского парламента, по делам евреев.

Трудные будни России превратили мою прежнюю жизнь в Америке в призрачные воспоминания, в какой-то бесплотный сон. Жизнь моя, лишённая смысла, стала туманной и пресной, и неожиданное явление нашего альманаха вновь заставило меня ощутить боль бесцельности и бесполезности своего существования, исполненного горестной тоски, которая выхолаживала во мне всю суть. Вернул меня к жизни лишь приезд Сони Авруцкой, замечательной девушки из местной анархистской ячейки; имя же ее спутницы вообще заставило меня позабыть обо всех бедах, показавшихся ничтожными в сравнении с тем, что грозило этой молодой женщине, переодетой крестьянкой. Ее звали Галина Кузьменко, а была она ни много ни женой Нестора Махно, и потому любому, заподозренному в том, что он имеет к ней какое-либо отношение, грозила смертельная опасность. Большевики тщетно пытались поймать самого Махно, уже назначив цену за его голову, а до этого в бессильной ярости расправились с его братом и родными жены.

Сама Галина не питала иллюзий по поводу собственной участи — ее немедленно и неминуемо расстреляли бы. Как же она не побоялась явиться к тем, кто не только наделал переполоху среди местных властей, но и принимает у себя множество народу, в том числе и большевиков? Галина ответила, что слишком часто сталкивалась лицом к лицу с опасностью, чтобы беспокоиться о таких пустяках, тем паче, что цель ее поездки слишком важна, чтобы доверить ее кому-то. Она передала нам привет от Нестора, кружившего вместе со своим отрядом неподалеку от Киева и просившего позволения взять приступом наш поезд, чтобы якобы пленить нас, отпустив восвояси остальных членов экспедиции. Мы были нужны ему, чтобы выслушать его соображения относительно текущей обстановки, после чего мы беспрепятственно поедем дальше, избавившись от подозрений в связях с ним. Это был отчаянный план, но ничуть не отчаянее его положения: большевики настолько очернили и оболгали Махно, что мы были, пожалуй, единственной его возможностью оправдаться перед пролетариатом за пределами России. Сам бы он ни за что не переубедил бы всех, кто верил в то, что он бандит, погромщик и враг революции — он, Нестор Махно, готовый биться за нее до последней капли крови, до последнего вздоха. Так

что ему просто необходимо поговорить с нами; согласны ли мы?

План был хорош, но безрассудно дерзок, и его авантюрный характер еще сильнее подчёркивали молодость и красота особы, посвятившей нас в него. Саша и Генри были просто очарованы страстной тирадой, с которой обратилась к нам Галина; воображение моего друга-конспиратора разыгралось настолько, что он уже почти согласился, да и меня так и подмывало принять это предложение. Но мы должны были подумать о наших товарищах по экспедиции — использовать их втёмную в чём-то, без сомнения, чревато для них серьезнейшими последствиями, было бы нечестно. Было и еще кое-что, удерживавшее меня от этого шага: путы, которыми большевики сковали меня с революцией, были еще крепки, и я просто не могла обманывать тех, кто не чурался обмануть меня, кого мой разум отказывался считать искренними, но кого я по-прежнему оправдывала чувствами.

Вряд ли бы в Киеве нашлось место, в котором бы жена Махно могла чувствовать себя в безопасности, и отведенная мне комната не была исключением, но иного убежища на эту ночь я дать ей не могла. Чтобы скрасить ожидание рассвета, я просидела с ней до самого ухода. Мы не зажигали лампу, предпочтя ее неверному свету мягкий сумрак украинской ночи, и лишь иногда милое лицо Галины озарял неверный блеск луны. А она, кажется, и не думала об опасности, которой подвергалась; напротив, она жадно расспрашивала меня о том, как за границей живут и работают женщины. Особенно ее интересовала Америка: чем там занимаются ее сестры, чего они сумели добиться, в частности, в вопросах равноправия с мужчинами и законности аборт. Для простой крестьянки такая жажда знания была поистине поразительна; я невольно прониклась ею, позабыв о своих горестных размышлениях, и только забрезживший рассвет разрушил эту идиллию, заставив нас распрощаться. Я долго стояла у окна, вглядываясь в ладную фигурку уверенно и бесстрашно уходящей в новый день Галины, и чувствовала, что теперь, после того, как она побывала у меня в гостях, мне будет непросто принимать помощь для нашей экспедиции. Не то чтобы я считала, будто обманула доверие большевиков — нет, в моих глазах жена Махно отнюдь не была контрреволюционеркой, но даже если бы я и считала ее таковой, всё равно ни за что не сдала бы ее в ЧК на верную смерть. Просто я поняла, что с ревкомом у меня не может быть никаких дел, и решила больше туда не ходить.

Вскоре в Киев приехала Анжелика, сопровождавшая делегации из Италии и Франции, и жизнь стала намного интереснее. Увидев, с какой радостной горячностью она меня приветствовала, местные большевики тут же посчитали меня своей; когда же Анжелика рассказала Ветошкину о нашем американском бытии, он чуть ли не на коленях стал умолять нас съехать с ордерной квартиры и стать его гостями в Доме Советов, между делом упрекая нас в том, что мы пришли к нему только в качестве участников музейной экспедиции, да и то лишь раз за две недели.

Александра Шаколь однажды призналась мне, что отдала бы полжизни за то, чтобы однажды проснуться коммунисткой и безраздельно отдать всю себя партии и ее делу; теперь я поняла, что она имела в виду — мне тоже хотелось протянуть руку Ветошкину и сказать: «Я с вами. Я смотрю на все вашими глазами и буду служить вам так же беззаветно, как вы и ваши соратники». Увы, всё это были пустые мечтания: на самом деле для тех, кто искал жизни, свободной от догм и веры, верного способа избавиться от гнетущих мыслей не

существовало.

В Дом Советов мы переезжать не стали, заверив Ветошкина, что ни в чём не нуждаемся. Успокоившись на этом и успокоив хозяина, на радостях мы решили принять приглашение Анжелики — она позвала нас на приём в честь тех самых иностранных делегаций, с которыми прибыла. Наше путешествие длилось уже третий месяц, а южные губернии находились слишком далеко от центра и еще дальше от Европы, так что Анжелика стала первой северянкой, встретившейся нам после отъезда. Правда, новости ее были скудны — она сама только и делала, что разъезжала по городам и весям со всякими иностранцами; но всё же огорошила нас известием об аресте Альберта Бони, якобы подозреваемого в контрреволюции. «Это же абсурд!» — возмутилась я: Альберт был обычным издателем, далёким даже от мыслей о протесте, да и цвет правящей партии по большому счёту был ему безразличен. Тем не менее, я поспешила поделиться услышанным с Сашей и Генри, которые чрезвычайно развеселились, узнав, что Бони, оказывается, опасен для советской власти; однако, зная, что ЧК отнюдь не располагает к веселью, немедленно попросили Анжелику послать от нашего имени телеграмму Ленину.

По пути на приём Саша угодил в облаву — чекисты окружили целую улицу, останавливая всех подряд для проверки документов. Его бумаги были в полном порядке, однако главный в кожане вцепился в него мертвой хваткой, не слушая объяснений и не желая его отпустить. К счастью, рядом были такие же бедолаги, которые принялись возмущаться произволом; очень скоро перепалка превратилась в бедлам, о моём друге позабыли, и он под шумок и без лишних церемоний ускользнул.

По случаю приёма, устроенного в бывшем Купеческом собрании, его роскошные залы и сохранившие былую прелесть сады были ярко освещены и украшены свежими цветами. Глядя на вина и фрукты, изобильно уставившие множество столов, невозможно было подумать, что еще совсем недавно Киев был средоточием бурь и несчастий, а если позабыть о том, какой на дворе стоял год, то перед глазами вообще были старые добрые времена. Всюду фланировали весьма упитанные дамы, затянутые в кружевные платья и обильно декорированные ювелирными украшениями, а не менее сытого вида господа во фраках предавались чревоугодию и питию. Всюду были золото и плюш, и на этом фоне вряд ли бы смотрелись пролетарии с их бледными лицами и дешевой одеждой; однако из полутора с лишним сотен почтивших своим вниманием этот приём людей Анжелика, возможно, была единственной коммунисткой, по-настоящему страдавшей от этой вульгарной показухи. Ее не радовало даже присутствие ее любимых итальянцев — она лишь делала вид, что беседует с Серрати 43, сидевшим одесную, и французским коммунистом Садулем 44 ошуюю. Ее полный боли взгляд лучше любых слов показывал, насколько ей здесь неуютно, и насколько чужой она была всему этому фарсу во славу Ленина, Троцкого, Зиновьева, Красной Армии, Третьего Интернационала и мировой революции. Для всех, кто не слышал или не хотел слышать этот ужасный диссонанс, это были чарующие слова, но каждый раз, услышав их, и она, и я, даром, что наши лейтмотивы звучали в совершенно разных тональностях, вздрагивали.

Двое анархо-синдикалистов, обнаруженных мной в числе французских делегатов, убедили нас остаться до конца: они уезжали ночью и пригласили нас проводить их до вокзала, чтобы

поговорить по дороге. Они, конечно, находились под впечатлением от увиденного, но не могли не отметить некоторых тревожных сигналов: по всему выходило, что в якобы своей диктатуре собственно пролетариат участвовал в крайне незначительной степени. Они намеревались сразу по возвращении изложить это в докладе профсоюзам, и искренне изумились, когда мы предупредили их, что с этой информацией им следует быть очень осторожными — вполне возможно, им попросту не позволят этого сделать. «Это нелепо! Мы же не русские, мы же не связаны дисциплиной коммунистической партии», — восклицали наши собеседники, которые были французами и представляли крупные анархо-синдикалистские организации, а потому, по их мнению, никто не осмелился бы чинить им препятствия. «Кроме ЧК», — уточнили мы, но парни отмахнулись: мол, мы, обжегшись на молоке, теперь дуем и на воду 45.

На чаепитии, организованном Лацким, возможно, и не было изобилия яств и вин, хотя хозяева выставили на стол лучшее из того, что имелось, но нас интересовала не трапеза, а царивший здесь дух свободы. Здесь все были вольны выражать свои мысли, а уж в них недостатка не было: весь цвет еврейской интеллигенции Киева пришёл обменяться мнениями, надеждами и страхами с американскими гостями. Несмотря на то, что никто из присутствующих не был членом коммунистической партии, почти все в силу национального вопроса были яростными защитниками режима. Как и присутствующий здесь доктор Мандельштам, все честно признавали, что более всего они беспокоились о безопасности евреев, а поскольку большевики предотвращали погромы, евреи, по общему мнению, должны поддерживать советское правительство.

Я спросила, довольны ли они, и верят ли в то, что их народ отныне всегда будет под защитой, невзирая на атмосферу тотального террора и разрухи. Да, они понимали, что воцарившаяся диктатура смертельна для любой инициативы и плодотворной деятельности, но у них не было выбора; к тому же после многих столетий, прожитых в страхе перед погромами, их наконец-то перестали преследовать только за то, что они евреи. В условиях антисемитизма поистине планетарных масштабов их опасения были вполне понятны, но как мерило свободы это было еще хуже, чем просто бесполезно.

Перевести октябрьский переворот на рельсы взаимоотношений евреев с «нееврейями» я не могла — для меня революция несла в себе ценности для всего человечества, по крайней мере, для всей России. Однако присутствовавшая на встрече молодёжь придерживалась иной точки зрения: не отрицая несомненной заслуги большевиков в предотвращении дальнейших погромов, они полагали, что советский режим сам по себе был благодатной почвой для ненависти к евреям. При самодержавии этот сорняк произрастал лишь на полях, обильно унавоженных наиболее реакционными элементами, теперь же его семена заражали целые губернии; крестьянин, рабочий, интеллигент — все, буквально все видели в евреях только коммунистов и комиссаров, ответственных за карательные экспедиции, продразверстку, всеобщую милитаризацию и гонения. Большевизм воплотил в себе отрицательный образ еврея, настаивали они, хотя должен был, наоборот, всеми силами придавать ему положительные черты.

Саша настаивал на том, что неправы обе стороны — по его словам, критиковать злоупотребления власти бессмысленно, ибо зло заключено в ней самой; коммунистическое

государство и диктатура подчинили цели революции целям правящей партии. Октябрь должен был высвободить творческую энергию России и направить ее на строительство новой жизни; диктатура же вместо этого стремилась создать громадную политическую машину и стать ее единоличным владельцем и водителем. В этом и был корень всеразрушающего зла: растущий не по дням, а по часам антисемитизм, возврат к религии, контрреволюционные настроения среди крестьян и рабочих, цинизм молодого поколения и прочее — всё это было прямым результатом невыполнения большевиками обещаний, данных ими в памятные октябрьские дни. Несмотря на то, что не все были согласны с такой трактовкой событий, горячие споры не перерастали во взаимные оскорбления, и встреча в доме Лацкого оставила в нас приятные воспоминания.

Саша встретился с меньшевиками и забрал у них огромное количество разных материалов. Оказалось, что здесь, на юге, в первые два года революции они представляли собой мощную силу, но затем были ликвидированы большевиками, и только социал-демократическим профсоюзам удалось заскочить в последний вагон уходящего коммунистического эшелона. Однако ценные документы по истории украинского рабочего движения и их партии удалось сохранить, и теперь они отдали их Саше вместе с многочисленными личными записями и дневниками.

Ему также удалось каким-то образом вытащить из ящика стола в профсоюзном штабе целый контрреволюционный архив, состоявший из причудливого набора полицейских документов, стенограмм заседаний Рады, коммерческой статистики и тому подобных бумаг. Тем не менее, в этом ворохе Саше удалось обнаружить первый «Универсал» Петлюры — некую официальную декларацию принципов южной национальной демократии. Не менее важную находку сделала наша секретарь, уговорившая сотрудника городской публичной библиотеки, ярого националиста, отдать нам деникинские бумаги, о которых все давно забыли. Поначалу библиотекарь был глух к уговорам Шаколь, но когда она сказала ему, что над ним будет смеяться вся Америка — дескать, вместо того, чтобы, передав эти бумаги в Музей революции, сохранить их для будущих поколений, он предпочел накормить ими подвальных крыс, и тот сдался.

Последний день перед нашим отъездом пришелся на воскресенье, и мы решили провести его в лодочной прогулке по Днепру. Меж его живописных берегов то и дело юрко сновали прогулочные судёнышки, ничуть, впрочем, не мешавшие нам любоваться восхитительными видами Киева, прежде всего его соборами и церквями. Отойдя дальше, за пределы города, мы увидели миленькое, явно старинное село, и немедленно пристали к берегу. Рядом с ним оказался не менее древний монастырь, гостеприимные обитательницы которого угостили нас хлебом и медом с собственной пасеки. Они проводили дни в молитвах и трудах, а потому их совсем не затронули бурные события, вот уже второй год сотрясавшие Россию. Они совершенно ничего не знали о революции, а их вера, окрепшая за многие столетия, не давала им понять смысла рождавшейся вокруг них новой жизни. Впрочем, им это и не требовалось — они просто мирно трудились в своей тихой обители: выращивали овощи, держали пчёл, учили местных детишек шитью и штопке да привечали странников.

Совсем не так вели себя их якобы братья из Владимирского и Софийского соборов, не устававшие наживаться на доверчивости простофиль, число коих удивительным образом не

уменьшалось и после революции. Тамашние монахи по-прежнему водили легковых по своим подземельям и рассказывали всякие байки о чудесах, совершенных святыми, иссохшие кости коих были выставлены в этих лабиринтах на всеобщее обозрение — для революционной России зрелище весьма странное.

По дороге в Одессу мы потеряли нашего доброго товарища Генри Алсберга, которого внезапно арестовали. Да, он присоединился к нашей экспедиции без разрешения московской ЧК, но спокойно мог бы продолжать свое путешествие вплоть до самого возвращения в столицу, и вряд ли бы орлиный взор Советов обнаружил его на бескрайних просторах России. Но на свою беду он поставил подпись под телеграммой Ленину по случаю ареста Альберта Бони, и ВЧК незамедлительно дала приказ задержать опасного преступника, посмевшегося уехать без ее соизволения. Поскольку всё в России делалось с черепашей скоростью, эта директива в Киеве нас уже не застала, но, поскольку она была разослана и по всем станциям на нашем маршруте, в Жмеринке она все-таки нагнала нас.

Никакие уговоры и протесты не помогали: в местной ЧК нам прямо сказали, что все документы Алсберга, в том числе удостоверения, выданные Чичериным и Зиновьевым, в полном порядке, но у него нет разрешения от московской ЧК, а потому он будет арестован. Мы не хотели бросать его в беде, и предложили, чтобы Саша или я поехали в Москву вместе с ним, но Генри и слушать не захотел. Он-де уже неплохо знает русский и скоротает время в беседах с чекистами, шутил он: ему известны такие слова, как «пожалуйста», «спасибо» и «ничего», а разве этого мало для разговора? Если потребуется, он сможет построить и несколько не столь вежливых выражений, но самое главное, у него есть то, что полицейские всех стран любят больше всего, — деньги. В общем, заверил он нас, ему ничего не грозит, и нам не нужно за него волноваться. Храбрый старина Генри! На одном я всё же настояла: он не должен брать с собой свои записи, ибо с ними непременно попадет в беду; мы вложим их в собранные нами материалы — так будет лучше и спокойнее и для нас, и для него.

Телеграммы Ленину, Луначарскому и Зиновьеву от имени Алсберга были отправлены немедленно, но нас терзали смутные сомнения в том, что они достигнут своих адресатов, и мы с тяжелым сердцем следили за нашим товарищем, которого уводили чекисты. Мы сблизились с Генри из-за его веселого характера, общительности и сообразительности, но самое главное — бодрости духа. Недавно у него украли кошелек, что вообще-то не может доставить радости никому и нигде; в России же это было настоящей трагедией, но мне так и не пришлось утешать друга: из-за разбирательств они с Сашей опоздали на поезд, и мы увиделись лишь через несколько часов. Но и тогда Алсберг находился в приподнятом настроении — его прямо-таки распирала впечатления. «А как же вор? — воскликнула я. — Его нашли? Тебе вернули деньги?» «Конечно, — рассмеялся Генри в ответ. — Никто никогда никого не находил, а тут взяли и нашли!»

Арест Алсберга оказался первым звеном в цепи неудач, которые преследовали нас до конца экспедиции. Выехав из Жмеринки, мы узнали о разгроме 12-й армии и наступлении поляков на Киев — пути были забиты эшелонами с отступающими солдатами, а на всех станциях царил настоящий бедлам. Наш вагон то и дело прицепляли к поездам, шедшим на юг, но затем отцепляли, чтобы отправить его в противоположную сторону. Наконец, нам повезло попасть в эшелон, который отправлялся до нашего следующего пункта назначения —

большого города на берегу Черного моря, откуда мы намеревались попасть на Кавказ. Однако Врангель распорядился иначе: его части вошли в Александровск 46, находившийся по пути к Ростову, и перекрыли путь, которым мы собирались ехать на Кавказ; при этом наши удостоверения были действительны только до конца октября, а их продление по почте, мы это знали, заняло бы месяцы. Оставаться же на юге дольше этого срока означало заигрывать с опасностью; в общем, мы надеялись отыскать выход из сложившегося положения в Одессе.

Достигнув черноморской жемчужины, мы узнали, что буквально накануне сгорели центральный телеграф и электростанция, и весь город уже сутки пребывает во тьме и неведении. Это происшествие объявили делом рук шпионов белых, город перевели на военное положение, а охватившую всех нервозность подогревали слухи о взятии поляками Киева и продвижении Врангеля на север, и никто не мог их подтвердить или опровергнуть.

В советских учреждениях царили подозрительность и страх. Когда мы с Шаколь и Сашей появились в местном исполкоме, то тут же стали предметом всеобщего внимания: наши удостоверения были тщательным образом изучены, а мы с пристрастием допрошены — кто такие, зачем приехали и пр. Только после того, как мы дали ответы, устроившие всех, нам было позволено войти в августейшие покои председателя исполкома — довольно молодого человека, преисполненного важности от занимаемого им поста. Не ответив на наше приветствие, не пригласив нас присесть, он, спрятавшись за кипами бумаг на рабочем столе, еще раз потребовал у нас документы, долго и внимательно изучая их. В итоге он сказал, что может помочь нам лишь пропусками в учреждения да письменным разрешением находиться на улице «после дозволенного времени». Это всё, что находится в его власти, сказал он, тем паче, что музеи его не интересуют: это интеллигентские штучки и пустая трата времени, а у рабочих есть гораздо более важное дело — защита революции. Ни манеры этого человека, ни его слова не сулили нам ничего хорошего, и Саша поблагодарил его, сказав, что его революционное рвение заслуживает похвалы, а мы не хотим более злоупотреблять его добротой; впрочем, до этого человека, угнездившегося за своим столом, сарказм вряд ли дошёл.

Наши спутники согласились со мной, что этим человеком движет нескрываемая ненависть к интеллигенции. Повидав множество коммунистов-пролетариев, пропитанных самой едкой злобой к образованным людям, я всё же не вспомнила ни одного, кто выражал бы ее столь грубо и откровенно, как председатель одесского исполкома, и не могла избавиться от мысли, что подобные фанатики для революции опаснее любых вооруженных врагов. Мы решили, что никто из членов нашей экспедиции больше не должен заходить в исполком, решая свои вопросы собственными силами.

Когда мы спускались по лестнице, к нам подошли несколько молодых людей. Вглядевшись в нас, они неожиданно закричали: «Саша! Эмма! Привет! Какими судьбами?» Это были американские товарищи, и неожиданная встреча с ними приятно удивила нас после недоброй памяти поборника строгой дисциплины «а-ля большевик». Узнав, зачем мы приехали, они посоветовали нам уезжать следующим же поездом: помощи от здешних властей мы не дождемся — почти все местные чиновники были настроены против центра и вообще всего, что не связано с местными коммунистами, а во главе всего этого стоял как

раз председатель исполкома. С его легкой руки встреченных нами товарищей записали в закоренелые саботажники: этот злыдень ненавидел всех, чье образование простиралось дальше азбуки, и расстрелял бы всех интеллектуалов, если бы ему дали волю. Они посоветовали нам обратиться за помощью к товарищу Ородовскому, занимавшему ответственный пост. Есть в городе и другие люди, которые могут нам помочь; да, это меньшевики, которых недавно вычистили из профсоюзов, но они настолько влиятельны, что даже большевики не решаются их арестовать.

Ородовский был отличным печатником и весьма практичным человеком. Попав в местное издательство, он перестроил его работу так, что власти пришли в восторг: из конфискованного и бросового оборудования он собрал лучшую в городе типографию, и теперь с гордостью показывал нам производство, ставшее образцом чистоты, порядка и хорошей работы. Тем не менее, препятствия ему чинили на каждом шагу: он был «не из своих», и потому находился под подозрением. Хотя он очень любил свою работу и знал, что приносит пользу революции, его всё равно тревожило предчувствие неминуемой беды. «Ах, революция, — вздыхал он. — Во что же ты превратилась?»

Он помог нам встретиться с другими анархистами, которые работали в местном совете народного хозяйства. Они, как и Ородовский, не сомневались в том, что их всего лишь терпят до поры до времени и постоянно ожидали опалы и последующих репрессий. Среди них нам более всего был интересен некий Шахворостов, пролетарий в нескольких коленах, прошедший среди рабочих и в борьбе за их права всю жизнь — и при царе, и при большевиках. Это был один из самых деятельных и уважаемых анархистов, при ближайшем знакомстве оказавшийся именно таким, как нам описывали его — добрый, любознательный, простой и очень искренний человек, в котором не было ни капли той жесткости и твердости, присущих председателю исполкома. «Чистое везение, — отвечал Шахворостов, когда мы спросили его, как ему удаётся оставаться на свободе. — Ну, и поддержка рабочих». Те знали, что он был их единственным защитником от посягательств коммунистического государства; сам же он понимал, что эта схватка заведомо проиграна, но считал, что обязан бороться как можно дольше.

Он рассказал о том, что обвинения в саботаже превратились в излюбленный способ расправы с инакомыслящими — как раз об этом нам и рассказали наши друзья, — и добавил, что по большей части как раз саботажа и нет, а просто большинство советских чиновников не умеет работать; хотя, конечно, встречались и откровенные саботажники, намеренно ставившие палки в колёса всем попыткам сделать жизнь лучше. Наиболее вопиющим случаем стала общегородская облава на буржуазию под любимым ленинским лозунгом «Грабь награбленное». Чекисты и их присные устроили атаку на жилища, магазины и торговые палатки, конфискуя часто не только товар, но и последние пожитки. Улов был неплохой: набег оказался неожиданным для хозяев, и они не успели припрятать свои ценности; вот их-то, особенно одежду и обувь, и пообещали раздать нуждающимся рабочим. Услышав об успехе этой экспроприации, последние потребовали выполнить обещанное. «Да, это было выполнено, — сказал Шахворостов, криво усмехнувшись. — К нам в совнархоз привезли дюжину ящиков, но когда мы их открыли, то увидели одни лохмотья, которыми побрезговали бы даже нищие. Оказалось, что участники рейда отобрали себе всё самое ценное и сдали добычу на рынки, а буржуазия быстро выкупила ее обратно. Скандал вышел

настолько грандиозный, что замять его не удалось: честные партийцы настояли на расследовании, и кого-то даже расстреляли; однако такие явления процветают, и их не искоренить никакими расстрелами».

Шахворостов вместе с еще одним товарищем из профсоюза металлистов пообещали нам собрать конференцию секретарей рабочих организаций, дабы рассказать им о проекте Музея революции. Они не подвели: собрание состоялось, и на нём выступил Саша, рассказав о нашей экспедиции.

Неделя, проведенная в хождениях по советским учреждениям, убедила нас, что наши юные друзья не только не преувеличили масштабов одесского саботажа, но даже не описали и половины всей его картины. Местные бюрократы оказались худшими бездельниками из всех встреченных нами во время пребывания в России. Все они, от первых руководителей до последней пишмашинистки, взяли за правило приходить на работу на два часа позже начала рабочего дня, а заканчивать ее на час раньше. Зачастую окошко закрывалось прямо перед самым лицом просителя, прождавшего несколько часов только для того, чтобы ему буркнули «приходите завтра». Толку от советских чиновников не было: «Очень занят, ни минуты свободного времени», — уверял какой-нибудь из них, при этом со вкусом закуривая, а затем часами болтая о всяких не относящихся к делу вещах, в то время, как «барышни» полировали свои ногти и красили губки. Это был неприкрытый и бесстыдный чиновничий паразитизм.

Рабоче-крестьянская инспекция, созданная специально для борьбы с таким саботажем, почти не интересовалась целью своего существования. У ее сотрудников были дела поважнее: большинство из них слыли известными спекулянтами, и если кому-то нужно было, допустим, обменять царские рубли или керенки, что было строжайшим образом запрещено, этому человеку советовали пойти к кому-то из них. «Простых граждан расстреливают за такие спекуляции, — сказал нам известный бундовец 47, — но кто же посмеет тронуть чиновников? Все они заодно».

И все эти темные делишки, вытворяемые советской властью, ни для кого в городе не секрет, добавил он; ЧК же — это вообще банда душегубов. Все в ней поголовно вымогатели и взяточники, которые без зазрения совести заставляют арестованных платить им выкуп за свою жизнь. Если те не в состоянии это сделать, их просто расстреливают без суда и следствия, тогда как крупные спекулянты, приговорённые к смерти, преспокойно выходят на свободу, разумеется, если заплатят.

Есть у чекистов и другой способ обогащения — ложные расстрелы. Как, вы не знаете, о чём я? Родным некоего известного в определённых кругах человека сообщают, что его казнили, и пока семья скорбит, нежданно из ЧК приходит посланец, который говорит: дескать, произошла ошибка, их родственник еще жив, но спасёт его только определенная взятка, непременно огромных размеров. Конечно же, в такие минуты денег никто не считает: люди продают всё, что у них есть, залезают в долги, но находят нужную сумму, и деньги отдаются тому самому посланнику, после чего его больше никто и никогда не видит. Всё продумано: если кто-то пробует протестовать, его тоже арестовывают и обязательно расстреливают — теперь уже «за попытку подкупа ЧК».

Чуть ли не каждое утро грузовик, набитый обреченными на смерть людьми, уложенными лицами вниз со связанными руками и ногами, громыхал на огромной скорости по «Чекистской» улице в сторону пригородов. Для пущей уверенности над ними возвышались вооруженные караульные, а рядом с грузовиком скакали конные чекисты, стрелявшие в каждого, кто осмеливался посмотреть на эту печальную процессию, от которой вскоре оставался лишь узкий след колёс: лишь он мог поведать о последних минутах тех, кого отправили в распыл.

Через несколько дней этот же бундовец снова зашел к нам, но уже не один — с ним был его друг, которого он представил как доктора Ландесмана 48, сиониста и члена кружка, в который входили известный еврейский поэт Бялик 49 и другие видные лица. Мы, конечно же, знаем, что близится Рош ха-Шана 50, сказал доктор, и он приглашает нас отметить этот праздник в кругу его семьи. Мы ответили, что не знали о приближении еврейского Нового года, но всё же в достаточной степени евреи, чтобы принять его приглашение.

Дом, в котором жила семья Ландесман, располагался в очень красивом месте вплотную к бывшей частной клинике, превращённой теперь в санаторий. Здание стояло на высоком утёсе, и с одной стороны было укрыто зарослями деревьев и кустарников, а другой выходило к Черному морю, воды которого бились у подножия скалы. Мы явились к чаю, как и было условлено: у некоторых гостей не было разрешений пребывать на улице после наступления темноты, а в городе по-прежнему было военное положение.

Клиника Ландесмана считалась в Одессе лучшей, и большевики конфисковали ее под дом отдыха для рабочих; правда, там ни разу не побывало не то чтобы ни одного пролетария, но даже и ни единого простого партийца: сюда приезжали лишь высшие чины да их семьи, а сейчас тут лечился от серьезного «нервного срыва» сам глава ЧК Дейч 51.

«Как же вы лечите его?» — спросила я доктора. «Вы забываете, что у меня нет выбора, — ответил он. — К тому же я врач, а профессиональная этика обязывает меня никому не отказывать в медицинской помощи». «Какая буржуазная сентиментальность!» — усмехнулась я. «Возможно, но ей пользуется глава ЧК», — ответил он мне в том же духе.

Мы сидели на террасе; весело пыхтел самовар, небо перерезали голубые и фиолетовые полосы, а солнце золотым шаром катилось в воды Черного моря. В этом уютном, полном зелени уголке все страхи и страдания большого города казались такими далекими... «Как хочется, чтобы эта минута продлилась вечно! — подумала я. — Увы: вся наша жизнь — это только миг...»

Подошли новые гости, среди которых был и Бялик, коренастый, широкоплечий, похожий на преуспевающего торговца; его спутника, изящного худощавого человека с запоминающимся чувственным лицом, нам представили как известного специалиста по еврейскому вопросу, изучавшего погромы. Саша сразу же заговорил с ним, но прямо посреди беседы, когда уже начался обед, внезапно побледнел и, извинившись, стал вставать из-за стола. Мы с доктором Ландесманом подоспели вовремя: корчась от боли, Саша глубоко вздохнул и упал в обморок.

Доктор колдовал над ним целых полчаса, которые показались мне вечностью, и вот, наконец, мой друг, весь обложенный горячими грелками, очнулся. Он был очень слаб, и я рассказала Ландесману о его болезни и о том, что с тех пор, как мы уехали из Соединённых Штатов, Саша так окончательно и не поправился: во всём был виноват черный хлеб. По-другому объяснить причины его болезни я не могла — ведь на юге, где можно было достать ситник, он чувствовал себя заметно лучше.

Хозяева настаивали, что мы должны заночевать у них: а вдруг случится новый приступ? «Не вижу смысла, — неожиданно подал голос пациент. — Экспедиция должна возвращаться в Москву». Тогда доктор предложил, чтобы мы отправились дальше, оставив Сашу в Одессе для выяснения диагноза и наняв для него сиделку. Больной забылся, и я села рядом с ним, пристально вглядываясь в заострившееся лицо, такое же дорогое для меня, как и в день нашей первой встречи много-много лет назад. Что будет, если я потеряю его, да еще и в России? Я содрогнулась от этой мысли, ибо не могла даже представить столь печального исхода для своего друга и соратника, и, чтобы не думать о плохом, вернулась в гостиную, оставив Сашу в комнате.

Ужин подходил к концу — со стола уже убрали посуду, когда как ни в чём не бывало вошел широко улыбающийся Беркман и потребовал свою долю угощения: дескать, он зверски голоден и не позволит небольшому недомоганию встать между ним и кулинарным искусством госпожи Ландесман. Все так и покатались со смеху, лишь доктор заметил, что ему бы не стоило налегать на тяжелую пищу, но в ответ Саша с деланной строгостью отчитал его — мол, анархисту нельзя запретить есть то, что ему нравится. Я смотрела на него, а видела юношу, который тридцать лет назад заказывал бифштекс за бифштексом и галлоны кофе у Сакса в Нью-Йорке. Еще час назад он лежал пластом, а теперь не только с аппетитом поглощал пищу, но и успевал быть душой компании.

Остаток вечера Саша проговорил с той самой ходячей энциклопедией погромов: «Он всё-таки нашёлся!» — то и дело восклицал мой друг. Оказалось, что его собеседник побывал в семидесяти двух городах, собрав богатейший материал, и теперь со знанием дела утверждал, что при самостоятельных правительствах евреев преследовали гораздо сильнее, чем при царе, а с приходом большевиков погромы прекратились. Однако при этом он был согласен с киевлянами: большевизм укрепляет антисемитизм в массах, и однажды всё это прорвется наружу, вылившись в массовые убийства на почве мщения.

Саша горячо с ним спорил. Если убрать спекуляции на тему будущего, подчеркивал он, остаётся факт: большевики покончили с погромами. Разве это не указывает на искреннее стремление решительно покончить с ужасными симптомами запущенной болезни, если уж не удастся искоренить ее саму? Сашин визави возражал: большевики запретили евреям организовываться для самообороны, подозревая их в заговорах против советской власти, хотя они обратились за разрешением вооружиться именно для защиты от возможных нападений. Его поддержал Ландесман, которому запретили открывать еврейскую скаутскую организацию, хотя посредством таковой он собирался защищать не только евреев, но и вообще всех граждан от головорезов, наводнивших Одессу.

Тщательный осмотр выявил у Саши открывшуюся язву желудка; доктор предложил устроить его в санаторий, но мой друг отказался: «Дайте врачу возможность покопаться в ваших внутренностях и он, конечно же, найдет, что там что-то радикально не в порядке», — пошутил он: экспедиции пора двигаться дальше, и он должен быть со всеми. Сердечно поблагодарив семью Ландесман за гостеприимство — возможно, идейно мы были далеки друг от друга, но это были одни из самых человечных и доброжелательных людей, встреченных нами в России, — мы откланялись, поскольку возможность поиска нужных нам материалов в Одессе была исчерпана, и нам следовало уезжать.

Но куда? О Крыме можно было забыть: туда стекались врангелевские войска. Нас обещали подцепить к эшелону на Киев, который должен был уйти в ближайшие пару дней. Мы не ожидали такой удачи и ухватились за эту идею, хотя наша секретарь и Саша предлагали пока съездить в Николаев 52: там нас ждали ценные архивы, которые, возможно, надо было спасать. Кто-то по секрету сказал Шаколь, что туда вот-вот отправляется грузовик с солдатами, и Саши надеялись упрямить взять их с собой.

Шанс был невелик, но этих двоих было уже не остановить; я же с остальными членами экспедиции осталась в Одессе готовить вагон к отъезду в Киев. Мы вовсю мыли и чистили наше временное жилище, когда вошла молодая женщина, заговорившая со мной по-английски. Не представившись, она сказала, что знакома со мной по Штатам: вместе с мужем она-де ходила на мои лекции в Детройте, а, узнав, что мы в городе, пришла пригласить нас с товарищем Беркманом на чай. Она очень сожалела о том, что ее муж, так хотевший видеть нас, не сможет при этом присутствовать — он лежит в больнице; но это он отправил ее к нам с приглашением. Я ответила, что Беркмана нет, а у меня много работы, так что мы вынуждены отклонить ее приглашение, однако к больному я зайду непременно. «В России все позабыли о цветах, — сказала я, — а я с радостью принесу их вашему мужу».

И тут я спросила у посетительницы фамилию и адрес больницы. «Мой муж лежит в бывшем санатории Ландесмана, — ответила она, — его фамилия Дейч». Я подскочила, как ужаленная; женщина тоже встала, и несколько мгновений мы молча глядели друг на друга, пока ко мне, наконец, не вернулся дар речи. Указав на дверь, я приказала: «Уходите немедленно! Мы не хотим иметь ничего общего с вами и вашим мужем!» «Как вы смеете так разговаривать? — гневно возопила она. — Вы что, не знаете, кто мой муж? Он председатель ЧК!» «Вот именно, что знаю! И знаю достаточно, и именно поэтому не хочу даже дышать с вами одним воздухом. Уходите!»

Однако она не ушла, а совершенно бессовестным образом снова села и принялась укорять меня за то, что я вожусь с сионистами и буржуазией. Значит, я тоже стала контрреволюционеркой, кричала она, и предпочитаю этих бандитов ее мужу, своему соратнику, который горел на службе революционной России. Но ничего: Дейч заставит меня прийти, когда она расскажет ему, кем стала его учительница Э.Г. Я не мешала ей говорить: моя вера разбилась вдребезги, и потеря одного осколка не играла никакой роли — одним больше, одним меньше... У меня уже не было ни сил спорить, ни веры в то, что эта женщина поймет, сколь ужасную вещь теперь именуют революцией и какие чудовища ей служат.

Оба Саши вернулись на сутки позже, чем рассчитывали, и о встрече с женой всевластного чекиста я рассказала им, только когда наш поезд уже вышел из Одессы. А мои товарищи поведали о своем увлекательном путешествии в Николаев, оставившем в них неизгладимую память. Их машина то и дело проезжала через села, разорённые продразверсткой и большевистскими карательными экспедициями, а чекисты, охранявшие снабженцев, с которыми ехали Саша и Шаколь, вели себя, словно тираны в завоеванной стране, забирая всё, что могли унести — вплоть до последнего цыпленка с нищего крестьянского подворья. И всё время, пока они ехали в Николаев, навстречу им тянулись нескончаемые вереницы повозок с конфискованным зерном, которые под конвоем всё тех же чекистов направлялись в Одессу.

По дороге в Киев мы старались вести себя сообразно обстоятельствам, в которых очутились. Рынки по-прежнему были полны продуктов, но по сравнению с нашим предыдущим приездом цены чудовищно выросли, хотя мы не сомневались, что в Петрограде они будут просто запредельными, если там вообще будет хоть что-то купить, однако возвращаться с пустыми руками не хотелось. Да, мы понимали, что нас могут арестовать за спекуляцию, но желание облегчить чьи-то страдания было для нас выше страха и позора, потому что сомневаться в том, что в случае поимки нас ославят на всю Россию и даже за ее пределами, не приходилось. Ну, и пусть! В любом случае мы не сможем оправдаться — слишком уж неприкрыта наша неприязнь к большевикам; да и ради того, чтобы накормить голодных товарищей, можно стерпеть и ярлык спекулянта.

Но более всего я была обеспокоена здоровьем Саши: не успели мы отъехать от Одессы, как он снова слег, и на этот раз приступ был дольше и серьёзнее, так что черный хлеб и червивая крупа стали для него отныне настоящим ядом. Ради него я была готова преступить любой советский закон, особенно тот, что возводил доставку провизии для голодающего населения в разряд контрреволюции, и поэтому решила не обращать на это внимания, а запастись продуктами. Однако тут возникла новая сложность: ни один торговец не принимал советские дензнаки. «Что нам делать с этими бумажками? — вопрошали крестьяне и лавочники. — Рыбу в них заворачивать, что ли? Так и на это они не годятся, а на курево их у нас и так уже целые мешки». При этом царские рубли и керенки они все-таки принимали, но тоже нехотя, предпочитая мануфактуру, одежду и обувь.

Будучи в Знаменке 53, мы волей-неволей вспомнили Генри; нет, конечно же, мы не забывали о нем и беспокоились о его судьбе, но с тех пор, как его вырвали из наших рядов, у нас появилось слишком много забот, отбравших все силы. Мне без него было тяжелее, чем прочим: кроме того, что Алсберг был чудесным собеседником, он еще оказывал мне неоценимую помощь на кухне, поскольку из всей экспедиции готовить умела лишь я, и Генри частенько помогал мне, изощряясь в оладьях и блинчиках, в которых был большим докой. К тому же кулинарные опыты в приготовлении еды на семь персон, да еще и на примусе в тесном купе поезда, движущегося сквозь знойное украинское лето, были поистине пыткой, от которой время от времени меня избавлял добровольный помощник. В Знаменке эти приятные воспоминания ожили с новой силой, и я еще больше заскучала по нашему старому доброму Генри.

Против наших опасений, Киев поляки все-таки не взяли, но стояли уже на самых подступах к нему. Народ озлобился еще сильнее; все устали от постоянной смены власти и необходимости подлаживаться под каждую, хотя последняя из них, советская, пришла в город уже давно — даже те, кто ее на дух не переносил, смирились. Теперь же все ее представители готовились к эвакуации, и это никак не могло понравиться киевлянам. Однако в ревкоме никто ничего не знал, хотя любой случайный прохожий был в курсе событий; Ветошкина вообще не было на месте, а его помощник всё время переводил разговор на Одессу: «Товарищ Раковский 54, побывавший там, на все лады расхваливал одесситов», — сказал он, и когда мы заверили его, что их можно хвалить лишь за одно дело, доведённое до совершенства — за саботаж, его удивлению не было пределов: «Вы что, серьёзно? А Раковский устроил нам выволочку за то, что мы отстаём от Одессы!»

Советы никуда не денутся и останутся в городе, на все лады твердили комиссары, комиссаришки и комиссарчики, но при этом все советовали нам уезжать в Москву до того, как будут закрыты все пути. Саша договорился, чтобы наш вагон прицепили к одному из эшелонов, на следующий день отправлявшихся в северном направлении. Конечно, нас немного огорчало то, что мы так и не попали в Крым, но в сложившихся обстоятельствах вопрос об этом даже не стоял, а благодаря усилиям Саши, веселившего нас весь вечер, настроение немного улучшилось.

Рано утром нас с Шаколь вырвал из объятий сна громкий стук в дверь и возмущенные вопли моего друга, на весь вагон вопрошавшего, какого чёрта мы устроили столь идиотский розыгрыш. Ошеломленные, мы открыли купе и увидели Сашу, завернувшегося в одеяло. «Где моя одежда? — спросил он. — Я знаю: это вы, барышни, ее спрятали!» Наша секретарь не удержалась и расхохоталась — уж очень забавен был его вид, но спохватившись, вместе со мной уверила его, что мы не при чём. Расстроенный, Саша ушел к себе, но вскоре вернулся: оказалось, все его вещи, кроме портфеля с бумагами да некоторой суммы совзнаков, исчезли. Ночные гости поработали на славу, унеся всё подчистую — от браунинга, который вручил Саше секретарь Равич, до золотых часиков, подарка Фитци, висевших над изголовьем его полки. Видимо, вору был очень искусны, раз сумели экспроприировать эти вещи, не разбудив в вагоне ни единой души.

Сашину одежду тоже унесли, и ее прежний владелец, взяв взаимы самое необходимое из вещей у других мужчин, оделся и сел писать заявление о краже. Внезапно он бросил перо и расхохотался: «Ловкач, укравший мои штаны, останется ни с чем: деньги-то в потайном кармане, а его он никогда не найдёт!» Сначала я не могла понять, о чём он, но через несколько мгновений до меня дошло: Саша лишился всего — всех тысячи шестисот долларов, шесть сотен из которых я сама отдала ему накануне вечером (мои вещи, в том числе те, в которых я хранила наличность, сохли после стирки). «Чёрт возьми! — воскликнула я. — Нашей независимости пришёл конец!»

Во время всех наших скитаний по России и поисков себя единственным, что согревало мне душу, была материальная самостоятельность, то есть отсутствие необходимости выпрашивать подачки и стелиться перед теми, кто распределял блага, как это приходилось делать многим другим, страдавшим от голода и холода. Мы не шли на сделки с диктатурой пролетариата, ибо американские друзья снабдили нас средствами, достаточными для

сохранения самоуважения, а теперь всё это было потеряно. «И что нам теперь делать, Саша? — спросила я. — Что теперь с нами будет?» Он раздражённо ответил, что я больше забочусь об этих проклятых деньгах, чем о наших жизнях: если бы кто-нибудь пошевелился в тот миг, когда в купе вошли грабители, перестреляли бы всех. Он добавил, что никогда не думал, что я такая приземлённая, и вообще, его удивляет то, что первым делом я подумала о деньгах. «В том, чтобы отречься от всего, что досталось ему таким трудом, нет ничего забавного», — ответила я: для меня не было сомнений, что лучше быть застреленной бандитами, чем питаться из рук большевиков.

В ту злополучную ночь из-за жары я не могла заснуть, и несколько раз выходила в коридор подышать; Саша же оставил дверь приоткрытой, чтобы к ним в купе попадало хоть немного воздуха из окна напротив, и я подумала, что его следовало бы закрыть. Однако о том, что нас ограбят, никто даже не помышлял: наш вагон стоял на виду, прямо напротив здания вокзала, а мимо то и дело проходил патруль, так что опасаться стоило лишь за большой кусок свинины, висевший в сумке у окна — его бы точно стянули, но в Петрограде. В Киеве же, очевидно, более вожделенной добычей была одежда; но то, что вором, по всей видимости, был кто-то из железнодорожников, не вызывало сомнений: он смог проникнуть в наш вагон, а это было невозможно без сговора с караульными. В общем, все ниточки вели к нашему проводнику, который в последнее время вёл себя весьма странно.

Саша настаивал, что мы должны постараться вернуть украденные вещи или хотя бы деньги, но, пока он ходил за милицией, наш вагон перегнали на запасной путь. Это представлялось вполне обычным делом, но оказалось, что из-за этого ищейка, которую привели вызванные Сашей милиционеры, не смогла взять след: всё забил своим запахом паровоз. Не желая сдаваться, Саша вместе с товарищами по несчастью принялся обследовать местные рынки в надежде, что его брюки будут продавать, но воры были очень осторожны и никак их не выставляли на продажу. Тогда Саша договорился с местными парнями, чтобы те весь следующий месяц ходили на рынок и, обнаружив его штаны, выкупили их за любую цену. «Не волнуйся, — не уставал он успокаивать меня, — потайной карман они ни за что не найдут». Ах, как бы мне хотелось разделять уверенность моего неугомонного друга!

В Брянске нас встретили радостные вести о полном разгроме Врангеля; было странно слышать, как главным героем этой победы, больше всех в нее внёсшим, объявляли Нестора Махно, которого еще вчера называли контрреволюционером, бандитом и врангелевским же пособником, назначив за его голову крупную награду. Мы недоумевали: что заставило большевиков внезапно изменить линию, и как долго продлится эта мировая? Ведь вождя повстанческой армии и превозносил, и приговаривал к смертной казни сам Троцкий!

Увы, нашу радость омрачили печальные новости: в одной из газет мы прочли извещение о смерти Джона Рида. И Саша, и я очень его любили, и восприняли его кончину как личную потерю. В последний раз мы виделись год назад после его возвращения из Финляндии; он жил в Питере, в гостинице «Интернационал», и был очень болен, а заботиться о нём было некому. Я нашла его в ужасном состоянии: с распухшими руками и ногами, покрытым язвами телом и страшными струпьями на губах — последствиями цинги, которую он заработал в тюрьме. Но еще сильнее были его душевные страдания: финским властям беднягу Джона сдал матрос-коммунист, посланный Зиновьевым с ним. Все ценности, включая уникальные

документы и крупную сумму денег, которые Рид вёз в Америку, достались тем, кто его схватил, а поскольку это была уже вторая подобная неудача, Джон принял всё слишком близко к сердцу.

Я выхаживала его две недели. В конце концов, ему стало лучше, но он по-прежнему сильно переживал из-за методов Зиновьева и его коллег, бросавших товарищей в беде. «Бессмысленно и безрассудно», — приговаривал Джон, которого и самого дважды отправляли ловить призраков, даже не подумав о том, есть ли хоть один шанс их поймать. Но Рид хотя бы мог позаботиться о себе и шел на это сознательно; к тому же он был американцем, и потому рисковал значительно меньше русских парней. Простых коммунистов без счета приносят в жертву во славу Третьего Интернационала, жаловался он. «Но, может быть, в этом состоит революционная необходимость? — возражала я. — Разве не так оправдывают это твои друзья?» Он признался, что прежде тоже верил в это, но теперь стал сомневаться: почему-то те, кто использовал подобные методы, сами неизменно пребывали в безопасности, и это было слишком заметным, чтобы умалчивать о нём.

В Москве мы узнали о приезде Луизы Брайант, жены Рида. Если бы не случившееся, я бы не стала искать с ней встречи: зная ее много лет, еще до того, как они с Джоном сошлись, я считала ее милым и живым, но неглубоким созданием. Когда нас судили, Джон делал для нас всё, что мог, а она, видимо, боясь того, что накануне выезда в Россию наше знакомство может ей помешать, усердно нас избегала. Теперь же всё это не имело значения, и об этом можно было бы и позабыть, но как-то моя племянница Стелла прислала мне в тюрьму Миссури ее книгу о русском анархизме. Прочитав ее, я не на шутку разозлилась: оказывается, по мнению Луизы Брайант, пресловутый декрет о национализации женщин издали анархисты! Мало того, что в своей книжонке она повторила эту откровенную глупость, не представив совершенно никаких доказательств — она не сделала этого и в ответе на моё гневное письмо! Тогда-то я и решила, что не хочу больше иметь никаких дел с человеком, опустившимся до уровня тех, кто стряпает столь же примитивную клевету в адрес большевизма.

Однако после пережитой ею страшной потери всё изменилось, став далёким и ничтожным, и я пришла к ней с открытым сердцем. Она долго плакала в моих объятиях, и я не мешала ее слезам, а потом, немного успокоившись, она стала говорить. С невероятными трудностями — однажды ей даже пришлось переодеваться матросом — она пробралась в Россию, но, прибыв в Петроград, узнала, что Джона только что отправили на Съезд народов Востока 55 в Баку. Она немедленно пошла на поклон к Зиновьеву, умоляя его вернуть Джона, еще не полностью оправившегося после финских злоключений, но руководитель Третьего Интернационала был непреклонен: Рид должен представлять на этом съезде американскую компартию. В общем, в Баку Джон приехал уже в тифу, а в Москву, где его ждала Луиза, его привезли смертельно больного.

Я пыталась успокоить ее, приговаривая, что в столице его наверняка окружили заботой, но Луиза лишь горько усмехнулась в ответ — не было сделано ровным счетом ничего! Более того, в бесполезных консилиумах была потеряна целая неделя, после чего пациента перевели под надзор некомпетентного врача; да и вообще в той больнице никто и представления не имел об уходе за тифозными больными. Только после долгих споров

Луизе позволили самой ухаживать за Джоном, но он уже доживал свои последние часы, постоянно находясь в бреду и даже не осознавая, что рядом его невеста. «Он хоть что-нибудь говорил?» — спросила я. «Да, только я не могла понять, что он имеет в виду, — ответила Луиза. — Он всё время повторял: „попал в западню, попал в западню“, ничего больше». «Он действительно произносил именно эти слова?» — изумлённо воскликнула я. «Да, но почему ты спрашиваешь?» — в ожидании ответа Луиза крепко сжала мою руку. «Просто я сама чувствую то же самое! Да, именно так — я попала в западню!» Сам ли Джон понял, что с его божком не всё в порядке, или его осенила приближающаяся смерть? О, эту даму не обманешь — она срывает покровы, обнажая всю правду.

Назавтра мы должны были возвращаться в Петроград с отчетом для Музея революции, но Луиза умоляла нас задержаться на похороны: ей было одиноко, она чувствовала себя брошенной, а ее единственными друзьями в этой стране были мы. Теперь, сказала она, когда Джон умер, она перестала интересоваться большевиков, и ей уже дали это понять. Я ненавидела похороны, но пообещала ей остаться и помочь, добавив, что, если Саша сумеет упросить остальных участников экспедиции отложить отъезд хотя бы на день, то придёт и он.

Луиза передала мне записку от Алсберга. Оказалось, с помощью сопровождавшего его охранника Генри все-таки сумел избежать тюрьмы: тот отвёл журналиста не в ЧК, а в Наркоминдел, и Нуортева 56, немедленно переговорив с чекистами, добился освобождения узника. Если бы не счастливый случай, писал Генри, сидеть бы ему и сидеть: чтобы выволить кого-нибудь из цепких лап ЧК, понадобилось бы несколько месяцев. Однако нашего приезда он не дождался — уехал в Ригу, собираясь вернуться весной; при этом деньги, которые мы дали ему с собой во время ареста, он оставил Луизе. Тогда мы сокрушались, что двухсот долларов будет мало, теперь же они показались нам огромным богатством — с их помощью мы хотя бы несколько месяцев останемся такими независимыми, какими были до печального случая с Сашиними штанами.

Всё время пребывания в экспедиции мы не получали никакой почты, и вот в Наркомате иностранных дел наша старая соратница Этель Бернштейн вручает нам внушительную стопку корреспонденции из Америки. Какое счастье! Но что это? Меж писем я вижу какую-то газетную вырезку; судя по шрифту, это чикагская Tribune... Да, так оно и есть — это статья Джона Клейтона, в которой чёрным по белому написано, что «... Э.Г. молится на висящий на стене американский флаг, ибо хочет вернуться в Штаты». По словам автора статьи, я жалею ему на большевиков и их отношение ко мне. М-да... «Конечно, здесь никто не верит этой гадости, — сказала Этель. — Но тебе всё же лучше зайти по этому поводу к Нуортеве».

Тот, о ком она говорила, заведовал отделом стран Антанты и Скандинавии, и я не понимала, почему мне нужно заходить именно к нему, да и вообще должна оправдываться. Однако я была противна сама себе: ведь это же я поверила, что Клейтон честный, достойный и заслуживающий доверия человек — не в пример прочим американским репортёрам, осаждавшим меня в России. Может быть, это не его статья, а пасквиль, подписанный его именем, но без его ведома? Но упомянутый в статье флаг действительно существовал — однажды Джон Рид в шутку приклеил эту эмблему на фотографию Фитци, висевшую у меня на стене, которую я забыла снять. Невинная дружеская подначка, превратившаяся в

фантастическую ложь — это было поистине тошнотворно; а эти мои жалобы на режим? В разговорах с Клейтоном я вообще этой темы не касалась! В общем, решила я, пусть советские люди верят во всё, что им заблагорассудится, но от меня никаких объяснений они не получают.

Тем не менее, Нуортева принял меня очень учтиво и тоже передал мне большую стопку писем. Он не стал касаться истории с Клейтоном, поэтому промолчала и я. Впрочем, он говорил лишь о предмете собственной гордости — первом советском паспорте, выданном на его имя и официально предъявленном им правительственным чиновникам США при выезде. Меня приятно удивила тактичность советского чиновника и его искренняя готовность помочь мне хотя бы с получением корреспонденции.

С ней я и поспешила в наш вагон, дабы предаться чтению — меня ожидала встреча с письмами от Стеллы, Фитци и множества наших друзей, радовавшихся тому, что мы, наконец, нашли себе дело по душе. В некоторых посланиях, датированных последними, были вырезки с разными статьями Клейтона, среди которых более всего меня поразило моё же собственное письмо к Стелле — я давала его Джону Риду, который должен был отправить его адресату, но лишился его в Финляндии при аресте. Перечитав эту, с позволения сказать, заметку, я поняла, что меня смущает: оказалось, редактор газеты превратил мое письмо Стелле в любовное послание Джону Риду! «Бедная Луиза! Как же мало ей известно о том, что у нас с Джоном, оказывается, был роман!» — усмехнулась я, рассказав эту историю Саше.

Московские товарищи поведали нам о свирепых облавах, прокатившихся по столице в начале октября; среди тех, кто угодил в лапы чекистов, оказалась и многострадальная Мария Спиридонова, которую, несмотря на тиф, всё равно арестовали и поместили в тюремный госпиталь. О, славная Маруся, великая, бескорыстная душа! Несть конца твоим страданиям!

Фаня и Арон Бароны, бывшие тогда в Москве, рассказали нам о том, как Нестор Махно снова обрёл расположение властей: красные войска не могли сдержать натиск Врангеля, и большевики обратились за помощью к вожаку повстанцев. Тот согласился помочь, но с условием: все анархисты и махновцы будут выпущены из тюрем, а советское правительство позволит им провести съезд. В качестве тех, кто должен был закрепить это соглашение на бумаге, Махно назвал меня и Сашу, хотя нам с ним об этом никто не сказал; тем не менее, большевики согласились на требования Нестора и действительно отпустили нескольких его повстанцев и наших соратников, а также дали добро на проведение съезда, который было решено организовать в Харькове, куда уже отправились Волин и другие анархисты, готовясь к прибытию делегатов со всей страны.

Над Москвой висело серое небо, монотонно сыпя дождём, который навевал безысходную грусть и размачивал искусственные венки, явно уже не раз выполнявшие свою печальную службу — так мы прощались с Джоном Ридом. Такой же серой и унылой была огромная Красная площадь, на всём пространстве которой не было ни единого светлого пятна, и это на похоронах человека, выше всего ценившего многообразие жизни! Напыщенные словоизлияния наполнились утверждениями о безвременно ушедшем товарище, но каждая

фраза выходила как под копирку — слишком громко и безжизненно; лишь Александра Коллонтай сумела найти те простые слова, что как нельзя более подходили кипучей натуре Джона и наверняка понравились бы ему, буде он мог их услышать. Как раз во время ее речи гроб стали опускать в могилу, и Луиза упала в обморок, так что Саше и прибывшему недавно доктору Вовшину пришлось нести ее на руках до самого автомобиля, выделенного нам Нуортевой.

В питерском Музее революции нас встретили как героев — мы не только вернулись живыми и относительно невредимыми, но и привезли целый вагон материалов огромной исторической ценности. Нас наперебой уверяли, что мы будем вознаграждены сторицей, ну, а пока всё, что может сделать для нас музей, — это дать нам месячный отдых. Оказалось, пока мы разъезжали по России, нас зачислили в штат, и теперь, как радостно заверили нас Ятманов и Каплан, нам не нужно искать работу: через месяц мы отправляемся в новую экспедицию, маршрут которой мы выберем сами. Возможностей для этого предостаточно: Крым, недавно полностью очищенный от войск Врангеля, или Сибирь, где, наконец, разбили войска Семенова и Колчака; в общем, куда бы мы ни направили стопы, нас ждёт невероятное количество материала, который, вне всяких сомнений, обогатит собрание музея.

«Только не в Сибирь зимой!» — поехали наши русские коллеги; нам тоже не улыбалось такое путешествие, хотя мы помнили о приглашении Краснощекова посетить его Дальневосточную республику. Хорошо, что принятие окончательного решения можно было отложить, потому что, по словам директора музея, «... всем нужен отдых, в особенности Александру Осиповичу и Эмме Абрамовне», как он окрестил нас с Сашей.

До отъезда, не зная, как всё повернётся, мы решили все-таки пойти в жилотдел и выбить себе комнаты; замаячившая на горизонте новая экспедиция заставила нас отложить этот поход: за месяц мы вряд ли сумели бы чего-то добиться. Можно было пока пожить в вагоне, но близилась зима, и его нужно было обогревать, да и добираться до города было долго и тяжело. Равич предложила нам перебраться в гостиницу «Интернационал», бывшую пристанищем редких на то время иностранных гостей. Цены были вполне божеские: за комнату и стол нужно было отдавать всего-то около пятнадцати долларов в месяц, и к тому же там всегда было чисто, и имелась возможность принимать ванну. Это был первый в России парадиз для простых смертных, не принадлежащих к числу коммунистов, и мы с радостью приняли это предложение.

Музейные материалы не считались контрабандой, однако продукты, которые мы привезли, вполне могли наделать нам неприятностей. Поэтому, хотя мы могли свободно ходить по вокзалу, не вызывая при этом подозрений, нам потребовалась неделя и четыре помощника, чтобы перенести все припасы на квартиру одного из них. Там мы распределили всё по пакетам и отправили продуктовые наборы больным товарищам и тем, у кого были дети, нуждавшиеся в жирах и сладостях. С моей стороны было бы неприкрытым эгоизмом оставить себе достаточно крупчатки, чтобы Саше не пришлось мучиться с чёрным хлебом, но я всерьёз намеревалась это сделать; теперь же, в ожидании новой поездки, этот вопрос стоял уже не так остро, и я с радостью раздала всю муку, которая стала лишней, но могла помочь еще нескольким людям.

Наши планы отодвинулись на неопределённые сроки: ни в Крым, ни в Дальневосточную республику мы не поехали, а вместо этого отправились в Архангельск, «чтобы закрыть год», как выразился Ятманов. Впрочем, мы не огорчились: эти края были одним из центров интервенции, в которой принимала участие и моя бывшая страна, так что я даже обрадовалась представившейся возможности изучить ее отвратительную роль в этом постыдном деле.

В суровые северные края мы поехали уже втроём (супруги предпочли остаться у тёплой питерской печки, а юноше-коммунисту пора было приступить к занятиям на рабфаке), сделав по дороге в Архангельск остановки в Ярославле и в Вологде, которые были центрами контрреволюционных заговоров. Однако ни в первом из них, где когда-то начинал свои плутни Савинков, пролив много крови и отправив в тюрьмы тысячи людей, ни во втором, волею судеб ставшем штабом американских кукловодов, прежде всего посла Фрэнсиса, ничего особенно ценного для музея мы не обнаружили.

Прибыв в Архангельск, стоявший в самом устье Северной Двины и отделённый ею от железнодорожной станции, мы узнали, что такое пятидесятиградусный мороз. Яркое солнце и сухой, бодрящий воздух делали его вполне приемлемым — в отличие от вечной питерской промозглости. Моя заботливая племянница Стелла во время нашей последней встречи почти насильно сунула мне в руки шубу. Я прежде никогда не надевала ее — боялась, что неведомый зверь, из которого ее пошили, оживёт и станет по мне ползать, но перед отъездом все советовали мне непременно запастись тёплыми вещами, и на всякий случай я взяла ее с собой. Однако оказалось, что моего старенького велюрового пальто, надетого на свитер, вполне хватает, а на солнце — так даже жарко.

Улицы Архангельска были прямы и чисты — для нас, привыкших к тому, что в России всё обычно совсем наоборот, такое было в новинку; но, как оказалось, это было лишь начало целой череды приятных неожиданностей. Наши удостоверения, от которых на юге презрительно отмахивались, здесь стали волшебной палочкой, открывавшей нам двери любых учреждений; чиновники всех мастей, начиная с самого председателя исполкома, немедленно откладывали дела и рвались помогать нашей экспедиции, прилагая все усилия, чтобы сделать наше пребывание в их городе незабываемым.

Так оно и вышло: все ответственные посты в Архангельске были заняты людьми, которые относились к своей работе как к делу жизни, а не скучной обязанности. Они, в отличие от «центра» понимали, что советскую власть невозможно заставить полюбить, тем более, одними грубостью и принуждением, и потому неустанно искали для этого иные способы. Организовав честное распределение пайков, они уничтожили спекуляцию продовольствием. Открыв кооперативные магазины, где покупатели были окружены вниманием и вежливостью, они избавили свой город от унижительного и изнуряющего стояния в очередях. Кроме того, во всех местных инстанциях с посетителями разговаривали дружелюбно и уважительно; и пускай это не превратило всех архангелогородцев в последователей Маркса и Ленина, но к власти здесь относились с искренним уважением. Простые люди признавались нам, что большевики сумели добиться успеха в построении отношений с населением благодаря тому, что взяли пример с американцев, стоявших в городе; что ж, если это действительно было так, то ученики оказались очень способными:

саботаж, бесхозяйственность и неразбериха, эти ставшие притчей во языцех черты советской жизни, в Архангельске отсутствовали.

Местные жители, суровые, как нам казалось, дети Севера, отличались от виденных нами прежде русских каким-то совершенно непривычным в Советской России уважением к человеческой жизни и признанием ее высшей ценностью человека. Так, например, нас до глубины души поразило то, что бывших монахинь и монахов, белых офицеров и представителей буржуазии здесь не поставили к стенке, а заняли полезными делами. Заикнись мы о чём-то подобном где-нибудь в ином городе, нас немедля записали бы в подозрительные личности, если не сразу в отпетые контрреволюционеры; здесь же такой подход не только спасал сотни жизней, но и давал стране дополнительных работников.

Не то чтобы в Архангельске не было ЧК, а смертную казнь отменили — вряд ли бы диктатура обошлась без них; однако здесь у чекистов не было той безграничной власти, которую они присваивали в других городах, становясь государством в государстве и посвящая себя исключительно террору и мщению. Несмотря на все зверства белых, никто не оправдывал революционной необходимостью их беспощадное истребление, хотя на Севере пытали и казнили не только большевиков, но и сочувствующих, вырезая порой целыми семьями. Не было ни единой семьи, не пострадавшей в борьбе за революцию: например, Кулаков, председатель исполкома, лишился всех родных: беляки не пожалели даже его младшую сестру, которой было всего двенадцать лет.

Как сказал нам руководитель местного отдела образования, «...мы, конечно же, не боролись со злом в белых перчатках — нет, мы сражались, и сражались отчаянно; но, обратив врага в бегство, мы не стали преследовать его, полагая, что месть в любом виде принесёт с собой лишь ненависть. Поэтому мы начали строить новое из хаоса, который оставили после себя белые, стараясь при этом сохранить жизни как можно большему числу пленных и перевоспитать их».

«И все ли были согласны с такими „сентиментальными“ методами?» — удивленно спросила я. «Конечно же, нет, — ответил он. — Многие настаивали на самых жёстких мерах; более того, есть такие, которые настаивают на этом до сих пор, напирая на то, что нам придется дорого заплатить за реформистский, по их мнению, подход к контрреволюционерам». Однако, продолжал наш собеседник, здравый смысл одержал верх и вскоре был подтверждён опытом: даже бывших белых офицеров можно использовать в различных отраслях деятельности. Некоторые стали учителями, и теперь заняты важным и полезным делом; так же устроилось и в других областях, и даже такие тёмные и забытые элементы, как монашки и монахи, отозвались на доброе к себе отношение. Это была вовсе не сентиментальность — это был деловой подход: идеи не властвуют над жадной жизни, а рабы божьи подвержены действию этого закона природы так же, как и все обычные люди. Они поняли, что если станут плести заговоры после выселения из монастырей, то будут расстреляны, а отказавшись работать, обрекут себя на голодную смерть. Поэтому они сами вызвались сотрудничать, и теперь каждый может убедиться в том, что мы вновь оказались правы — для этого достаточно побывать в школах, детских садах или кружках.

Мы так и сделали, причём приходили без предупреждения, однако в любом из этих учреждений всё неизменно было организовано выше всяких похвал. Я разговаривала с несколькими работавшими там монахинями, многие из которых прожили затворницами по четверти века. Мысленно они по-прежнему были в своих обителях, не понимая ничего из того, что происходило вокруг, но поражали искусностью своей работы, будь то гончарство или земледелие, иллюстрации к детским книгам, или декорации для школьного театра, или что-либо еще. Беседовала я и с исключительного дарования мастеровыми и резчиками по дереву, арестованными в своё время за участие в контрреволюционных заговорах. Один из них сетовал, что зарабатывает меньше, чем прежде, но ему сохранили жизнь и позволили заниматься любимым делом, а «...боле мне и не надо ничего», заключил он.

Через несколько дней мне представился случай познакомиться с бывшим белым офицером, который теперь считался одним из лучших учителей. Он честно признался, что не одобряет диктатуру, но теперь понимает, что интервенция была безумием и преступлением: союзники наобещали России с три короба, но добились лишь того, что она была раздроблена. Да и сами иностранные солдаты были совсем разными — например, американцы, как он высказался, вели себя достойно: ни с кем не сталкивались, не бродили по ночам, делились с местными продуктами и одеждой, а перед уходом вообще раздали их людям просто так. Совсем по-другому вели себя англичане: солдатня приставала к женщинам, надменные офицеры со всеми обращались по-хамски, а генерал Роллинз перед отходом британских судов приказал затопить все неизрасходованные запасы в открытом море. В общем, наш новый знакомец нахлебался интервенции досыта, и теперь с удовольствием предавался любимому занятию — учил детей.

Примерно так же думали и говорили многие люди, представлявшие самые разные политические течения — почти все они были согласны с тем, что проводимая советской властью политика перевоспитания разумна и успешна. Иными словами, никого не преследовали за прошлое, и даже более того — всем давали возможность проявить себя в настоящем.

На Севере мы собрали немало ценных документов, в том числе несколько подпольных изданий революционного и анархистского толка, выходивших и при царе, и во время оккупации. Глубочайшее впечатление произвела на меня предсмертная записка некоего матроса, приговоренного интервентами к расстрелу, с подробными описаниями пыток, которым его подвергли британские офицеры, чтобы выбить нужные сведения. Были там и фотографии людей, изувеченных контрреволюционерами, а Саше удалось пожить у самого Бечина, главы местных профсоюзов. Временное правительство назначило его козлом отпущения за всё рабочее движение Севера: за государственную измену он был приговорён к тюремному заключению в страшной тюрьме Йоканьга за Полярным кругом 57; с самого ареста он вёл дневник, который после настойчивых уговоров согласился передать в музей.

В Архангельске было столько всего, что мы задержались здесь на две недели сверх отведённого на этот город времени. Нам очень не хотелось расставаться с новыми друзьями, но нужно было еще побывать в Мурманске, а наши удостоверения действовали только до конца года, поэтому, сердечно со всеми попрощавшись, мы тронулись в путь. Однако всего в трёх днях пути от цели нашего путешествия нам пришлось повернуть

обратно: дороги замело, и мы двигались со скоростью улитки, то и дело выскакивая из вагона, чтобы расчистить очередной сугроб величиной с хорошую гору.

В следующий раз мы попали в подобный переплёт уже всего в пятидесяти милях от Петрограда — невероятная метель слепила нас и секла мелкими льдинками; к счастью, у нас было полно еды, да и топлива хватило бы на несколько дней. Поэтому мы решили подождать, когда стихия натешится и успокоится, тем более, что ничего другого нам всё равно не оставалось.

Застрали мы в аккурат накануне Рождества, и Саши устроили мне настоящий праздник. Они раздобыли где-то крошечную ёлочку и украсили ее разноцветными свечками, весело освещавшими наше купе; Америка, точнее, мои американские подруги обеспечили подарки, которые мы получили еще до отъезда, а довершал эту идиллию самый настоящий грог, на который пошел ром, подаренный нам в Архангельске.

Мне невольно вспомнилось прошлое Рождество, когда я, Саша и множество других людей, названных моей негостеприимной страной «нежелательными персонами» уплыли в неизвестность на дряхлом «Бьюфорде». Нас оторвали от семей, от друзей, от работы; мы находились в руках врагов, нас душили муштрой и пытали скверными харчами, а наших мужчин еще и держали в трюмах, словно скот. К тому же в любой миг наше корыто могло наскочить на одну из расставленных по Балтике мин, но нам было все равно: нас манила Советская Россия. Мы заново рождались на свет, теперь уже свободными; наши надежды не знали границ, наша вера пламенела над миром, и все наши помыслы были только о России-матушке.

Рождество 1920 года приближалось. Мы находились в России, только-только начавшей успокаиваться после всех этих пронесшихся по ней штормов и ураганов; ее многострадальная земля в парадном зимнем убранстве любовалась расцветенным разноцветными огнями небом. В доме на колесах было тепло и уютно, рядом были старый приятель и новая подруга, оба в праздничном настроении, и я очень хотела разделить их веселье, но увы, мыслями я по-прежнему была в 1919-м — уходящий год разбил все надежды, развеял в прах пылкие мечтания, потушил огонь веры, заглушил песню...

Мы добрались до Петрограда и застали самый разгар начавшихся в октябре минувшего года и продлившихся вплоть до самого начала Восьмого Всероссийского Съезда Советов дебатов по поводу того, как быть с профсоюзами. Ленин заявил, что профсоюзы должны стать школой коммунизма, и Троцкий, полагавший необходимостью милитаризацию труда и полное подчинение профсоюзов государству, вместе с Коллонтай и учёным-марксистом Рязановым вынуждены были капитулировать перед авторитетным мнением Ильича. Тот отнёсся к оппонентам с откровенным презрением: Троцкий-де не знает Маркса, Коллонтай еще не созрела политически, а Рязанову вообще запретили на полгода делать какие-либо публичные заявления: он-де не понимает, о чем говорит.

Шум подняли всё та же Коллонтай и старый большевик Шляпников, выступившие от имени рабочей оппозиции. Они настаивали на том, что революцию совершили рабочие, и потому всему миру нужно показать, что подлинная диктатура, которая существует в России, — это

диктатура самого пролетариата, но вместо этого трудящихся лишают их прав и не дают им участвовать в экономической жизни страны.

Двое рабочих лидеров действительно говорили от имени всех своих соратников, и зарождавшаяся буря угрожала партии невиданным расколом. Нужно было что-то предпринять, и Ленин вновь оказался на высоте, высмеяв еретиков, посмеявших высказаться подобным образом, и назвав их «мелкобуржуазными идеологами». Вскоре оппозиция умолкла: брошюра Коллонтай была запрещена, а сама она получила серьезное дисциплинарное взыскание; Шляпников же оказался трусом и тьюфяком, и ему попросту заткнули рот, введя в состав исполкома и отправив в отпуск, в котором он давно не был.

Мы же тем временем готовились к третьей экспедиции, на этот раз точно решив ехать в Крым; однако в последний момент весь план был безжалостно похерен: Истпарт 58, новообразованный коммунистический орган, который должен был заниматься сбором материалов по истории РКП(б), довольно грубо извещал Музей революции о том, что отныне всеми поездками будет заниматься он, равно как и возглавлять их, и распоряжаться нашим вагоном; впрочем, Музею революции милостиво разрешалось отправлять в будущие экспедиции отдельных работников, но уже по линии Истпарта.

Твердую руку новой инстанции ощутили на себе все работники музея, расценившие это вмешательство как сознательную попытку ограничить их самостоятельность и сузить поле деятельности. Даже комиссар Ятманов, большевик до мозга костей, нелюбезно выразился о партийных фанатиках, алкавших полного контроля над всем и вся, и заявил, что сдаваться без борьбы нельзя; посему он незамедлительно займется этим делом здесь, в Петрограде, а нам надлежит отправляться в Москву, где Саша должен встретиться с Зиновьевым, а я — поговорить с Луначарским, поскольку именно они были секретарями Петроградского Музея революции. Решение Истпарта вообще было посягательством на Зиновьева: он управляет Петроградом и, вне всяких сомнений, будет взбешён; да и Луначарский, возглавляющий всю культурно-просветительскую работу в России, не потерпит подобного вторжения в свою вотчину, заверил нас Ятманов.

Мы сомневались в успешности этого предприятия, но все-таки согласились ехать в Москву, особо оговорив, что в случае неудачи не станем более сотрудничать с музеем, как бы ни тяжело дался нам этот шаг. Нам было слишком хорошо известно, что значит постоянно ощущать присутствие комиссара, контролирующего все твои действия и передвижения — только самодурство, наущничество, междоусобицы, и никакой работы. Мы до сих пор и отказывались от всех предлагаемых нам должностей, даже самых высоких, именно потому, что не хотели подобной опеки.

Зиновьев действительно возмутился попытками московской организации подмять под себя питерский музей и вмешаться в составленную лично им программу работы учреждения. Он написал черновик гневного письма товарищам из Истпарта и отдал Саше для доработки. В нём говорилось, что Музей революции не вторгнулся на территорию Истпарта, а наметил собственный план работы, ни в коем случае не соперничая в этом с созданным в Москве органом. Сам же Зиновьев, как глава исполнительного комитета Петроградского музея, не потерпит произвола и, если Истпарт будет упорствовать в своем самоуправном решении,

готов поднять этот вопрос перед самим Лениным.

Луначарский тоже разозлился на «дураков, стремящихся заграбастать все культурные начинания», и пообещал, что будет сопротивляться подобной тактике. Однако вскоре я убедилась в том, что на самом деле у него нет никакого влияния: реальной же властью в Народном комиссариате просвещения был Покровский, старый большевик, который и был основателем Истпарта; Луначарский же выполнял обязанности руководителя Наркомата чисто номинально, а партия просто использовала его якобы широкую известность в Европе, где он жил много лет и был вхож в культурные круги.

Найти жилье в Москве всегда было непросто, но нам снова повезло: от малоприятных поисков крыши над головой нас спас наш добрый ангел — Анжелика Балабанова, только что возглавившая русско-итальянское бюро. Эта организация заняла здание, принадлежавшее ранее какой-то иностранной компании, и теперь в нём жили и работали сотрудники бюро, а в двух свободных комнатах поселили и нас с Сашей.

Как мы и предполагали, все наши попытки повлиять на судьбу Петроградского музея оказались тщетны: на каждом шагу нам противостояла неповоротливая, но мощная машина советской бюрократии; из Питера же то и дело требовали отчета, и мы решили вернуться, однако, уже купив билеты на поезд, узнали, что Кропоткин слёг с пневмонией. Это был тяжёлый удар: мы были у Петра в июле и нашли его в добром здравии и хорошем расположении духа; нам показалось, что после нашего мартовского визита он даже помолодел, а живо блестящие глаза говорили о том, что он чувствует себя неплохо.

Под летним солнцем дом Кропоткина выглядел весьма мило, а буйно цветущие клумбы и грядки Софьи радовали глаз. Петр всегда с гордостью отзывался о своей спутнице жизни и ее талантах садовода, а на этот раз с каким-то мальчишеским восторгом даже взял нас за руки и подвёл к грядке, на которой Софья высадила какой-то невиданный салат, ставший ее стараниями размером с капусту. Он тоже копался в огороде, но именно Софья, настаивал он, была настоящим гением сельского хозяйства: выращенного ею картофеля не только хватило до весны, но еще и осталось — корове на корм и в помощь соседям, у которых овощи не уродились. Наш товарищ радовался этим огородным успехам так, как будто это были события мирового значения, и мы невольно прониклись бодростью Петра, воспрянувший дух которого снова нёс миру желание жить.

Днём же, расположившись в кабинете, он опять становился ученым и мыслителем, ясным и глубоким в своих суждениях о людях и событиях. Мы обсуждали диктатуру, ее методы, как оправдываемые революционной целесообразностью, так и те, что были изначально заложены в самом большевизме. Я хотела, чтобы Петр помог мне понять, что происходит, и спасти мою веру в революцию и в людей, и он терпеливо, с нежностью, как больного ребенка, старался успокоить меня, убеждая, что для отчаяния нет причин. Он уверял, что мне следует всего-то научиться различать революцию и власть: они находились по разные стороны, и бездна между ними день ото дня становилась всё шире. Русская революция была куда как масштабнее и значимее для мира, чем французская: она настолько глубоко перепахала жизнь, что никто не смог бы предвидеть, насколько богатым окажется урожай, который человечество соберет в результате. Большевики, безоговорочно

придерживавшиеся идеи централизованного государства, были обречены на то, чтобы вести революцию неверным путём, но их целью было политическое господство — они уже превратились в иезуитов социализма, оправдывая ради достижения своих целей любые средства. При этом их методы парализовали волю народа и пугали людей, без участия которых в воссоздании страны невозможно добиться каких-либо успехов.

Наши же единомышленники, продолжал Кропоткин, никогда не уделяли должного внимания основам социалистической революции. Основопологающим фактором такого переворота была соответствующая перестройка экономической жизни страны, и революция в России показала, что к этому мы должны готовиться. Кропоткин пришел к выводу, что синдикализм мог бы стать тем, в чём Россия нуждалась больше всего — вехой на пути промышленного и экономического возрождения страны. Он был уверен в том, что именно это спасёт будущие революции от ужасных ошибок и испытаний, выпавших на долю России.

Всё это живо пронеслось в моей голове, когда мы получили печальные известия о болезни Кропоткина. У меня и в мыслях не было ехать в Петроград, не повидавшись с Петром, тем паче, что в России по-прежнему не хватало опытных медсестер, и я могла бы ухаживать за ним, сделав для дорогого друга и учителя хотя бы такую малость.

Узнав, что дочь Петра, Александра, еще в Москве, но вскоре должна снова отправляться в Дмитров, мы встретились с ней. Она рассказала, что за Кропоткиным ухаживает очень опытная медсестра, русская, но учившаяся в Англии. Петру нельзя было волноваться, однако желающие навестить больного уже не вмещались в их маленьком домике, поэтому она пообещала позвонить нам и рассказать о состоянии отца и о том, можно ли его навестить.

Музей революции ожидал Сашиного отчета о встречах с Истпартом, и он должен был немедленно ехать, а я решила все-таки остаться в Москве и ждать звонка из Дмитрова. Но прошло несколько дней, Александра молчала, и, подумав, что Петр поправляется, а значит, мои услуги не нужны, я тоже уехала в Петроград.

Не пробыв в Питере и часа, я получила срочное сообщение от Равич, которой пришла «молния» из Москвы: в Дмитрове требовалось мое присутствие — Петру стало хуже, и его родные умоляли, чтобы я приехала как можно скорее. Увы, эшелон, которым я отправилась в Москву, попал в метель, и мы прибыли с десятичасовым опозданием; до вечера следующего дня поездов на Дмитров не было, а ехать на автомобиле было невозможно — дороги были засыпаны снегом. В довершение всех бед были оборваны телефонные провода, так что и связаться с Кропоткиными не было никакой возможности.

Вечерний поезд тянулся мучительно медленно, несколько раз останавливаясь, чтобы набрать угля и воды, и когда мы с Александром Шапиро, близким другом семьи Кропоткиных, и неким Павловым из профсоюза хлебопёков, прибыли в Дмитров, было уже около четырёх утра. Мы бросились к дому Петра, но было уже слишком поздно: его сердце перестало биться за час до нашего приезда — в три часа утра 8 февраля 1921 года. Убитая горем вдова рассказала мне, что Петр несколько раз спрашивал, когда я приеду. Она была на грани обморока, и теперь я должна была заботиться уже о ней, если уж не смогла помочь

тому, кто был источником моего вдохновения.

Софья поведала, что Ленин, узнав о болезни Петра, тут же отправил в Дмитров лучших московских врачей, а также провизию и деликатесы для больного, и распорядился, чтобы регулярные бюллетени о состоянии Петра не только присылались ему, но и публиковались в печати. При мысли, что человеку такого ума и стольких заслуг, к тому же дважды пережившему набеги чекистов и вынужденному из-за этого отправиться на почетную, но нежеланную пенсию, уделили столько внимания лишь на смертном одре, становилось грустно. Именно Кропоткин подготовил почву для революции, но ему отказали в праве на участие в ней, а его голос, проникавший в Россию вопреки всем стараниям царского режима, большевистской диктатурой был беспощадно заглушен.

При жизни Петр никогда не искал и не принимал знаков внимания ни от какого правительства, и не любил помпезности и показухи. Зная это, мы настроились не допустить вмешательства государства в церемонию прощания, не желая, чтобы она была опошлена официозом: последние мгновения Петра на земле должны были пройти только в обществе его товарищей.

Шапиро и Павлов отбыли в Москву — вызывать из Питера Сашу и других товарищей, а затем вместе с москвичами заняться подготовкой траурной церемонии. Я же осталась в Дмитрове, чтобы помочь Софье подготовить тело ее супруга к отправке в столицу.

Мой товарищ, теперь обреченный на вечное безмолвие, мирно покоился на своём последнем ложе, когда я обнаружила сокровища, которые ни за что не нашла бы при его жизни. Зная Кропоткина более четверти века, будучи прекрасно знакома с его жизнью и работой, я не догадывалась, что он был еще и великолепным художником. Рисунки Петра, сделанные, видимо, в редкие минуты отдыха, исключительной точностью линий и изяществом доказывали, что, водя кистью, он преуспел бы явно не меньше, чем достиг своим пером, которому посвятил всю свою жизнь. И в музыке Кропоткин был великолепен: он любил фортепиано и умел находить выражение своим эмоциям в поистине виртуозном исполнении классических произведений, скрашивавшем однообразное существование, которое он вёл в Дмитрове. Пожалуй, единственной его радостью было участие в этих музыкальных упражнениях двух молодых дам, друзей их семьи, с которыми они устраивали целые музыкальные вечера.

Чрезвычайно одарённый творчески, Петр был еще более щедрым гуманистом, дар которого он простирает на все человечество. Ради него он, порой в ужасных условиях, трудился всю свою почти восьмидесятилетнюю жизнь — вплоть до того самого дня, когда слёг, продолжив, однако, работать над томом «Этики». Он до самой смерти надеялся превратить это сочинение в главный труд своей жизни, и на смертном одре больше всего сожалел о том, что не сумел его окончить.

Последние три года жизни Кропоткин был отрезан от народа, но теперь, после смерти, он снова вернулся в его лоно. Крестьяне, рабочие, солдаты, интеллигенция — к дому Петра устремился нескончаемый поток людей, пожелавших отдать последнюю дань человеку, который жил среди них и делил с ними радости и горести.

Подъехал Саша с москвичами: усопшего пора было везти в столицу. Никогда и никому еще маленький Дмитров не отдавал таких почестей, как Кропоткину — казалось, провожал его весь город. Даже дети пришли почтить память человека, который был намного старше их, но никогда не гнушался беседой и игрой, и когда увозивший его навсегда поезд медленно тронулся, сотни маленьких рук взметнулись ввысь в печальном приветствии.

По дороге в Москву Саша рассказал мне, что комиссия по организации похорон Кропоткина, которую он собрал и возглавил, уже столкнулась с крючкотворством. Сначала было решено, что в память Петра будут опубликованы две его брошюры и специальный бюллетень, однако Моссовет, возглавляемый Каменевым, потребовал все рукописи на утверждение. Саша вместе с Шапиро и другими товарищами решительно возразили — это неминуемо вызвало бы задержку публикации; чтобы выиграть время, было обещано, что в издании будут только материалы о жизни и работе Кропоткина. Тут цензор неожиданно вспомнил, что у него много срочной работы, и материалы о Петре должны ожидать своей очереди; это означало, что к похоронам Кропоткина бюллетень не выйдет. Было ясно: большевики решили тянуть время; тогда наши товарищи решили действовать напролом — раз Ленин неоднократно использовал эту, по сути, анархистскую тактику, почему бы самим анархистам не прибегнуть к ней, тем паче, что время поджимало, а дело было столь важным, что можно было даже рискнуть арестом? Поэтому они сорвали печать с типографии нашего проверенного соратника Атабекяна и ринулись к машинам — им очень хотелось успеть с бюллетенем к похоронам.

Отдание последних почестей Кропоткину превратилось в грандиозную манифестацию: с того момента, как тело поместили в Мраморном зале столичного Дома Союзов, и в течение двух следующих дней к нему непрерывно шли потоки людей — зрелище, невиданное со времен Октября. Комиссия по организации похорон послала Ленину депешу с просьбой выпустить на время содержащихся в московских тюрьмах анархистов, чтобы они в последний раз поклонились учителю и другу. Ленин ответил согласием, и исполком Коммунистической партии 59 отдал распоряжение ВЧК выпустить заключенных анархистов для участия в траурных мероприятиях «по ее усмотрению». Но, как оказалось, чекисты не желали подчиняться ни Ленину, ни верховному органу собственной партии: Всероссийская Чрезвычайная Комиссия испросила комиссию по организации похорон о гарантиях возврата заключенных в тюрьмы, на что вторая комиссия с готовностью поручилась за всех и каждого, и тогда ВЧК на голубом глазу заявила: «...в тюрьмах Москвы не содержится анархистов».

На самом же деле и Бутырка, и внутренняя тюрьма ВЧК были переполнены нашими товарищами, арестованными во время облавы, проведенной чекистами на официально разрешённой советскими властями харьковской конференции — той самой, на проведении которой настоял Махно. Саша добился разрешения посетить Бутырскую тюрьму и поговорил там со многими нашими товарищами, а затем вместе с анархистом Ярчуком побывал и во внутренней тюрьме МЧК, увидевшись там с Ароном Бароном, который представлял заключенных там анархистов; однако ВЧК по-прежнему настаивала: «...в московских тюрьмах не содержится анархистов».

И тогда комиссия по организации похорон снова вынуждена была действовать напрямую. Утром в день погребения отца Александра Кропоткина позвонила в Моссовет и сказала, что, если обещание Ленина не будет выполнено, анархисты всем расскажут о том, что советская власть не держит слова, а все венки от большевиков и их организаций будут немедленно удалены от гроба Кропоткина.

Большой Колонный зал был забит народом. Среди присутствующих были и представители зарубежной прессы, в том числе наш старый знакомец Генри Алсберг, недавно вернувшийся в Россию, а также представлявший манчестерский Guardian Артур Рэнсом; вот уж кто-кто, а они, вне всяких сомнений, на весь мир рассказали бы о том, что большевики не хозяева своим словам. Последние же, особенно после того, как несколько недель подряд уверяли весь мир о том, что советское правительство окружило Петра Кропоткина заботой и вниманием, любой ценой хотели избежать скандала, и поэтому Каменев клятвенно пообещал, что заключенных анархистов освободят в течение двадцати минут.

Тем не менее, похороны были задержаны почти на час, и всё это время огромная масса скорбящих провела на улице, ожидая учеников великого покойника и дрожа от лютого московского мороза. Когда же они все-таки явились, оказалось, что их всего семеро, и все они находились во внутренней тюрьме — из Бутырки не было никого, хотя комиссию заверили в том, что сидевшие там тоже выпущены и уже в пути.

Вновь прибывшим и доверили нести гроб. В скорбном молчании они несли останки своего друга и учителя, встреченные на улице внушительным молчанием собравшейся толпы. Кого здесь только не было! Солдаты и матросы, студенты и школьники, всех отраслей, крестьяне и рабочие, профсоюзы и анархистские организации с их черно-красными знаменами — вся эта многоликая масса, объединившаяся без принуждения и упорядоченная без применения силы, растянулась на все два часа пути траурной процессии от Дома Советов до Новодевичьего монастыря на окраине города.

У Музея Толстого процессию встретили звуки шопеновского «Похоронного марша» и хор последователей пророка из Ясной Поляны. В знак признательности наши приспустили знамена, отдавая почести великому сыну России от его духовного собрата, который в этот день воссоединялся с ним. У Бутырской тюрьмы все снова остановилось, и опять флаги были опущены — так Петр Кропоткин в последний раз приветствовал своих мужественных товарищей, махавших ему в ответ из-за решёток.

На могиле было много речей, которыми представители различных политических течений пытались выразить глубокую скорбь, и все выступавшие подчёркивали: смерть Петра Кропоткина означала утрату огромной нравственной величины, равной которой на их родине теперь практически не было. Впервые со дня прибытия в Петроград на публике зазвучал и мой голос, показавшийся мне самой жёстким и неспособным передать, что значил для меня Петр — для меня его смерть символизировала неотвратимое поражение революции, и это ввергало меня в отчаяние.

Заходящее солнце и небо, купавшееся в темном багрянце, расцвелили свежий холмик, ставший местом вечного пристанища Петра Кропоткина; а тем временем семеро

выпущенных из тюрьмы анархистов, проведших вечер с нами, отправились обратно в свою темницу. На беду, сторожа, не ждавшие их прихода, заперли ворота и ушли отдыхать, так что нашим ребятам пришлось прямо-таки брать тюрьму приступом; спешно же вернувшиеся караульные были просто ошарашены, увидев подобную глупость — как же, эти недоумки решили сдержать обещание, данное их товарищами!

Узники Бутырской тюрьмы на похоронах так и не появились. ВЧК заверяла комиссию, что им предлагали прийти на прощание с Кропоткиным, но они сами отказались, хотя мы знали, что это было не так. Тем не менее, я решила навестить соратников, чтобы услышать, как это изложат они. К сожалению, для этого нужно было идти в ненавистную мне ЧК за разрешением. Меня провели в кабинет главного чекиста, юноши, у которого один пистолет висел на поясе, а второй лежал перед ним на столе. Он встретил меня с распростертыми объятиями, радостно назвав меня «дорогим товарищем» — оказалось, раньше он жил в Америке. Его звали Бреннер; он был анархистом и, конечно же, знал и Сашу, и меня, и всё, что мы делали в Штатах. Он гордился тем, что мог назвать нас товарищами, однако сейчас он стал большевиком — по его мнению, нынешний режим был ступенью к анархизму, а революция стала превыше всего. С большевиками же он сотрудничал потому, что те работали на ее благо; но неужели я перестала быть революционеркой и отказываюсь пожать руку одного из защитников Революции?

Я ответила, что никогда в жизни не ручкалась со следователями, и еще меньше мне этого хотелось с тем, кто прежде был анархистом — я пришла за пропуском в тюрьму и хотела знать, могу ли я таковой получить. Чекист побледнел, но виду не подал. «Да, с пропуском все в порядке, — сказал он, достав из стола газетную вырезку и подав ее мне, — но есть одно дельце, которое надо бы прояснить». Это была та самая клейтоновская чепуха, которую я уже видела несколько месяцев назад, и Бреннер сказал, что мне необходимо опубликовать в советской прессе опровержение. Я ответила, что уже давно послала соответствующую телеграмму товарищам в Америке и не считаю нужным делать по этому поводу что-либо еще. Отказ, конечно же, обернется против меня, заметил чекист, но в качестве товарища он считает своим долгом предупредить меня об этом. «Это угроза?» — спросила я. «Пока нет», — пробормотал он, затем поднялся и вышел из комнаты. Его не было полчаса, и в голову сама собой лезла противная мысль: не стала ли заключенной и я — в России такие дела вершились быстро, и рано или поздно наступала очередь каждого; так почему бы не настать моей? Грустные размышления прервали послышавшиеся шаги и скрип раскрывшейся двери: пожилой чекист сунул мне клочок бумаги — это и было разрешение на посещение Бутырской тюрьмы.

В числе томившихся там наших товарищей я встретила тех, с кем была дружна еще в Америке: Фаню и Арона Баронов, Волина и еще кое-кого, а также участников «Набата», с которыми познакомилась в Харькове. Они рассказали, что представитель ВЧК предлагал им отпустить несколько человек поодиночке, а не группой, как о том договорилась Комиссия, но они отвергли это предложение и настаивали на том, что должны быть на похоронах Кропоткина все вместе — только так, и никак иначе. Чекист ответил, что передаст их требование руководству, и больше его не видели; впрочем, это уже не имело никакого значения: заключённые устроили собственную гражданскую панихиду по Кропоткину прямо в тюремном коридоре, сказав подходящие случаю речи и спев несколько революционных

песен. Волин добавил, что с помощью других политзаключенных они превратили тюрьму в народный университет, проводя с узниками занятия по общественным наукам, политической экономии, социологии и литературе, а неграмотных заключенных просто учить читать и писать. Нам бы позавидовать им — ведь они наслаждались большей свободой, чем мы снаружи, но они боялись, что их тихая пристань пробудет таковой совсем недолго.

Софья Кропоткина, отдавшая всю себя Петру и его работе, была совершенно раздавлена потерей; она не сможет жить без него, сказала она мне, если не посвятит остаток дней сохранению памяти о Кропоткине. Она задумала организовать музей покойного супруга и умоляла меня остаться в Москве, чтобы помочь с этим делом. Я была согласна с тем, что воплощение ее идеи стало бы лучшим памятником Петру, хотя и не считала, что это стоит делать в нынешней России: работа по созданию музея непременно потребовала бы постоянных обращений к властям, что совершенно точно не понравилось бы самому Кропоткину. Однако Софья настаивала, что для подобного музея Россия все-таки представляется наиболее логичным местом: Петр любил свою родину и искренне верил в ее народ, несмотря на воцарившуюся большевистскую диктатуру. Он часто говорил, что хочет провести здесь остаток жизни, пусть даже и отчаявшимся; Софья тоже была предана России, а теперь, когда Петр погребён в русской земле, она стала для нее вдвойне священной. Она полагала, что если в комитете по созданию музея будем мы с Сашей, основная помощь пойдет из Америки, и тогда просить ее у Советов, по крайней мере, почти не придется. Члены комиссии по организации похорон Кропоткина поддержали план Софьи: откуда бы ни взялась диктатура, считали они, факт оставался фактом — великая революция произошла в России, и именно эта страна была бы лучшим местом для музея Кропоткина.

Вскоре эта комиссия была преобразована в комитет по увековечению его памяти 60, состоявший из представителей разных анархистских фракций. Председательствовала в нём Софья, Саша был избран генеральным секретарем, а я — заместительницей Софьи и управляющей делами. Первым делом мы решили обратиться в Моссовет с двумя просьбами: во-первых, превратить дом семьи Кропоткиных в музей, а во-вторых, оставить усадьбу в Дмитрове за вдовой Петра.

Пока же мы с Сашей отправились в Петроград расторгать отношения с Музеем революции. Нам обоим было очень жалко отказываться от сотрудничества с коллегами, которые так прекрасно к нам относились, но Истпарт все-таки навязал экспедиции своего комиссара, и мы ни за что не хотели продолжать работу на таких условиях. К тому же мы полагали, что музей Кропоткина гораздо более важен, чем наши разъезды по стране, и подготовка к его открытию шла полным ходом; в общем, нам нужно было находиться в Москве. Александра Кропоткина уезжала в Европу, и Софья пообещала, что мы сможем жить в двух небольших комнатах в Леонтьевском переулке, которые они занимали прежде, — совсем как простые люди.

Поначалу, как только я приехала в Россию, мне не совсем было понятно, почему здесь не бывает забастовок, но сведущие люди объяснили мне, что малейшая попытка устроить нечто подобное подавлялась силой, а все ее участники отправлялись в тюрьму. Я не поверила этому и, как это бывало и с другими подобными вопросами, спросила Зорина. «Забастовки при диктатуре пролетариата? — воскликнул он. — Да этого быть не может!» Он

даже отчитал меня за то, что я поверила в эти рассказы: против кого бастовать рабочим в Советской России, спросил он — против себя? Ведь они стали хозяевами страны, как в политическом отношении, так и с точки зрения производства. Конечно же, среди них есть некоторые недостаточно классово-сознательные и пекущиеся лишь о себе элементы; они, особенно те, что темны и неграмотны, иногда проявляют недовольство, но не по своей воле — их науськивают шкурники, рвачи и враги революции. Это и есть худшие саботажники, которые ничем не лучше контрреволюционеров; конечно же, советская власть должна защищать от них страну, поэтому многие уже отправлены в тюрьмы.

Однако теперь из опыта и собственных наблюдений я знала, что истинные саботажники, контрреволюционеры и бандиты, содержащиеся в советских карательных учреждениях, представляют собой незначительное меньшинство, а в основном в заключении томятся обычные отступники. Их обвиняли в самом страшном грехе против Большевицкой Церкви — не было преступлений страшнее политических взглядов, оппозиционных правящей партии, и протеста против большевизма. Оказалось, что огромное число политзаключённых, в том числе рабочие и крестьяне, виновны лишь в том, что потребовали лучшего к себе отношения и лучшей жизни. Это, хоть и скрывалось от общественности, было общеизвестно, как и вообще почти всё, что происходило за кулисами советской жизни. Как эти тайны просачивались наружу, было загадкой, но они всё же становились достоянием гласности, распространяясь со скоростью лесного пожара.

С нашего возвращения в Петроград не прошло еще и суток, а город уже забурлил негодованием, и повсюду шли разговоры о стачке. Причинами этому стали необычайно суровая зима, помноженная на привычную советскую недалёковидность: снежные бури и заносы задержали доставку в город и без того скудных запасов продовольствия и топлива, а Петросовет, сглупив, закрыл несколько фабрик и вдвое уменьшил пайки тем, кто на них работал. При этом почти одновременно членам РКП(б) в цехах выдавали новую одежду и обувь, хотя у остальных трудящихся с этим по-прежнему было просто ужасно. Ну, а в довершение всего власти запретили собрание, созванное рабочими для обсуждения создавшегося положения.

Все признавали, что дела плохи: в воздухе пахло бунтом. Мы, конечно же, решили остаться в городе; безусловно, мы не надеялись предотвратить приближавшиеся беспорядки, но хотели быть на месте, если людям вдруг потребуется какая-то помощь.

Гром грянул, когда забастовал трубный завод 61. Требования были вполне умеренными: увеличить пайки (что было уже неоднократно обещано) да выдать обувь. Однако Петросовет отказался вести переговоры с бастующими до тех пор, пока они не вернутся к станкам, и отправил на разгон рабочих несколько отрядов вооруженных курсантов. Вояки попытались спровоцировать стачечников, стреляя в воздух, но, к счастью, те пришли безоружными, и кровопролития не случилось. Зато заработало гораздо более мощное оружие — солидарность трудящихся: еще пять предприятий прекратили работу и присоединились к забастовке. Сплошной поток рабочих шёл по Питеру от Галерной гавани, Адмиралтейских верфей, Патронного и Балтийского заводов, а также фабрики «Лаферм», и тут уже их начали разгонять солдаты, которые, по рассказам очевидцев, обращались с забастовщиками отнюдь не по-товарищески.

Даже такая кондовая коммунистка, как Лиза Зорина, была настолько возмущена подобными методами, что выразила свое негодование вслух, и я была удивлена тем, что она решила открыться мне: наши отношения уже давно не были столь тёплыми, как раньше. Она сказала, что никогда бы прежде не поверила, что красноармейцы могут разгонять людей настолько жестоко, что при виде этого женщины будут падать в обморок, а с несколькими случится истерика. Стоявшая рядом с ней женщина узнала в ней большевичку и без тени сомнения обвинила ее в происходящем, подкрепив свои слова несколькими ударами, разбившими лицо Лизы в кровь. Но и оглушенная, добрячка Лиза, всегда подтрунивавшая над моей сентиментальностью, не придавала этому значения, а «...чтобы успокоить расходившуюся женщину, пошла провести ее домой», — рассказывала Лиза. «Ее жилище оказалось ужасной дырой — я и представить не могла, что такое до сих пор у нас существует: эта женщина с мужем и шестеро их детей ютились в темной, пустой, сырой и холодной комнате; подумать только, а я всё это время жила в „Астории“!»! Лиза понимала: партия не виновата в том, что в Советской России еще существуют такие ужасающие условия, а причина забастовки кроется не в коммунистическом самовластье — во всём повинны осада и мировой империалистический заговор. Однако оставаться в своей комфортабельной квартире она уже не могла: воспоминания о камерке отчаявшейся женщины, вид ее замёрзших детей будут теперь преследовать ее денно и ночно. Бедная Лиза! Верный, стойкий человек безупречного характера, как же слепа ты была политически!

Из-за самоуправства и бездушности властей просьбы рабочих о пайках и топливе вскоре стали перерастать в решительные требования, теперь уже и с политическим уклоном: неизвестно кем расклеивавшийся на стенах домов манифест призывал «к полной смене курса»: «рабочим и крестьянам нужна свобода! Они не желают жить по декретам большевиков, они хотят сами распоряжаться своей собственной судьбой!»

С каждым днем положение обострялось — прокламации на стенах и заборах требовали уже Учредилки, Учредительного собрания, столь ненавидимого большевиками. Ответом на это было введение военного положения, а рабочим под угрозой лишения пайков приказали вернуться к станкам, однако эти меры не возымели совершенно никакого действия, и тогда были упразднены отдельные профсоюзы, а их участники вместе с особенно рьяными забастовщиками посажены в тюрьмы.

Мы места себе не находили от того, что не в силах ничего предпринять, и лишь беспомощно наблюдали, как мимо наших окон чекисты и солдаты то и дело проводят целые ватаги арестованных. Чтобы убедить власти в нелепости подобных шагов, Саша безуспешно пытался связаться с Зиновьевым, а я столь же безрезультатно разыскивала Равич, Зорина и Циперовича, возглавлявшего Петроградского совет профсоюзов. Увы, они отказывались говорить с нами, ссылаясь на занятость и необходимость спасти город от контрреволюционных заговоров, устроенных меньшевиками и эсерами. Эта отговорка за три года уже изрядно набила оскомину, но по-прежнему была в почёте, ибо с ее помощью можно было заговаривать зубы рядовым коммунистам.

Но, несмотря на все эти крайние меры, забастовка ширилась, и никакие аресты не могли с ней справиться; более того, глупость, с которой власти пытались справиться с ней, лишь подогревала всеобщее недовольство и побуждало к действию всякие темные элементы. Уже

начали появляться антиреволюционные и антисемитские прокламации, а город наводнили дикие слухи о том, что мятеж будет подавлен военными, а ЧК расстреляет всех бастующих.

Рабочие были настроены решительно, но было очевидно, что голод очень скоро вынудит их сдаться, и помочь им не мог никто: все дороги, ведущие в рабочие районы, были перекрыты спешно собранными войсками, а то немногое из продовольствия и одежды, что мы могли собрать для них, было каплей в море. Не приходилось сомневаться: силы неравны, и забастовке осталось недолго.

В этой напряженной, доходящей до крайнего отчаяния обстановке вскоре появился проблеск надежды на какое-то мирное решение — в дело вступили матросы Кронштадта. Верные революционным традициям солидарности с рабочим классом, явленные ими сначала в 1905 году, а затем в марте и октябре 1917 года, они вновь решили вступить за гонимый питерский пролетариат, но сделать это по-умному и отнюдь не вслепую. Потихоньку, не посвящая в свои замыслы посторонних, они создали комитет, который должен был ознакомиться с требованиями трудящихся, и доклад его побудил команды линкоров «Петропавловск» и «Севастополь» принять резолюцию в поддержку братьев-рабочих. Моряки заявили, что преданы революции и Советам, лояльны к РКП(б), однако протестуют против произвола некоторых комиссаров и настаивают на предоставлении большей самостоятельности рабочим ячейкам. Кроме того, они потребовали свободы собраний для профсоюзных и крестьянских организаций, а также освобождения всех трудовых и политических заключенных из советских тюрем и концлагерей.

Примеру команд двух грозных кораблей последовали моряки Первого и Второго экипажей Балтийского флота, расквартированных в Кронштадте. На митинге 1 марта, в котором приняло участие 16 тысяч моряков, красноармейцев и рабочих Кронштадта, похожие резолюции были приняты единогласно, против проголосовали только трое — председатель Кронштадтского Совета Васильев, комиссар Балтийского флота Кузьмин и председатель ВЦИК Калинин.

Двое наших ребят-анархистов, бывших на митинге, рассказали нам, что не видели такой искренней солидарности, помноженной на неукоснительный порядок и всеобщий подъём, с самого Октября. «Вот только вас там не хватало», — это была единственная грустная нотка в их хвалебных речах. Действительно, если бы Саша, за которого кронштадтцы вступились в 1917 году, когда ему грозила экстрадиция в Калифорнию, и я, чья репутация тоже была известна матросам, присутствовали на этом митинге, то, несомненно, добавили бы веса принятым резолюциям. Для нас же участие в первом стихийно возникшем, да еще и столь многолюдном собрании на советской земле стало бы замечательным опытом: еще Горький обмолвился мне, что моряки-балтийцы — прирожденные анархисты, и моё место среди них. Потом я часто мечтала поехать в Кронштадт, встретиться с матросами, поговорить с ними, но всё время гнала от себя эту мысль, опасаясь, что в том душевном состоянии, в котором я пребывала, из этого не выйдет ничего толкового. Но уж теперь я поеду туда, и стану среди них, хотя большевики однозначно поднимут вой — мол, Гольдман подстрекает моряков к бунту против власти. Саше же было наплевать на то, что скажут коммунисты: он тоже примкнет к матросам и будет поддерживать бастующих рабочих Петрограда.

Наши товарищи подчеркивали, что проявление кронштадтцами сочувствия к бастующим никоим образом не есть антисоветская деятельность; более того, все речи, произносившиеся на митинге, равно как и все принятые на нём резолюции, по сути своей являются советскими, то есть не против большевиков, а в знак протеста против того, как Петросовет относится к голодающим рабочим. О чём еще можно было говорить, если сам митинг проходил при содействии Кронштадтского Совета? Моряки встретили Калинина музыкой и песнями, его слушали внимательно и почтительно, и даже после того, как он и его соратники принялись порицать матросов и осудили их резолюцию, Калинина вежливо и по-дружески проводили на вокзал.

До нас дошел слух, что на прошедшем собрании флота, гарнизона и совета профсоюзов, в котором участвовало около трёх сотен делегатов, Кузьмин и Васильев были арестованы матросами, и мы не преминули спросить наших товарищей, что им об этом известно. Они сказали, что эти двое действительно были задержаны; Кузьмин обвинил моряков в предательстве, а питерских забастовщиков назвал шкурниками, и заявил, что отныне коммунистическая партия «будет сражаться с ними до конца, как с контрреволюционерами». Кроме того, он отдал приказ о вывозе из Кронштадта всего продовольствия и боеприпасов, обрекая город на голодную смерть, поэтому солдаты и матросы Кронштадтского гарнизона решили задержать Кузьмина и Васильева, одновременно приняв меры к тому, чтобы не допустить вывоза продуктов из города. Но при этом никто не призывал свергать действующую власть и не кричал о том, что большевикам больше веры нет, а делегатам-коммунистам предоставляли право голоса наравне со всеми. В доказательство прежнего доверия к режиму собрание даже отправило в Петросовет комиссию из тридцати человек — договариваться о прекращении забастовки.

Нас порадовала столь замечательная солидарность солдат и матросов с их бастующими питерскими братьями, и мы уже лелеяли надежду на скорое окончание беспорядков, но, к сожалению, эти чаяния оказались напрасными. Уже через час после встречи с нашими соратниками и их рассказа о случившемся по Петрограду разлетелась весть о декрете Ленина и Троцкого. В нём говорилось, что Кронштадт восстал против советского правительства, а матросы назывались «игрушками в руках бывших царских генералов, устроивших с предателями-эсерами контрреволюционный заговор против пролетарской республики».

«Нелепо! Это же просто бред! — вскричал Саша, прочитав копию приказа. — Ленина и Троцкого, наверное, кто-то ввёл в заблуждение! Как они могли даже поверить, что матросы повинны в контрреволюции? Команды „Петропавловска“ и „Севастополя“ первыми поддержали большевиков в Октябре, и с тех пор ни разу не давали повода заподозрить их в отклонении от выбранного курса. Да не сам ли Троцкий называл их красой и гордостью русской революции?!»

Мы должны немедленно отправляться в Москву, заявил Саша: нам обязательно нужно встретиться с Ильичом и Львом, и объяснить им, что это чудовищное недопонимание, страшная ошибка, которая может привести к гибели революции. Моему другу было очень тяжело отказаться от веры в тех, кого миллионы людей во всём мире называли апостолами пролетариата; я была согласна с ним — возможно, Ленина и Троцкого обманул Зиновьев,

обстоятельно докладывавший в Кремль о событиях в Кронштадте ночами по телефону. Этот никогда не слыл образцом храбрости даже среди собственных соратников, и запаниковал при первых же признаках недовольства питерских рабочих; когда же он узнал, что местный гарнизон поддержал бастующих, то совсем потерял голову и приказал установить у «Астории» пулеметы для защиты себя и своих присных. Ну, а произошедшее в Кронштадте вообще переполнило его страхом, заставив бомбардировать Москву дикими историями. Я это доподлинно знала, и Саша тоже, и мы оба не могли поверить, что Ленин и Троцкий на самом деле думали, будто кронштадтцы способны стать контрреволюционерами и пособниками белых генералов, как было сказано в декрете.

Во всей Петроградской губернии было объявлено чрезвычайное положение, и никто, кроме специально уполномоченных на это работников, не имел права покинуть город. Тем временем большевистская пресса развернула кампанию против Кронштадта, поливая всех грязью и заявляя, что матросы и солдаты заодно с «белогвардейским генералом Козловским». Когда же кронштадтцы были объявлены вне закона, Саша наконец-то понял: всё гораздо сложнее заблуждений Ленина и Троцкого. Впрочем, Лев был намерен участвовать в чрезвычайной сессии Петросовета, на которой должна была решиться судьба Кронштадта, и мы тоже собирались на ней присутствовать.

Это была первая наша возможность услышать Троцкого в его новой ипостаси, и я невольно вспомнила, что он сказал нам на прощание в Америке: нужно ехать в Россию, чтобы, засучив рукава, участвовать в больших делах, открывшихся перед ней после свержения царизма. Что ж, мы обратимся к нему с просьбой решить что-то с Кронштадтом, этим испытанием, которое устроила большевикам революция, причём мирно, по-братски; если понадобится, мы отдадим в его распоряжение наше время, наши силы и даже жизни. К сожалению, поезд Троцкого задержался, и он не смог присутствовать на заседании Совета, а те, кто выступил на нём, вели себя неразумно и не желали ничего слушать: их речи были запальчивы, а сердца полны слепого страха.

Сцену, усиленно охранявшуюся курсантами, от собравшейся аудитории отделяли еще и чекисты, к винтовкам которых были примкнуты штыки. Председательствовавший Зиновьев, казалось, находился на грани нервного срыва: он то поднимался, словно пытаясь что-то сказать, то вновь садился, так ничего и не сказав. Когда же он все-таки заговорил, то беспрестанно вертел головой, словно ожидая нападения, а его дрожащий голос, обычно юношески высокий, сейчас был пронзителен и визглив, отчего звучал совсем неубедительно.

Он осудил генерала Козловского, назвав его дьяволом, науськивавшим кронштадтцев, хотя большинство присутствующих знали, что командовать артиллерией города этого военспеца назначил сам Троцкий. Козловский был стар и немощен, и не имел никакого влияния среди матросов и гарнизона, однако это не помешало Зиновьеву, теперь уже председателю вновь созданного Совета обороны, заявить, что Кронштадт взбунтовался по замыслу Козловского и его сообщников. Затем в своей обычной старушечьей манере со злобными ругательствами на моряков напал Калинин, совершенно позабывший о том, с какими почестями его встретили в Кронштадте всего несколько дней назад. «Никакие меры не могут быть чересчур суровы для контрреволюционеров, посмевших поднять руку на славную революцию», — заявил он. Остальные ораторы придерживались того же курса, побуждая

большевистских фанатиков, не знавших истинного положения дел, остервенело бросаться на людей, которых они еще вчера приветствовали как героев и братьев.

Над кричащей и обличающей толпой смог возвыситься лишь дрожащий, искренний голос стоявшего в передних рядах делегата стачкома с «Арсенала», который осмелился выступить против неправды, обрушившейся на смелых кронштадтцев. Глядя на Зиновьева и тыча в него пальцем, он кричал: «Это ваша бессердечность, ваша лично и всей вашей партии, вынудила нас бастовать, а братья-матросы, бок о бок с нами сражавшиеся за революцию, всего лишь поддержали нас. Они ни в чём не повинны, и вы прекрасно это знаете, но нарочно очерняете их и призываете их уничтожать». В ответ ему раздалось: «Контрреволюционер! Предатель! Шкурник! Меньшевистский бандит!» и другие слова, покрепче, и собрание превратилось в бедлам.

Однако старый рабочий по-прежнему нерушимо высился перед сценой, и его голос звучал над этим шумом и криками. «Всего три года назад Ленина, Троцкого, Зиновьева и всех вас обвиняли в том, что вы предатели и немецкие шпионы, — кричал он. — Мы, рабочие и матросы, пришли вам на помощь и спасли вас от Керенского. Это мы привели вас к власти! Мы открыли вам дорогу к ней, вы что, уже забыли об этом? А теперь вы угрожаете нам... Помните: играя с огнем, вы повторяете ошибки и преступления Временного правительства; смотрите, как бы и с вами не случилось того, что произошло с ними!»

Последние слова заставили Зиновьева вздрогнуть, и все, кто сидел в президиуме, заерзали на своих стульях. Воцарилась тишина — присутствующие, казалось, на секунду оторопели от зловещего предупреждения, но в этот самый момент раздался еще один голос. Из задних рядов поднялся здоровенный матрос, заявивший, что дух его братьев-моряков по-прежнему революционно бодр, и они так же готовы отдать последнюю каплю крови за Советскую власть, как и раньше; но, когда он стал зачитывать резолюцию кронштадтцев, принятую на митинге 1 марта, из-за вновь поднявшегося от столь дерзких речей шума его смогли услышать лишь те, кто стоял рядом с ним. Впрочем, он всё равно дочитал до конца, и единственным, чем смог ответить Зиновьев, была резолюция, требовавшая немедленной сдачи Кронштадта под угрозой его полного уничтожения: в суматохе ее приняли быстро, не дав и рта раскрыть несогласным.

Атмосфера, наэлектризованная истерией страстей и ненависти, породила негодование. Хотелось кричать во весь голос, обличая людей, которые в политическом надувательстве во имя великого идеала дошли до последней ступени низости, но я не могла произнести ни звука — в горле словно застрял горький ком. Невольно вспомнилось 4 июня 1917 года в нью-йоркском Хантс Пойнт; тогда во мне так же неистовствовал дух мщения и ненависти, но я, по крайней мере, говорила, не обращая внимания на угрозы опьяненных войной патриотов; почему же сейчас я потеряла дар речи? Почему я не могла хотя бы с помощью слов попытаться предотвратить братоубийство, которое готовили большевики — так же, как я клеймила Вудро Вильсона, приносившего в жертву Молоху войны жизни юных американцев? Неужели иссяк мой бойцовский пыл, столько лет поднимавший меня против несправедливости и зла? Или мою волю парализовало беспомощное отчаяние, поселившееся у меня сердце после того, как я приняла призрака за животворящую силу?

Увы, мне никак не удавалось освободиться от этих гнетущих мыслей и сделать что-то для попавших в беду людей, но и молчать не было сил. «Я должна сделать так, чтобы они меня услышали! — повторяла я, словно заклинание. — Но не эти сумасшедшие, которые задавят мой голос, как они задавили остальные; нет, я обозначу свою позицию, адресовав ее руководству Совета Оборона, и сделаю это сегодня же!»

Когда мы остались одни, я заговорила об этом с Сашей и обрадовалась: мой друг думал примерно так же и предложил написать совместное письмо, посвятив его исключительно принятой Петросоветом убийственной резолюции. Двое товарищей, присутствовавших вместе с нами на заседании, разделяли это мнение и предложили под обращением поставить и свои имена. Я не надеялась, что это возымеет какое-либо отрезвляющее или сдерживающее действие на события, вытекающие из принятого декрета, но была твёрдо настроена на то, чтобы засвидетельствовать собственное к ним отношение, чтобы никто не мог меня упрекнуть в молчаливом созерцании предательства революции большевиками.

В два часа ночи Саша позвонил Зиновьеву и сказал, что готов сообщить ему кое-что по секрету. Возможно, Зиновьев подумал, что мой друг должен сказать нечто важное, что поможет ему в борьбе с Кронштадтом, иначе не прислал бы к нам Равич всего через десять минут после того, как Саша повесил трубку. В переданной ею нам записке Зиновьева говорилось, что мы можем абсолютно ей доверять и передать через нее свое сообщение; тогда мы вручили ей заявление, в котором говорилось следующее:

“ «Петроградскому Совету Труда и Оборона.
Председателю Зиновьеву.

“ Молчать дальше невозможно и даже преступно. Недавние события вынуждают нас, анархистов, заявить о своем к ним отношении. Все брожения в среде трудящихся и матросов есть следствия причин, требующих самого пристального внимания. Недовольство вызвано холодом и голодом, а невозможность дискуссии и критики вынуждает рабочих и моряков высказывать жалобы открыто.

Белогвардейские банды захотят и смогут использовать это в своих классовых интересах. Они уже, укрывшись за спинами бастующих, вбрасывают лозунги об Учредительном собрании, свободе торговли и тому подобных вещах.

Мы, анархисты, уже давно поняли, откуда берутся эти слова, и заявляем всему миру, что с оружием в руках будем сражаться против любой контрреволюции совместно с соратниками по революции и рядом с большевиками.

Что касается споров между Советской властью и трудящимися и матросами, мы считаем, что таковые должны разрешаться не силой, но товарищескими, братскими революционными соглашениями. Если прольётся кровь, это не испугает рабочих и не заткнёт им рты — напротив, это лишь усугубит положение и сыграет на руку Антанте и контрреволюции.

Более того, подобное применение силы будет иметь реакционное

воздействие на международное пролетарское движение и нанесет непоправимый вред революции.

Товарищи большевики, одумайтесь, пока не поздно! Не играйте с огнем! Вы первыми должны сделать самый серьезный и решительный шаг навстречу. Мы предлагаем избрать комиссию из пяти человек, в том числе двух анархистов, каковая должна отправиться в Кронштадт, чтобы разрешить спор мирными средствами. При сложившемся положении это наиболее радикальный метод, могущий иметь важнейшее значение для мировой революции.

Петроград, 5 марта 1921 г.

Александр Беркман, Эмма Гольдман, Перкус, Петровский» 62.

Однако этот глас вопиющего, точнее, вопиющих, услышан не был — в тот же день прибыл Троцкий и огласил ультиматум: согласно распоряжению рабоче-крестьянской власти «все, кто осмелился поднять руку на социалистическое Отечество» будут «перестреляны как куропатки». Экипажам взбунтовавшихся кораблей было предписано сдаться, причём немедленно и без каких-либо условий; в противном случае их обещали принудить к этому силой, гарантируя снисхождение лишь тем, кто безропотно подчинится. Таким было последнее предупреждение, подписанное председателем Реввоенсовета Троцким и главнокомандующим Красной Армии Каменевым: любая попытка усомниться в божественном происхождении власти вновь каралась смертью.

Троцкий сдержал свое слово: взошедший к вершинам власти с помощью кронштадтских матросов, теперь он был готов расплатиться по долгам с «красой и гордостью русской революции». Для этого у него были лучшие военспецы и стратеги царского режима, в том числе небезызвестный Тухачевский, которого Лев поставил командовать наступлением на Кронштадт. Кроме того, у него были и орды чекистов, за три года наловчившиеся в убийствах, и слепо повинующиеся любому начальнику курсанты, и специально отобранные для грязных дел провинившиеся в чём-то большевики, и войска, выдернутые с разных фронтов ради похода на матросов. Такая сила, выступившая против обреченного города, с легкостью подавила бы «мятеж», особенно после того, как питерский гарнизон разоружили, а тех из солдат, кто выражал солидарность с осаждёнными товарищами, на всякий случай отослали подальше. Из окна «Интернационала» я видела, как чекисты уводили их небольшими группами: они ступали неуверенно, руки их были беспомощно опущены, а головы печально склонены.

Власти уже не боялись забастовщиков: их силы были на исходе, дух пропитался ядом сомнений, а воля ослабла, и всё это сотворила ложь, распространяемая о них и их кронштадтских братьях большевистской пропагандой. Они больше не желали ни бороться, ни верить, ни помогать товарищам, которые до того беззаветно подхватили их призыв, а теперь вот-вот должны были отдать за это жизни.

Кронштадт был брошен на произвол судьбы и отрезан от остальной России — он стоял в одиночку и почти не мог драться. «Он падет при первых же выстрелах», заявляла советская пресса, но ошибалась. Кронштадт и не помышлял о мятеже или сопротивлении власти, и до последнего момента был против кровопролития. Из города постоянно шли обращения,

рассчитанные на то, что их поймут, и всё решится миром; но когда на него набросились, он сражался как лев. Десять дней и ночей моряки и рабочие осажденного Кронштадта противостояли непрерывным артиллерийским обстрелам и бомбёжке, которую аэропланы вели без оглядки на мирных жителей, и героически отражали неоднократные попытки присланных большевиками из Москвы войск взять крепость штурмом. У Троцкого и Тухачевского было огромное преимущество: на них работала вся мощь советской государственной машины, и вся официальная пресса не уставала клеймить «мятежников и контрреволюционеров». У них были поистине неограниченные запасы патронов и снарядов, продуктов и спиртного, и даже белые маски, в которые одевались солдаты, чтобы слиться со льдом замерзшего Финского залива во время ночных атак на ничего не подозревавших кронштадтцев. У последних же не было ничего, кроме негибимой воли, отваги и твердой веры в правоту своего дела и в свободные Советы, которые они называли спасением России от диктатуры. Они не смогли бы остановить наступление, ибо были изнурены голодом и холодными бессонными ночами, но всё равно отчаянно боролись с превосходящими силами противника.

В эти напряжённые, наполненные грохотом канонад и запахом пороховой гари, страшные дни не раздалось ни одного голоса, который возопил бы и призвал бы остановить эту мясорубку. Горький! Максим Горький! Где же он? Его услышат! «Пойдём к нему!» — умоляла я то одного, то другого; впрочем, это было безнадежно: если «великий пролетарский писатель» никогда не вступался даже за собственных коллег, заведомо зная об их невинности, не станет он протестовать и сейчас. Вообще вся интеллигенция, все, в ком когда-то пылал революционный огонь, все эти светочи мысли сейчас были беспомощны и обезволены обесцениванием их идеалов и тщетностью участия в общем деле, тем паче, что большинство их друзей уже находилось в тюрьме либо в ссылке, а некоторые были казнены.

Тогда я пошла к знакомым большевикам, заклиная их сделать хоть что-нибудь. Кое-кто из них даже понимал, какое чудовищное преступление совершает их партия в Кронштадте, и признавал, что обвинение в контрреволюции было чистой воды фальсификацией. Предполагаемый лидер восстания, Козловский, на самом деле был ничтожеством; его слишком тревожила собственная участь, чтобы он мог иметь какое-либо отношение к выступлению моряков, которые были кристальными людьми, готовыми на всё единственно ради благополучия России. У них не только не было ничего общего с царскими генералами — они даже отказались от помощи Чернова, вожака эсеров; да и не нужна им эта помощь со стороны: они хотели лишь избрания своих депутатов в Советы на грядущих выборах и справедливого обхождения с забастовщиками.

Эти самые большевики могли говорить ночами напролет, да так, что и слова нельзя было вставить, но никто из них так и не попытался возвысить свой голос в знак протеста: мы-де не понимаем, какими могут быть последствия, говорили они. Их исключат из партии, и, лишив работы и пайков, обрекут на голодную смерть; а может быть, случится и так, что они попросту потеряются, и никто не будет знать, где они и что с ними. Однако при всём этом они заверяли нас, что вовсе не страх лишил их воли — нет, всё дело в бесполезности каких-либо обращений, потому что ничто не в силах прервать движение колесницы большевистского государства, переехавшей их и лишившей сил даже на возмущение.

Меня терзало мрачное предчувствие, что мы с Сашей тоже можем оказаться в подобном состоянии и стать такими же бесхребетными и податливыми; я предпочла бы этому всё что угодно — тюрьму, ссылку, смерть... Или бегство — бегство из этого ужасного царства притворства и показухи! До этого мысль о том, чтобы покинуть Россию, никогда не приходила мне в голову, и я была напугана: покинуть Россию в момент ее Голгофы? Да как это вообще возможно?! Но сейчас я ощущала, что способна даже на такой шаг — лишь бы не стать бездушной марионеткой, шестерёнкой в сминающей всех и вся машине.

Канонада в Кронштадте, длившаяся целую декаду без перерыва, внезапно утихла утром 17 март, и безмолвие, окутавшее Петроград, страшило куда сильнее беспрестанных обстрелов. Никто не понимал, что произошло, почему остановилась пальба, и узнать это было невозможно; лишь позднее, уже днём, напряжение неведения сменилось безмолвным ужасом знания. Кронштадт пал, десятки тысяч людей казнены, а сам город был потоплен в крови, и Нева, лёд на которой разбила большевистская артиллерия, стала могилой многих тысяч людей. Матросы и солдаты героически защищались до последнего вздоха, но те, кому не посчастливилось погибнуть в бою, попали в руки врага и были казнены, а в лучшем случае сосланы на Север, в вечную мерзлоту.

Мы были просто ошарашены. Саша в отчаянии бродил по улицам — оборвалась последняя нить, на которой держалась его вера в большевиков; мои же члены были будто налиты свинцом, и в каждой клеточке измученного тела гнездилась невыразимая усталость. Обмякшая, я сидела и смотрела на ночной Питер, укрытый тёмной пеленой, как мертвенно-бледный труп висельника, и уличные фонари отблескивали жёлтым, точно свечи у него в ногах и в изголовье.

На следующее утро, 18 марта, все еще не очнувшись от тяжёлого сна, в который провалилась после нескольких дней бдения, я проснулась от тяжелой поступи многочисленных ног. Мимо строем шли большевики, под аккомпанемент военного оркестра певшие «Интернационал», и эта мелодия, раньше бывшая торжеством и усладой моего слуха, теперь звучала погребальной песней яркой надежде человечества. Так в этот день, 18 марта, праздновали пятидесятую годовщину Парижской Коммуны 1871 года, два месяца спустя разгромленной Тьером и Галифе, которые казнили тридцать тысяч коммунаров; теперь же, ровно полвека спустя всё это повторилось в Кронштадте 1921 года.

Всего через три дня после «ликвидации» Кронштадта смысл этого ужаса раскрыл Ленин. В те дни в Москве проходил Десятый съезд ВКП(б), и вдохновенная коммунистическая песнь неожиданно сменилась победным гимном новой экономической политике: свобода торговли, концессии для капиталистов, наёмный труд — всё, что три предыдущих года считалось контрреволюцией и нещадно каралось тюрьмой или даже смертью, теперь было выведено золотыми буквами на красном знамени диктатуры. Как всегда, самым бесстыдным образом Ильич во всеуслышание заявил о том, что искренние и разумные люди как внутри его партии, так и вне ее знали все эти семнадцать дней: «кронштадтцы на самом деле не хотели контрреволюционеров, но не хотели они и нас». Наивные моряки всерьез восприняли лозунг революции «Вся власть Советам!» В этом и состояло их непростительное преступление, за это они и были приговорены к смерти — проще говоря, их принесли в жертву, чтобы удобрить почву для возвращения новых ленинских призывов, полностью

опровергавших предыдущие, особенно для очередного его шедевра, каковым стала новая экономическая политика, то бишь нэп. Но даже публичное признание Лениным того, что с Кронштадтом погорячились, не остановило охоту на моряков, солдат и рабочих побежденного города: их арестовывали сотнями, а чекисты снова «практиковались в меткой стрельбе».

Довольно странным было то, что в связи с кронштадтским «мятежом» не упомянули анархистов: Ленин заявил на съезде, что самая беспощадная война должна быть объявлена «мелкой буржуазии», включая и анархические элементы. Синдикалистские поползновения рабочей оппозиции показывали, что подобные течения имеются и в коммунистической партии, сказал он, и на его призыв тут же откликнулись. В Петрограде прошли облавы, многие наши товарищи были арестованы, а вдобавок к этому ЧК закрыла типографию и редакцию «Голоса труда». Хорошо еще, что мы купили билеты в Москву до того, как это случилось, и когда нам стало известно о репрессиях, мы решили немного задержаться на случай, если будут разыскивать и нас. Однако нам не докучали — вполне возможно, чтобы показать любопытствовавшим: в советских тюрьмах находятся только бандиты, анархисты же преспокойно живут обычной жизнью.

В московских анархистских кругах царил пустота — на свободе осталось с полдюжины анархистов, прочие же были арестованы, а книжный магазин «Голоса труда» был закрыт. Ни в Питере, ни в столице против наших товарищей не было выдвинуто ни единого обвинения, никто не был допрошен и предстал перед судом, однако кое-кого уже успели перевести в другие города, например, в Самару. Тем же, кто остался в Бутырской и Таганской тюрьмах, было не позавидовать — их даже избивали, как это случилось с юным Кашириным, которого чекист ударил прямо при надзирателе. В знак протеста известные и уважаемые анархисты, в том числе и те, кто сражался за революцию, во главе с Максимовым вынуждены были объявить голодовку.

Поэтому первое, о чём нас попросили в Москве, было подписание обращения к властям с осуждением намеренного истребления наших товарищей. Мы, конечно же, тут же сделали это, хотя и Саша уже успел понять то, что давно осознала я: любой протест внутри России, исходивший от немногих пока находившихся на свободе политиков, был совершенно бесполезен. Люди же, пережившие Гражданскую войну, невероятные лишения, а теперь и большевистский террор, изрядно очерствели; рассчитывать на их помощь не приходилось, ибо всё, что они могли делать хорошо — это молчать, не выдавая своего отношения к происходящему. Саша заявил, что нужно обращаться к трудящимся Европы и Соединенных Штатов: пришло время открыть им глаза на постыдное предательство Октября, и, может быть, в них, а также в прочих либеральных и радикальных кругах пробудится сознательность, кристаллизовавшись в мощный протест против жестокого подавления инакомыслия — лишь это остановит занесенную над миром руку диктатуры.

После трагедии Кронштадта мой друг сильно изменился: он больше не верил в большевистские мифы, и вместе с другими товарищами, тоже прежде оправдывавшими методы большевиков революционной целесообразностью, увидел, наконец, бездну, разверзшуюся меж Октябрем и диктатурой.

Если бы цена этого извлеченного ими урока не была столь ужасной, мне было бы отраднее сознавать, что мы с Сашей снова едины в своей позиции, а российские товарищи, до сих пор не одобрявшие моего отношения к большевикам, теперь поняли, в чём дело, и стали ближе. Мне действительно было бы легче не искать пути, не чувствовать себя изгоем среди лучших представителей анархизма, не прятать мысли и чувств от людей, деливших со мной идеалы, труды и всю мою жизнь в течение тридцати двух лет. Но теперь в Кронштадте был водружен черный крест, а сердца современных Христов истекали кровью; кто мог в такую минуту думать о личном, об удобстве существования и избавлении от терзаний?

По дороге в Леонтьевский переулок мы наткнулись на какое-то совсем уж нарочито нарядное шествие, и не преминули осведомиться, что происходит. «Вы что, с Луны в Москву свалились? — сказали нам. — Это же встречают генерала Слащева». «Что?! — вскричали одновременно мы с Сашей. — Белого генерала, погромщика, человека, собственноручно убивавшего красноармейцев и евреев, неутомимого и торжественно в том признававшегося врага революции?» Да, того самого, отвечали нам; только теперь он не такой — он покаялся и молил о том, чтобы ему позволили вернуться на любимую родину, поклявшись отныне верно служить большевикам. Теперь его по приказу советской власти всюду принимают с воинскими почестями, а рабочие, солдаты и матросы поют в честь одного из самых непримиримых врагов революции хвалебные гимны. Мы нарочно отправились на Красную площадь, чтобы своими глазами увидеть, как Лев Троцкий, верховный комиссар революционной армии Советской республики, устраивает смотр войскам перед царским генералом Слащевым-Крымским. Нашему взору предстала большая трибуна, установленная неподалеку от могилы Джона Рида, на которой кронштадский мясник Лев Троцкий рукой, обогрелой кровью многих тысяч людей, жал руку нового товарища Крымского — увидев это, боги наверняка плакали от смеха.

Вскоре после этого генералу Слащеву приказали отправляться в Карелию, безлюдный северный край, дабы «ликвидировать там контрреволюционное восстание». Карелы, которые только-только осознали, что такое право на самоопределение, посчитали, что большевистское ярмо слишком тяжело, и наивно выступили против типичных злоупотреблений, от которых пришлось пострадать и им. Кто же еще мог заставить «мятежников» образумиться, как не генерал Слащев-Крымский?

Нам оставалось утешаться лишь тем, что мы не ели из рук убийц — от этого унижения нас спасли моя старушка-мать и наш друг Генри Алсберг. Мама через друзей прислала мне триста долларов, а Генри оставил Саше немного одежды, которую можно было обменять на продукты, и этого при скромном образе жизни, который мы теперь вели, должно было хватить надолго.

Правда, мы еще не свыклись с тем, как жили москвичи: перехватывать на заре крестьян, привезших на продажу дрова, везти купленное топливо на санках домой, колоть замерзшими руками поленья и относить их наверх через три лестничных пролета; кроме того, несколько раз в день наносить воды, готовить, стирать и спать в маленькой, отгороженной от коридора комнатёнке (а Сашина была даже меньше моей и никогда не прогревалась) — поначалу всё это было очень тяжело и ужасно нас изматывало. Мои руки потрескались и распухли, спина, никогда не отличавшаяся выносливостью, постоянно

болела; страдал и мой добрый друг — вернулись его прежние болячки, последствия давнего падения в Нью-Йорке, после которого он целый год не мог ходить. Тем не менее, телесные тяготы и усталость были пустяком по сравнению с внутренним, духовным облегчением — нам ничего не нужно было от власти, кровавым побоищем в Кронштадте нанесшей Октябрю поистине смертельный удар.

После крушения идеалов, устроенного диктатурой, сама мысль о создании музея Кропоткина под ее покровительством показалась мне прямым оскорблением памяти Петра. Саша тоже считал неуместным открывать мемориал Петру в цитадели Ленина, Троцкого и Слащева-Крымского, и российские товарищи были с этим согласны, но всё же цеплялись за идею музея как единственного центра анархизма, на который не смогут наложить лапу большевики. Софья же не хотела превращения музея в анархистскую штаб-квартиру. Она, сопровождая и помогая Петру на протяжении всей его жизни, стремилась отдать дань всей его многосторонней деятельности — от философии до литературы, от гуманизма и до анархизма. Я понимала чувства Софьи, но должна была поддержать товарищей в их стремлении подчеркнуть то, что ее супруг прежде всего был анархистом: это было его собственное желание, он выбрал анархизм смыслом своего существования, и поэтому на первом месте в новом музее должен был быть именно Кропоткин-анархист.

Но и не обращать внимания на пожелания Софьи я не могла: только у нее было достаточно преданности, терпения, времени и свободы, чтобы создать этот мемориал и следить за тем, чтобы он расширялся и развивался. Я дала понять товарищам, что на свободе они, судя по всему, временно, и ЧК может прийти за ними в любую минуту; и как же тогда быть? Ведь они не смогут заниматься музеем — даже сейчас им это не всегда удаётся: они и так трудятся в поте лица, а ведь еще необходимо добывать приварок... Ни времени, ни сил на то, чтобы вносить лепту в создание музея Петра, не остается; всё, что, например, собираюсь сделать я — это всего лишь обратиться за помощью к американцам, да и то лишь потому, что хочу помочь Софье. Я не скрывала, что нынешняя Россия не заслуживает того, чтобы в ней был музей Кропоткина, и не видела смысла ради этого обращаться за помощью или принимать ее от советских самодержцев.

Саша согласился подписать моё обращение с условием, что ни под каким видом мы больше не будем иметь дел с теми, кто ответствен за бойню в Кронштадте, за гонения на наших товарищей, за ночные нападения на заключенных в Бутырской тюрьме. Он подчеркивал, что так с политзаключенными не поступали даже Романовы, а в социалистической республике чекисты и солдаты нападают на спящих узников, избивают их, женщин за волосы стаскивают вниз по лестнице, бросают в поджидающие их грузовики и увозят неизвестно куда. Ни один человек в истинном понимании этого слова, наделённый революционной принципиальностью, не мог иметь дело с такими преступниками, страстно заявил Саша.

Мой товарищ не так часто доходил до такой степени возбуждения или негодования, как бы сильно взволнован он ни был, но письмо, пришедшее от жертвы страшной ночной облавы, стало последней каплей, переполнившей чашу Сашиного терпения и гнева, копившихся последние два месяца. В нём подтверждались слухи, доходившие до нас в течение нескольких дней, последовавших за нападением. Вот что в нём было написано:

«Концентрационный лагерь, Рязань.

Ночью 25 апреля на нас набросились красноармейцы и вооруженные чекисты, приказав нам одеваться и собираться для отправки. Некоторые политзаключённые, испугавшиеся, что их отправляют на казнь, отказались идти и были страшно избиты. Хуже всего пришлось женщинам: их тянули вниз по лестнице прямо за волосы. Многие серьезно ранены; меня так избили, что все тело превратилось в один страшный синяк. Нас выволокли силой в одном белье и бросили в грузовики, и никто не знал, что случилось с другими — меньшевиками, эсерами, анархистами и анархо-синдикалистами.

Сюда привезли десятерых, в том числе Фаню Барон. Условия просто невыносимые: прогулок нет, воздух спёртый, еда скудна и отвратительна; повсюду грязь, клопы и вши. Мы собирались объявить голодовку, требуя улучшения условий, но нам только что велели выходить с вещами — нас снова куда-то отправляют, но куда именно, неизвестно» 63.

Причина столь ужасного обращения с арестованными состояла в том, что ЧК не могла перенести даже относительной свободы, которой наши товарищи пользовались в Бутырке — проведения ими занятий, лекций и дискуссий, а также их требований улучшить условия содержания заключенных. Постоянное их пребывание в запертых камерах, ужасная еда и то, что параша не выносились по два дня, привели к полторатысячной забастовке, которая прекратилась лишь после того, как все требования бастовавших были выполнены. ЧК не забыла этого, и взяла реванш — он-то и имел место 25 апреля. Неоднократные запросы в Моссовет относительно участия трехсот силой вывезенных из Бутырской тюрьмы меньшевиков, эсеров и анархистов прояснили ее: оказалось, все эти заключённые были разбросаны по тюрьмам Орла, Ярославля и Владимира.

А вскоре после апрельской облавы с открытым протестом против ее ужасов выступили студенты Московского университета; правда, зачинщиков тут же арестовали, университет закрыли, а студентам дали три дня на возвращение в родные города и веси. Было объявлено, что это якобы из-за отсутствия пайков, однако молодежь заявила, что обойдётся и без них — лишь бы продолжались занятия. Тем не менее, им велели уехать, а вскоре университет открылся вновь. «Отныне мы не потерпим никакой политической деятельности», — заявил ректор Преображенский, и с этих пор увольнение преподавателей и отчисление студентов всего лишь за попытку протеста стало привычным делом, правда, широкой общественности это было невдомёк. Ну, а после Кронштадта и объявления нэпа удавка стала еще жестче — власть вообще потеряла всякий стыд. Например, профессор философии Алексей Боровой, известный анархист, который свободно преподавал при царском режиме, во время большевистской диктатуры был вынужден уйти 64 всего лишь за то, что на его занятиях всегда было много студентов, которые с упоением слушали его лекции.

Арестованных студентов, среди которых были и девушки семнадцати-восемнадцати лет, обвинили в принадлежности к кружку, изучавшему работы Кропоткина, и отправили в ссылку. Наивно было бы думать, что большевики промедлят наложить лапу на музей Петра, однако большинство членов комитета отказывались в это верить; впрочем, нам с Сашей уже не нужно было отстаивать свое мнение: мы определенно решили покинуть Россию.

Первое время после бойни в Кронштадте, видя Сашины терзания, я даже не пыталась обсуждать с ним эту мысль, пришедшую мне в голову во время осады Кронштадта, — это могло усугубить положение. Когда же он, наконец, собрался с силами, я завела разговор, сомневаясь в том, что он захочет уехать, но зная, что ни в коем случае я не оставлю его наедине с властью-убийцей. Поэтому я с громадным облегчением узнала, что Саша провел не одну бессонную ночь, обдумывая то же самое. Всесторонне обсудив, удастся ли нам в нынешних условиях принести пользу России, мы с сожалением признали, что это неосуществимо: ни словом, ни делом мы не сможем помочь нашим товарищам, поскольку ни то, ни другое не имеет для революции никакой ценности. С тем же успехом мы могли бы выйти на площадь и объявить об антиреволюционной сущности большевизма или устроить покушение на Ленина, Троцкого и Зиновьева, пусть даже и погибнув вместе с ними. Это не только не послужило бы нашему делу, но даже напротив — еще более укрепило бы диктатуру, после чего ее искусная пропаганда непременно изваляла бы наши имена в грязи, выставив на весь мир предателями, контрреволюционерами и бандитами.

Однако и жить связанными по рукам и ногам и с кляпом во рту мы больше не могли, и потому решили уехать. Саша, поняв, что революция раздавлена железной рукой диктатуры, и нам более не придёт заниматься в Советской России чем-то важным, настаивал на том, что мы должны покинуть страну немедленно и нелегально: «Нам не выдадут паспортов, — сказал он. — Зачем же мучить себя?» «Но не покидать же нам страну, обещавшую нам воплощение наших замыслов и надежд, тайно, яко татям в нощи?» — возражала я. Мне казалось кощунственным поступать так, по крайней мере, до того, пока мы не испробуем другие средства, и я убеждала Сашу в том, что нам нужно связаться с товарищами за границей и узнать, в какой стране нас примут. В запланированном на июль конгрессе Красного Интернационала профсоюзов должны были принять участие делегаты-синдикалисты; можно передать наше письмо с ними, а еще лучше — отдать его Генри Алсбергу, который вскоре собирался покинуть Москву. Вот он точно не поступит подобно прочим, лишь обещавшим доставить наше послание американским товарищам и рассказать им всю правду, а вместо этого до неузнаваемости искажавшим наши слова либо вообще забывавшим о них. Неудивительно, что Стелла и Фитци до сих пор с воодушевлением писали нам о том, как, должно быть, замечательно нам работается в России. Да, Генри был абсолютно надежным человеком, и нам всего лишь нужно было дождаться, пока он встретится с немецкими товарищами. Мой друг неохотно согласился; впрочем, он всё теперь делал без желанья: после Кронштадта ему не будет спокойной жизни, сказал он.

Я понимала его; понимали и все наши товарищи, да вообще почти все, в ком еще оставался революционный запал. Наша московская квартира стала их пристанищем: они заявлялись во всякий час, голодные и отчаявшиеся, и тогда мне, словно новоявленному Христу, приходилось снова и снова творить пресловутые чудеса с пятью хлебами и тремя рыбами. Наши скудные обеды могли накормить от силы нескольких человек — гораздо меньше, чем приходило, и тогда, чтобы убедить их в нашем достатке, я начинала выдумывать, почему сама не ем. В ход шли головная боль, несварение желудка и право повара еще на кухне пробовать всё, что ставится на стол. У меня начались головокружения, но они беспокоили меня куда меньше, чем отсутствие личного пространства, но этим людям больше некуда было пойти: им нигде не было места, они никому больше не могли сказать о том, что их тревожит, и мы, принимая их, всей душой стремились оказать им эту единственную

возможную в нашем нынешнем положении услугу.

Впрочем, не все наши гости были столь утомительны, хотя и им тоже доставалось от родины. Например, когда в Москву ненадолго приехала Александра Шаколь, секретарь нашей экспедиции, мы были искренне рады увидеться с ней и угостить ее любимым десертом, который она называла гоголь-моголь. Она помогла нам возобновить знакомство с Верой Николаевной Фигнер, одной из самых величественных фигур среди первопроходцев революционного движения — «Народной Воли». Год назад, впервые с ней встретившись, я была просто поражена тем, что такой человек голодает. Спросив, получает ли она академический паек, не позволявший жировать, но и не дававший умереть с голоду, она покачала головой: Вера была слишком гордой, чтобы просить, и ее просто обошли. Я тут же пошла к Луначарскому, и он страшно разозлился, когда услышал о Фигнер; ничего не зная об этой истории, он при мне распорядился о том, чтобы ей был немедленно выделен паек.

Сейчас она выглядела лучше и даже помолодела. Несмотря на годы, она по-прежнему прекрасно выглядела, сохранив вдохновлявшую поэтов красоту; дух ее и после двадцати двух лет в Шлиссельбургской крепости и ужасных событий нынешней России был бодр. Восхищение вызывали обходительность Веры Николаевны и ее живой ум — она то и дело вспоминала о героической эпохе «Народной воли», своих товарищах, их силе и бесстрашии. Вот кто был истинными предтечами анархизма, считала Вера: они полностью посвятили себя великой идее, неся ее в массы и совершенно не думая о себе, особенно Софья Перовская, главная богиня революционного пантеона. Фигнер до сих пор помнила почти все их имена, и память эта была отражением ее собственного нравственного величия, поэтому ее рассказы всегда укрепляли во мне надежду: всё, что когда-то было в истории России-матушки, однажды непременно повторится.

Совершенно неожиданно из Америки приехал наш старый друг Боб Робинс, тот самый, что жил в странном доме на колесах и имел собаку, ненавидевшую евреев. На него снизошло откровение — якобы у него имеются русские корни; он поставил крест на собственном прошлом, порвал с друзьями и, взяв все свои сбережения, приехал в страну Советов помогать ей в трудах и делить с ней славу. Правда, Люси, его супруга, предпочла этому порыву долгий, но безопасный путь в Россию через Американскую Конфедерацию Труда. Она и Бобби были частью нашего прошлого, которое, промелькнув перед нами в мучительном настоящем, вновь скрылось в грозовых тучах российского небосвода.

Так же внезапно явилась Луиза Брайант, уже не столь убитая горем: со смерти Джона Рида прошло уже семь месяцев, а Луиза была молода и полна жизни. Недаром друзья ее мужа относились к ней с недоверием и осуждением: она снова пудрила носик, красила губки и следила за фигуркой, что в Советской России было поистине ересью! Видимо, Луиза никогда не была коммунисткой, а просто вышла за одного из них замуж. Я пыталась защитить ее — мол, почему бы ей не идти своей дорогой; но для аскетов от коммунизма это было слишком, и меня заодно с Луизой Брайант и ей подобными в очередной раз называли буржуйкой: я-де всегда отстаиваю права человека, хотя на повестке дня лишь один вопрос — мировая революция.

Луиза попросила меня пойти с ней на беседу со Станиславским. Я с радостью согласилась: давно хотела увидеть человека, чьё великое искусство и неустанный труд возвысились над серыми буднями. Во время первого нашего приезда в Москву Луначарский снабдил меня рекомендательными письмами к нему и к Немировичу-Данченко, но тогда они оба были больны, а потом меня унёс бурный поток российской жизни.

Мы нашли Станиславского в окружении чемоданов, коробок и сумок — его студию вновь реквизировали, но поскольку это случалось уже много раз, он уже не обращал внимания ни на это, ни на частые домашние аресты. Его гораздо больше удручал застой русского театра: за четыре года не создано ничего заслуживающего внимания, сетовал великий режиссёр. Артист растёт, когда развивается искусство; если же этот родник иссяк, даже грандиозные творцы становятся бесплодными. Нет-нет, он не отчаялся, поспешил добавить Станиславский: любой, кто знаком с сокровищами русской земли и души, не может впасть в отчаяние — да, от Гоголя до Чехова, Горького и Андреева нить, скорей всего, оборвана, но всё же не потеряна, и будущее это докажет, провозвещал он.

Но самым близким нам по духу гостем был Генри Алсберг, заходивший часто, но как будто угадывавший моменты, когда мы были одни. Он приходил, неизменно навьюченный гостинцами, призванными пополнить нашу кладовку, а его блестящее остроумие и исключительная душевность с успехом рассеивали нашу печаль. Генри больше не говорил о грандиозных политических переменах, которые последуют после закрытия фронтов: после его возвращения в Россию все они были ликвидированы, даже кронштадтский; оставалась, правда, еще Карелия, но ею уже занимался генерал Слащев-Крымский. Гражданская война подходила к концу, и наступила пора сбиться тому, о чём мечтал Алсберг: свобода слова и печати, амнистия политзаключённых в советских тюрьмах...

«Где же всё это, Генри? — спросила я его однажды. — Где эти свободы, которых ты так ждал от Ленина и его партии?» Он был чересчур честен, чтобы отрицать, что его, как и всех нас, преследуют мысли о Кронштадте, о массовых арестах и бесчеловечном отношении к заключённым, но у него не было ясного представления о природе, значении и целях революции. Он был донкихотом, который во всём винил отнюдь не ее порождение: нет, это отсталость страны и ее народа, интервенция и осада стали причиной всего того, что творилось именем диктатуры и с благословения власти. Это иногда выводило меня из себя, но не отражалось на моем отношении к этому простому, славному человеку, с которым мы были очень дружны.

Особенно ему удавалось веселить нас: ведь в большевистской России, пожалуй, как нигде более нужно было время от времени посмеяться, чтобы сдержать подступающие слезы. Так, в один из своих последних визитов Генри принёс большую охапку одежды. «Вайме, — сказал он с нарочитым местечковым акцентом, — если Владимир Ленин может торговать, то почему этого не может Александр Беркман?» «Таки может, — отвечал ему в тон Саша. — И пусть это не кошерно, но только в этом деле я Ленина обгоню: я торговал бебихами на Украине еще до того, как святой отец из Кремля выдал на это индульгенцию». «Ты забываешь, — вставила я, — что ты торговал как „спекулянт и бандит“, а Ленин делает это, прикрываясь священным именем Карла Маркса, а в этом вся соль и вся разница».

Да, разница была именно в этом. Несчастные, торговавшие перед гостиницей «Националь» своим жалким скарбом, уступили место большой кондитерской, витрина которой была уставлена белым хлебом, пирожками и пирожными — ее хозяин, вероятно, большевик, наверняка пришёлся Ленину по сердцу. Торговля шла бойко: в самой кондитерской было полно народу, а на улице стояла целая толпа людей, бледных, пошатывающихся от голода, чьи взгляды были прикованы к выставленным в витрине чудесам — такой роскоши люди не видели уже несколько лет. «Откуда же всё это взялось? — возмутилась какая-то женщина, когда я проходила мимо. — Еще недавно за кусок ситника можно было загреметь в холодную, а теперь вы только посмотрите! Неужто мы вершили революцию ради этого?» «Я думал, с буржуазией покончено, — подхватил мужчина. — Но вы посмотрите, посмотрите, кто сюда ходит! Кто это такие? Чем они занимаются?» Собравшаяся толпа подхватила этот клич, и некоторые уже стали сжимать кулаки, но тут раздалось: «Разойтись!» Это обрёл голос милиционер, охранявший кондитерскую: власть стремилась защитить священное право собственности.

Один из многочисленных магазинов на Тверской, до этого три года наглухо заколоченный, теперь не просто открыл двери — его витрины живописали огромным выбором фруктов, икры, дичи и прочих яств, в существование которых в России со времен Октября даже верить перестали. Снаружи немедленно собралась толпа, похоже, слишком потрясенная, чтобы сразу понять, что всё это значит, но вскоре пелена спала, и люди осознали: над ними попросту потешаются. Удивление мигом переросло в недовольство, затем в негодование, и те, кто стоял у самого входа, рванулись в магазин, но предприниматель-ленинец был готов к такому повороту событий. Внутри магазина расположилась охрана, знающая, что нужно делать в подобных случаях, и добросовестно выполнившая свои обязанности — пожалуй, единственная истинная сила Советской России.

По стране шагал нэп. Настал час новой буржуазии. Необходимость суетиться в поисках пайков, имея под рукой такие деликатесы, отпала, и нажитое в прежние времена, точнее, награбленное у трудящихся больше не нужно было прятать. Я не могла поверить своим глазам, когда в Первой студии Станиславского увидела женщин в бархате, шелках и драгоценностях... Но почему бы и нет, если советские дамы знают толк в изысканных нарядах? Да, сейчас они немного помяты — еще бы, столько пролежать в сундуках! — да, в Париже уже новая мода, но лиха беда начало!

Но среди народных масс по-прежнему преобладали серые и тусклые тона: простые люди изнемогали в ожидании — ордера на получение дыры, в которой они могли бы жить, жалкого куска дешевого ситца, лекарства для больных или даже гроба, чтобы проводить в последний путь родного человека. Последнее вовсе не было плодом помрачения моего несчастного рассудка, а всего лишь одним из проявлений ужасной действительности, о которых мне столько рассказывала Анжелика Балабанова. Беднягу снова отправили в ее маленькую комнатку в «Национале», лишив всех советских постов. Больная, разочарованная, сломленная, она сильнее всех пострадала от последнего кульбита своего идола Ильича: видеть толпы голодных людей у булочных и кондитерских было пыткой для того, кто, подобно Анжелике, мог устыдиться, получив в подарок несколько печений. Для нее это было самое настоящее чистилище, о котором догадывались только те, кто хорошо ее знал.

Волнуясь, она рассказала мне о самоубийстве ее подруги, большевички со стажем в четверть века. Я уже слышала о том, что после введения новой экономической политики некоторые коммунисты сводили счёты с жизнью, и думала, здесь похожий случай; однако Анжелика сказала, что это не так. Ее подруга застрелилась, чтобы обратить внимание властей на своего несчастного сына, лежавшего в больнице. Старший пал на фронтах революции, а младший, совсем юный, был болен туберкулезом, но мать предупредила, что он находится в больнице уже сверх положенного срока, и его необходимо забрать домой. Несчастливая женщина пыталась получить ордер на комнату в «Национале», где ее мальчику были бы обеспечены хоть какие-то удобства, а когда ей это не удалось, она решила покончить с собой, надеясь, что роковой выстрел заставит исполком партии дать комнату ее ребенку. «Бедняжка, наверное, сошла с ума», — не поверила я, но Анжелика уверила меня, что та была в своем уме, просто не могла видеть, как ее сын умирал, словно бездомный пёс. Но самое ужасное случилось в день похорон. Пойдя с товарищем провести покойницу в последний путь, Анжелика чуть не сошла с ума: придя на кладбище, она не нашла ни могилы, ни гроба, ни самого тела. Ее провожатый настоял на том, чтобы вернуться, и лишь на обратном пути им встретились две женщины с тачкой, служившей им катафалком: они опоздали с похоронами из-за сложностей в получении ордера на гроб и разрешения на похороны.

Нэп расцветал, а тех, кто, вдохновлённый им, стекался к Святому Граалю, убеждали, что пролетариат в курсе происходящего, что деньги в Советской России больше не нужны, потому что трудящиеся имеют бесплатный доступ ко всем благам земным. Большая группа религиозных фанатиков из Америки доверчиво передала все свои пожитки комитету, встречавшему их на границе. Их отвезли в Москву, набили, как сельдей в бочку, в какую-то халупу, выдавая понемногу супа и хлеба, а потом вообще бросили на произвол судьбы. Через месяц двое детей из этой группы умерли от недоедания и инфекционных заболеваний. Люди были в отчаянии; все болели, а одна женщина сошла с ума от переживаний за детей и от того, как они жили в России. Наш юный друг Бобби, уже переставший тешить себя надеждами, пришёл к нам с рассказом обо всём этом, и как раз во время его горестного повествования, словно в подтверждение его словам, в дверь постучали.

На пороге была женщина, которая прошла две версты от вокзала до нашего порога, чтобы поведать нам о своей трагедии. Она, госпожа Коносевиц, вместе с мужем, четырнадцатилетней дочерью и маленьким сыном вкусили все прелести режима Митчелла Палмера, и затем были высланы из Америки. Они прибыли в Россию с горящими сердцами, хотя и не были столь легковверны, как их товарищи по несчастью. Им было известно, что Россия голодна и холодна, поэтому они решили раздать излишки своих припасов самым нуждающимся. Через две недели Коносевицей сняли с поезда, на котором они ехали в родную украинскую деревню, а главу семьи обвинили в том, что он махновец. Бедняга тщетно пытался объяснить чекистам, что совсем недавно прибыл из Америки, где с ним обращались очень плохо и откуда его выслали за коммунистические взгляды, что он даже не знает, «что такое Махно», но это не помогло. Его арестовали, их багаж конфисковали, а жену и двоих детей высадили на первой же станции, оставив им немного денег, которых хватило бы только на неделю. В любом случае, нам следовало попытаться помочь одному из наших: спасти его жену от сумасшествия, найти ей работу и вырвать его самого из лап

смерти.

В довершение всех бед и горестей советской жизни неожиданно разразился голод, начавшийся с Поволжья и стремительно распространявшийся по всей стране. Властям было известно, что, если ничего срочно не предпринять, в ближайшие пару месяцев могли погибнуть миллионы людей, хотя и агрономы, и экономисты предупреждали о надвигающемся бедствии. Они честно заявляли, что виной всему были глупость, неумение работать, дурное управление и бюрократия, но, вместо того, чтобы предупредить население и предотвратить беду, власть засекретила эти доклады.

Немногие посвящённые, не принадлежавшие к числу большевиков, были бессильны что-либо предпринять, и мы тоже. Пока наша вера в Советы была сильна, мы бросили бы всё и стучали бы в двери каждого руководителя, предлагая помощь в борьбе с голодом, но, увы, после Кронштадта мы слишком многое поняли. Тем не менее, нам было нетрудно оповестить о грозящей России беде всех, кого мы сочли нужным, дабы они приняли посильное участие в кампании помощи пострадавшим от голода. Эти люди поспешили предложить властям свое содействие, однако их предложения были отклонены, лишь кое к кому отнеслись чуть более благосклонно. Разгадка крылась в их партийной принадлежности: кроме Веры Фигнер, присоединившейся к кампании исключительно из человеколюбия, большинство из тех, к кому мы обратились, были кадетами, яростно сражавшимися против Октябрьской революции. Их неоднократно арестовывали как контрреволюционеров, но затем неожиданно с распростертыми объятиями приняли в «Гражданский комитет» б5, предоставив всё необходимое для работы: здание, телефоны, машинисток и право выпускать газету, два номера которой даже успело выйти. В первом из них было опубликовано обращение патриарха Тихона, призывавшего паству жертвовать на голодающих, передавая деньги и продукты лично ему, поскольку за их распределение будет отвечать он.

Ирония братания пролетарского авангарда со своими злейшими врагами состояла в том, что выпущенный последними «Бюллетень» был ничем иным как возрождёнными «Ведомостями», чернейшей реакционной газетенкой царского времени б6, которую он напоминал всем, разве что кроме названия — теперь этот листок назывался «Помощь». В очередной раз советские гении переплюнули цирк Барнума и Бэйли: теперь Запад не сможет сказать, будто коммунисты не признают политических свобод, или советская власть отказывается сотрудничать с другими партиями в решающий час голода.

После того, как за границей узнали о столь радостных событиях, и в дело вступил щедрый и неиссякаемый источник помощи в виде АРА б7, любовь была отменена, а невесту не просто обманули, но даже бросили в тюрьму. Союз был объявлен распавшимся, членов «Гражданского комитета» вновь перекрестили в контрреволюционеров, а их вождей выслали в отдаленные районы страны. Веру Фигнер решили не трогать, опасаясь возможной бури негодования, которая поднялась бы за границей, но она сама отказалась от подобной чести и пошла в ЧК требовать, чтобы ей позволили разделить судьбу ее соратников. Тем временем Калинин, печально известный по Кронштадту, разъезжал по стране в вагоне «люкс», в поистине королевской манере возя с собой целый сонм иностранных корреспондентов и потчuya их ленинской мудростью: мир должен был знать, насколько

советское правительство заботится о своем пострадавшем от голода народе.

Однако были и те, кто действительно спасал Россию от голода — иностранные организации, только разворачивавшие свою деятельность, и трудящиеся России, в большинстве своем беспартийные, зачастую нечеловеческими усилиями спасавшие охваченные бедствием районы. Чудеса творила и интеллигенция: сотни ее представителей жертвовали собой, работая врачами, медсестрами, да и вообще помогая всем, чем только можно. Многие гибли от болезней и инфекций, некоторые даже были убиты обезумевшими от голода людьми, на помощь которым они приходили; правда, по сравнению с миллионами жизней потеря нескольких сотен буржуев вряд ли была заметна.

Для мировой революции гораздо важнее было то, что советский режим неожиданно обнаружил церковные сокровища, которые теперь можно было конфисковать без ущерба для общественного мнения; нет, это происходило и раньше, и даже тёмные крестьяне не очень этому сопротивлялись, но теперь у власти были развязаны руки. Это подлило масла в огонь разгорающейся ненависти к диктатуре, питаемой во всех бывших сословиях, а приказ всем партийцам немедленно сдать все имеющиеся ценности, вплоть до побрякушек, ошеломил даже невозмутимых прежде большевиков. Они были потрясены тем, что их подозревают в наличии тайных запасов ювелирных украшений и других ценностей, и как оказалось, это было вполне обосновано. Так, например, некий Стеклов, редактор «Известий», пламенный большевик, мастерски травивший революционеров, не бывших членами ВКП(б), и обзывавший их всякими словами, вплоть до бандитов, имел целую коллекцию золотых и серебряных изделий, которых не могло быть в собственности у партийца. Расстрелять известного и нужного партии человека, редактора одной из ведущих газет, как расстреляли Фаню Барон, было нельзя, но и оставлять его в святилище было опасно: простые партийцы могли набраться мужества и спросить, почему одним можно, а другим нет. Поэтому Стеклова уволили, а других таких же «коммунистов» от греха подальше отправляли в Крым.

Голод же продолжал свое страшное, опустошающее шествие по стране, но до столицы еще не добрался, и потому здесь кипела жизнь: в ближайшее время должно было пройти сразу три международных конгресса: Коминтерна, женских организаций и Красного Интернационала профсоюзов. Ради этого спешно ремонтировали здания, примыкавшие к гостинице «Люкс» 68, город чистили и украшали, а рядом с лазурью и золотом куполов знаменитых сорока сороков на ветру трепыхались красные флаги и транспаранты — к приёму гостей со всех частей света Москва была готова.

В числе последних прибыли и двое делегатов от американской организации ИРМ — Уильямс и Каскаден, к которым вскоре присоединились Элла Ривз Блур, Уильям З. Фостер и Уильям Д. Хейвуд. Мы недоумевали: «Большого Билла» выпустили под залог в двадцать тысяч долларов, и над ним по-прежнему висело двадцать лет тюрьмы; неужели он решился на побег?

Саша считал, что так оно и есть: он потерял доверие к Биллу после 1914 года, когда тот спраздновал труса во время кампании за свободу слова, которую мой друг проводил в Нью-Йорке. Я же защищала Билла, апеллируя к тому, что и мы не всегда проявляли уважение к

законам. Тем не менее, Саша отказался идти со мной в гостиницу, где поселился Хейвуд: «Если он захочет повидаться с нами, пусть сам приходит». Я лишь посмеялась над такой непримиримостью.

Прежде мы всегда радушно принимали Билла Хейвуда, когда бы он ни заявился, и где бы в это время ни жили мы — это был наш человек, проверенный в деле, пусть и не разделявший наших взглядов. Я поспешила в «Люкс», где селили самых почетных гостей, и Большой Билл встретил меня с прежней теплотой, как будто и не было долгой разлуки. Он немедленно сграбастал меня в объятия и принялся кружить по номеру на глазах у всех, так что присутствовавшие принялись подтрунивать над ним: дескать, они и не знали, что Э.Г. тоже входит в сонм его возлюбленных. Билл лишь добродушно рассмеялся и хотел усадить меня рядом с собой, но я сказала, что забежала всего на минутку — поздороваться и сообщить, где нас можно найти, чтобы я еще раз угостила его кофе, «черным как ночь, сладким как любовь, и крепким как революционная вера». Улыбнувшись приятным воспоминаниям, он пообещал зайти на следующий же день.

Среди тех, кто был сейчас в номере Хейвуда, было несколько переводчиков, служивших, как мне было известно, в ЧК. Это были русско-американские коммунисты, взлетевшие по служебной лестнице благодаря оказанным партии услугам; поэтому в моем присутствии они чувствовали себя неуютно и смотрели на меня с подозрением. Впрочем, мне было безразлично их отношение: я бурно радовалась приезду Билла и других гостей из Штатов, прежде всего Эллы Ривз Блур, навещавшей меня в тюрьме Миссури и неизменно выказывавшей симпатию ко мне и интерес к нашей деятельности, а вскоре вообще ушла.

На следующий день, ближе к вечеру Билл пришел к нам, однако Саши не было дома; я же словно перенеслась в Америку, которой посвятила столько плодотворных лет, засыпав гостя вопросами о Стелле, Фитци, Элизабет Герли Флинн и многих, многих других, до сих пор остававшихся в моем сердце. Вдобавок мне хотелось знать, что вообще происходит в США — что с рабочим движением, ИРМ, практически уничтоженными на волне военной истерии, а также с нашими соратниками, однако Билл прервал этот поток вопросов: прежде чем продолжать, он должен кое о чём мне сказать. Я заметила, что он напряжён и дрожит — совсем как во время речи перед большой аудиторией. Он сбежал из-под залога, неожиданно выпалил он; убежал, и не из-за двадцати лет тюрьмы, довлевших над ним, хотя и это в его возрасте кое-что значило. «Это смешно, Билл, — прервала его я. — тебе бы вряд ли пришлось сидеть весь срок: Юджина Дебса ведь выпустили, и Кейт Ричардс О'Хару тоже». «Сначала дослушай, — попросил он. — Тюрьма не главное; главное — это Россия, страна, воплотившая всё, о чём мы мечтали, за что мы с тобой агитировали всю жизнь, родина освобожденного пролетариата, призвавшая меня». Да и в Москве, добавил он, настаивали на его приезде: ему сказали, что он нужен в России, ибо отсюда он сможет подготовить американский народ к революции и диктатуре пролетариата. Ему было непросто решиться на это и бросить товарищей, которым угрожали большие тюремные сроки, но революция была важнее, а ее цели оправдывали любые средства. Ну, а залог в 20 тысяч долларов заплатит Компартия — в этом он готов был поклясться; но поняла ли я его, и не думаю ли о нём как о беглом преступнике?

Я не стала ни расспрашивать его, ни рассказывать ему о России: оказалось, Билл так же слеп, как и мы, когда только прибыли в эту страну. Выдержит ли он мучительную операцию по удалению пелены с глаз? И вообще, что станет с Биллом, когда обрушится картонный домик, созданный им из надежд и мечтаний, — так же, как когда-то развалились и наши? В Штатах он сжег за собой все мосты: никогда больше он не воспламенит воображение американских пролетариев, и вряд ли оправдается в своем бегстве, случившемся как раз в то время, когда он был очень им нужен — кто доверит свою жизнь капитану, первым покинувшему тонущий корабль? А ведь вскоре Советская Россия откроется ему в своём истинном виде, и что будет тогда? Москва просто использует его, как и многих других, а когда он перестанет удовлетворять большевистских пропагандистов, то станет частью кучи отработанного материала, как и все, кто был до него. Эх, Большой Билл, бедняга Билл, плоть от плоти своей страны и ее обычаев! Здесь, в России, ты чужак, не знающий ни языка, ни людей...

Представляя себе трагическое будущее моего гостя, я чуть было не забыла о нём в настоящем. «Эй, ты почему замолчала?» — подал он голос. «Потому что молчание — золото, — отшутилась я. — Поговорим потом, когда ты освоишься и начнёшь понимать, что к чему». Но может ли он заходить ко мне запросто, спросил он, «как во времена дома 210 по Тринадцатой Восточной»? «Конечно, милый Билл, — ответила я, — в любое время! Если, конечно, тебе захочется видеть нас, когда тебя возьмут в оборот». Он не понял этих слов, но промолчал, и я не стала их объяснять.

Причины, которые Билл привел в оправдание побега, Саша поднял на смех — для него это было неубедительно; без сомнения, всё это внесло свою лепту в его решение, но основой его был ужас Хейвуда перед перспективой провести 20 лет в Левенворте. За последние несколько лет он частенько праздновал труса, сказал мой друг, так что мне не стоит беспокоиться о будущем Билла: этот уж точно приспособится, даже когда увидит грандиозный обман, который Москва всучивает всему миру. Тем более, что он всегда ратовал за сильное государство и централизацию власти — достаточно вспомнить его «Один Большой Союз»: что это, как не диктатура? «Так что и здесь Билл будет как сыр в масле кататься, — заключил Саша, — вот увидишь».

Через пару дней позвонил Уильям З. Фостер и стал напрашиваться в гости. Я собиралась устроить большую стирку, но Саша предложил принять нежданного визитёра у себя, пока я буду занята. Мне казалось, что Фостеру будет интересно встретиться с Шапиро и другими товарищами, которые пока находились на свободе, но тот ответил, что его не интересуют русские синдикалисты — ему нужно поговорить только с Сашей и со мной. Фостер одним из первых в Америке начал отстаивать революционную тактику в экономической борьбе, которую потом взяли на вооружение российские анархо-синдикалисты. Мне показалось странным, что он отказывается от встречи с ними — это была бы прекрасная возможность узнать, какое место занимает синдикализм при коммунистическом режиме (если он вообще его занимает).

Он пришел в компании канзасца Джима Браудера, который раньше был активным членом ИРМ, и Саша утащил их в свою комнатушку. К полудню я закончила свои хлопоты и пригласила гостей пообедать с нами, благо мы научились экономить на еде, почти

полностью перейдя на овощи и фрукты, обходившиеся гораздо дешевле мяса и рыбы. Парни пока еще не растеряли истинно американского аппетита: они ели с видимым наслаждением и расхваливали Э.Г., научившуюся так славно готовить. Сам Фостер почему-то почти всё время молчал, лишь однажды обмолвившись, что находится в России в качестве репортера Федеративной рабочей прессы, а вот рот Браудера почти не закрывался: он на все лады расхваливал увиденные им чудеса большевистского государства и достижения партии. Я осведомилась, как долго он находится в России. «С неделю», — ответил он. «И тебе уже всё ясно? Ты уверен в том, что всё так замечательно?» «Да, — сказал он. — Это сразу бросается в глаза». Я поздравила его с тем, что у него отличное зрение, и перевела наш разговор на менее тревожные темы, а вскоре гости ушли, о чем я ничуть не жалела.

Заходили к нам и другие американцы — Агнес Смедли и ее индийский друг Чатто 69. В Штатах я часто слышала об Агнес и ее интересу к Индии, но никогда прежде с ней не встречалась. Она оказалась поразительной девушкой, прирожденной бунтаркой, у которой, казалось, не было в жизни ничего, кроме стремления освободить угнетённые народы Индии. Чатто же был неглуп и остроумен, но на меня он произвёл впечатление мелкого мошенника: называя себя анархистом, он не скрывал своих националистических взглядов.

Часто приходил к нам и Каскаден, делегат от ИРМ Канады. С каждым днём он становился всё печальнее из-за интриг на предварительных обсуждениях того или иного вопроса. Он рассказал нам, что большевики опутали уже многих делегатов, и теперь те пляшут под дудку Лозовского, которого должны были избрать главой Красного Интернационала профсоюзов. Сам же Каскаден пытался держаться, но прекрасно понимал, что у него нет никаких шансов на успех на самом конгрессе. Мы утешали его, говоря, что шансов нет вообще ни у кого, кто независим и наделён сильным характером; конгресс же превратится в театр большевистских марионеток, которые по всем вопросам проголосуют так, как прикажет «центр». Смелый Кас, как мы дружески его называли, заверил нас, что знает это, но ему велено биться до конца, и он выполнит напутствие своей организации.

Прочие же делегаты держались от нас подальше; увы, среди них была и та самая Элла Ривз Блур, когда-то преданная мне; да и Билл Хейвуд больше к нам не приходил. Скорее всего, их удерживали от этого «переводчики», потому что ни Роберт Майнор, ни Мэри Хитон Ворс, ни Том Манн, находившиеся в Москве, не могли не знать, что мы сейчас живём в этом городе. Боб Майнор «слегка изменил свои взгляды», став коммунистом: в газете Liberator («Освободитель») была опубликована его исповедь, которая на самом деле была открытым письмом его прежнему кумиру, ближайшему другу и учителю Александру Беркману. Мэри Хитон Ворс, добрая душа и прекрасный человек, была одной из ближайших моих нью-йоркских подруг, но свои политические взгляды перенимала у других: когда ее мужем был пылкий Джо О'Брайен, она участвовала в ИРМ, а теперь, будучи вместе с Майнором, несомненно, стала коммунисткой. Но как бы то ни было, вряд ли ее чувства смогли бы затмить нашу прежнюю дружбу, о которой она сама столько говорила.

Был среди них и Том Манн, проверенный синдикалист и ярый противник любой политической машины, человек, который в англо-бурскую войну больше всех заботился обо мне в Лондоне. Во время его поездки в Америку мы принимали его в Нью-Йорке, и усилиями всей группы «Матушки Земли» спасли его от полного провала... А теперь все эти люди жили

в гостинице «Люкс» недалеко от нас! «Как же они могут так легко отказываться от друзей?» — спросила я Сашу. Он отвечал, что мне не следует принимать это близко к сердцу — им просто наплели, что у нас неважная репутация среди большевиков, и поэтому они боятся к нам подходить. Ему вот совершенно на это наплевать, и он не понимает, почему я не отношусь к этому так же; хотела бы я научиться смотреть на мир его глазами!

Делегатам из других стран тоже, оказывается, «намекали», но они, в отличие от англосаксов, были людьми другой закваски и сказали «переводчикам», что их не нужно учить, с кем дружить, и немедленно вышли на нас. Более того, вскоре все анархо-синдикалисты из Франции, Италии, Испании, Германии и Швеции превратили нашу квартирку в свой штаб и проводили здесь всё свое свободное время, то и дело требуя от нас, чтобы мы рассказали им о своих впечатлениях о России. Кто-то шепнул им и о якобы имевших место гонениях на левых, но они посчитали, что это «утка», сфабрикованная капиталистами: большевики-де так поступать не могут. Больше всего возмущались французы-коммунисты, присоединившиеся к землякам из нашего движения — они неустанно требовали подтверждения или опровержения услышанному, и более всех Борис Суварин 70, который, тем не менее, старался оставаться сдержанным.

ЧК, конечно же, была в курсе, кто и для чего к нам ходит, да и мы сами после подавления Кронштадтского мятежа были под колпаком. Саша к тому же побывал в питерском отделении Госиздата и потребовал обратно свои «Тюремные воспоминания», которые должны были выйти на русском языке, заявив сначала там, а затем и лично Зиновьеву, что порывает с большевиками. Мы были готовы к возможным последствиям этого шага, и теперь говорили с нашими гостями без обиняков. Суварин был потрясен нашими рассказами — он был уверен, что Ленин и Троцкий наверняка не знали правды; но пытались ли мы говорить с ними об этом? Да, ответили мы, однако нас не приняли; тогда Саша написал Ленину, попытавшись объяснить, но это тоже было без толку — все наши попытки достучаться до власти, все наши предложения и возражения были бесполезны: в России ничего не делалось без ведома и одобрения верховной власти, то есть ЦК ВКП(б), во главе которого стоял Ленин.

Суварин сказал, что французские коммунисты сотрудничают с анархистами; почему же это невозможно в России? Потому что, отвечали мы, во Франции коммунисты еще не пришли к власти и не установили диктатуру; когда этот час настанет, их дружба с анархистами пойдёт прахом, пообещали мы Суварину. Он яростно возражал, настаивая на том, что должен обсудить это с большевистскими вождями — ему хотелось наладить товарищеские отношения между своими единомышленниками из России и нашими соратниками.

Как раз в этот момент пришла Оля Максимова. Бледная и дрожащая, она рассказала нам, что Максимов и еще двенадцать ребят в Таганской тюрьме объявили голодовку до смерти: на их неоднократные требования объяснить, за что их арестовали еще в марте и до сих пор держат в заключении, не предъявляя никаких обвинений, власти лишь загадочно молчали, и тогда они решили обратить на себя и свое невыносимое положение внимание иностранных делегатов.

Присутствовавшие синдикалисты прямо-таки подскочили: они и подумать не могли, что в Советской России может быть такое! Они завтра же поднимут этот вопрос на открытии конгресса Интернационала Красных профсоюзов; однако Суварин упрасивал их не горячиться и сначала поговорить с профсоюзными вожаками: Томским, Лозовским и другими — открытая дискуссия, утверждал он, сыграет на руку врагам. Капиталистическая пресса непременно поднимет волну, а буржуазия обязательно этим воспользуется, поэтому данный вопрос нужно решать спокойно и по-товарищески. Делегаты ушли, заверив нас, что они не уgomонятся, пока не добьются справедливости.

Вернулись наши гости поздно вечером. Они рассказали, что их умоляли не устраивать шума и пообещали сделать все возможное, чтобы вернуть права заключенным анархистам. Для этого было предложено создать комиссию с представителем от каждой страны, в том числе и России, чтобы всем вместе встретиться с Лениным и Троцким; наши европейские товарищи были рады избежать раскола и с готовностью согласились.

Мы с Сашей решили сходить на открытие конгресса — посмотреть, кого можно привлечь в эту комиссию. Я не сомневалась, что на наше предложение откликнется Том Манн, который всю жизнь боролся с политическими репрессиями, и Билл Хейвуд тоже не откажется: когда его судили в штате Айдахо, и ему грозила смертная казнь, его спасли именно анархисты. Они всегда помогали и ему, и его ИРМ, так что я была уверена в их участии, но Саша покачал головой: «Манн, возможно, и поможет; если мне удастся предварительно поговорить с ним, он точно не откажет, но Хейвуд — ни за что».

Мраморный зал Дома Союзов превратился в театр, в котором всё было готово к грандиозному представлению. Солисты уже расположились на сцене, а места в оркестре были заняты делегатами со всех уголков мира; правда, преобладали там почему-то русские, а также гости из крупнейших промышленных государств — Палестины, Бухары, Азербайджана и тому подобных гигантов. За ограждениями, отделявшими делегатов от прочих, стояли скамьи для публики, и мы уселись в первом ряду, так что делегаты должны были проходить мимо нас.

Сидевший в президиуме Билл Хейвуд, увидев нас, отвернулся, что было неудивительно: бросив товарищей в беде, он, конечно же, откажется и от прежних друзей. Саша был прав: за будущее Билла не нужно было волноваться — здоровым глазом он видел не больше, чем незрячим, а значит, конечно же, он «приспособится», и поняв это, я, как ни странно, не озлилась, а лишь опечалилась.

А вот Том Манн, увидев нас, неожиданно замялся. Совсем недавно еще дружески к нам расположенный, он стал холоден, как только услышал о комиссии: он-де ничего не знает об этом деле, ему сначала нужно навести справки. Тогда Саша зло упрекнул Тома в слабости и боязни огорчить большевистских вождей, и Том даже вздрогнул: эти резкие слова исходили от того, кто за преданность делу заплатил годами страданий, пока он сам лишь разглагольствовал. «Хорошо, хорошо, — сказал он, устыдившись. — Я войду в комиссию».

Выйдя из зала во время перерыва, мы столкнулись с Бобом Майнором и Мэри Хитон Ворс. Они не ожидали этой встречи, и их лица растянулись в вымученных улыбках, а Боб

поспешил сказать, что он как раз нас искал, чтобы сказать — покамест он занят, но он вскоре обязательно найдёт время, чтобы зайти к нам. «К чему эти извинения? — перебил его Саша. — Они совершенно излишни, и из одной только обязанности ходить к нам не нужно». О комиссии он даже не заикнулся, и только позднее я поняла, как, должно быть, мерзко было у него на душе: он так любил Боба и верил в его способность играть честно...

Комиссия, наконец, образовалась; можно было встречаться с Лениным. Увы, ни один из ее членов был не чета хитроумному Великому Моголу, знавшему, как отвлечь внимание собеседника и как его переключить. Том Манн, слышавший сущим проклятием для правящих кругов своей страны, в России был принят и обласкан, став в руках большевиков податлив, точно глина. К тому же он был слишком слаб духом, чтобы тягаться с Лениным, и отдался ему, точно девственный юноша опытной жрице любви.

Не меньшее благоговение, смешавшись со страхом, накрыло большинство членов комиссии, и только рабочие-синдикалисты сумели не поддаться на заботливые расспросы Ильича о положении трудящихся за рубежом, их влиянии и прочие сладкие речи. Они настаивали: он должен рассказать им о голодающих революционерах России, и Ленин осекся на полуслове, резко сменив тон. Ему всё равно, заявил он, даже если бы все политические заключённые погибли — он и его партия не потерпят никакой оппозиции ни с какой стороны, ни слева, ни справа. Однако, тут же смилостивился вождь, он не станет возражать, если арестованных анархистов вышлют из страны с одним условием: в случае возвращения на советскую землю они будут расстреляны. За без малого четыре года слух Ленина привык к сухим щелчкам выстрелов, почти, видимо, лишив его рассудка...

Это предложение, конечно же, тут же было передано в ЦК и, конечно же, было одобрено; немедленно была сформирована совместная комиссия из представителей власти и иностранных делегатов, которой надлежало организовать незамедлительное освобождение и высылку не только голодавших в Таганке, но и остальных заключённых анархистов. Однако даже и на восьмой день голодовки новый орган топтался на месте: высшее руководство ЧК во главе с Дзержинским и Уншлихтом настаивало на том, что «в советских тюрьмах не было анархистов», а только бандиты и махновцы. Они требовали, чтобы им сначала предоставили список тех, кого нужно освободить для последующей высылки, но это было, конечно же, хитростью — на самом деле целью ЧК было саботировать этот план и выиграть время, чтобы конгресс завершился, а делегаты разъехались. Некоторые из них уже начали понимать: если ничего не будет сделано, наши товарищи умрут, и снова пригрозили поднять этот вопрос на конгрессе и обсудить его на публике, чего всеми силами стремились избежать власти, в очередной раз клятвенно пообещавшие добиться решения вопроса без проволочек.

Тем временем в Таганской тюрьме заключённые уже не выдерживали затянувшейся голодовки. Один из них, молодой студент Московского университета, больной туберкулезом, начал терять сознание, и старшие товарищи требовали, чтобы он прекратил голодать, но тот отказывался сделать это даже перед лицом смерти. Мы были бессильны помочь ребятам, и только с тяжелым сердцем ходили за членами комиссии, умоляя их поторопить события. Однажды, идя на очередное заседание конгресса, мы встретили Роберта Майнора, который протянул Саше большой сверток. «Здесь немного провизии, — сказал он смущенно,

— а то нас в „Люксе“ прямо закармливают. Может быть, вы передадите это голодающим? Тут всё такое, легкое — икра, белый хлеб, шоколад. Я подумал...» Саша оттолкнул его руку: «Да мне плевать, что ты подумал! Ты мерзавец, который хочет еще сильнее оскорбить несчастных таганских узников, и без того натерпевшихся по горло! Вместо того, чтобы протестовать против гонений за политические взгляды, ты остатками с барского стола обожравшихся делегатов пытаешься подкупить наших ребят, чтобы они прекратили свою голодовку». «Кстати, — добавила я, — тебе бы лучше заткнуть рот Мэри Хитон Ворс, а то она слишком много болтает о Бобе Робинсе. Вы что, хотите, чтобы он оказался в ЧК?»

Боб промямлил, что Люси Робинс заключила союз с Гомперсом, боровшимся против русской революции, но Саша ответил, что недалёковидность Люси, которая сотрудничала с Американской Конфедерацией Труда, не делает ее мужа контрреволюционером. Поэтому лучше бы Мэри попридержаться язык — речь идёт о человеческой жизни.

Боб побледнел, затем стал переводить тяжелый взгляд с Саши на меня и обратно, а потом начал что-то бормотать, но я прервала его: «Отдай это женщинам и детям, — я протянула ему сверток с едой, — которые дрожат от холода на улице прямо у вашего „Люкса“ и жадно подбирают крошки ситного, падающие с телег с харчами для делегатов конгресса». «Да меня от вас уже тошнит, — сорвался Боб, тщетно пытаюсь подавить свою ярость. — Вы столько шума поднимаете из-за тринадцати таганских анархистов, забыв о революции! Да какое значение имеют эти тринадцать, или даже тринадцать сотен рядом с величайшими событиями, которые только видел мир?» «Мы уже это слышали, — невозмутимо ответил Саша, — и я не буду на тебя злиться только потому, что сам верил в это целых пятнадцать месяцев. Однако теперь я всё понял, и могу помочь понять это и тебе: эта „величайшая революция“ на самом деле — величайшее надувательство, призванное скрыть любое преступление, на которое готовы пойти большевики, чтобы только удержаться у власти. Когда-нибудь, Боб, ты и сам поймешь это, но пока нам не о чем говорить».

На десятый день голодовки комиссия, наконец, собралась в Кремле: по просьбе таганцев их представляли Саша и Шапиро, но Троцкий, который должен был олицетворять собой ЦК ВКП(б), не явился, и его место занял Луначарский. Уншлихт, исполняющий обязанности главы ВЧК, не скрывал своего презрения к делегатам и почти сразу вышел, даже не поздоровавшись с ними. «Дружеское» заседание наверняка окончилось бы арестом иностранных гостей, если бы Саша и Шапиро не сгладили ситуацию; потом Саша рассказывал, что еле сдержался, чтобы не ударить Уншлихта за его хамство, и только поставленная на кон судьба наших страдальцев уберегла чекиста от неминуемой плухи. Атмосфера была перенасыщена неприязнью, и договориться удалось только после долгих пререканий. Члены комиссии, за исключением Александра Беркмана, ради которого была сделана отдельная приписка, поставили свои подписи под текстом совместно составленного ими письма, переданного через Уншлихта заключённым в Таганскую тюрьму. Вот что оно гласило:

«Товарищи, ввиду того, что мы пришли к выводу, что ваша голодовка не поможет вам добиться освобождения, мы советуем вам ее прекратить.»

В то же время мы извещаем вас, что товарищем Луначарским от имени ЦК ВКП(б) нам было предложено следующее:

Всем анархистам, голодающим в настоящее время в российских тюрьмах, будет позволено выехать в любую страну по их выбору с выдачей им паспортов и подъемных.

Относительно прочих анархистов, в том числе тех, кто не находится в заключении, окончательное решение партия примет завтра. Товарищ Луначарский полагает, что решение будет положительным.

Нам пообещали, и Уншлихт это подтвердил, что семьи товарищей, отправляющихся за границу, при желании смогут уехать вслед за ними, но в целях конспирации не сразу, а через некоторое время.

Отправляющимся за границу для завершения их дел будет позволено провести на свободе два-три дня перед отъездом.

Им не будет позволено вернуться в Россию без разрешения Советского Правительства.

Большинство из вышеизложенного содержится в письме за подписью Троцкого, которое нижеподписавшиеся получили из ЦК ВКП(б).

Иностранным товарищам поручено следить за тем, чтобы эти условия были надлежащим образом исполнены.

Подписано:

Орланди — Испания

Леваль — Испания

Сироль — Франция

Мишель — Франция

А. Шапиро — Россия

[подписано] Луначарский

С подлинным верно.

Александр Беркман отказывается ставить свою подпись в силу того, что:

а) он против высылки как таковой;

б) он считает это письмо самоуправством и несправедливо урезанным изначальным предложением ЦК ВКП(б) позволить всем анархистам покинуть Россию;

в) он требует дать освобождённым больше времени, чтобы они не только довершили свои дела, но и могли поправиться перед высылкой.

Кремль, Москва

13 июля 1921 г.» 71

Я была рада, что Саша воспротивился чудовищному решению, создающему предпосылки изгнания из Советской России людей, которые, не щадя себя, защищали революцию и сражались на ее фронтах, перенося несказанные опасности и лишения. Какой пассаж — большевистское государство переплюнуло Дядюшку Сэма! Он, простак, отважился лишь на высылку своих противников, имевших несчастье родиться в других странах; Ленин же

сотоварищи, еще совсем недавно сами бывшие политическими беженцами из собственной страны, теперь выгоняли из России ее сыновей, цвет ее революционного прошлого.

Отчаяние бывает гораздо сильнее голода — ребята в Таганской тюрьме прекратили голодать. Одиннадцать ужасных дней донельзя измотали их, и они согласились отправиться в вынужденные странствия. Некоторые слегли с высокой температурой, и грубая тюремная пища неминуемо убила бы их, тем паче, что и Ленин заявил: ему было бы всё равно, если бы они умерли в тюрьме, так что ждать человечности от надсмотрщиков или рассчитывать на диетическое питание им не приходилось. Хорошо еще, что шведские товарищи оставили нам целый чемодан продуктов, и все они пошли на то, чтобы кормить заключенных в дни их возвращения к нормальному рациону.

Продолжение «дружеского» мирового соглашения, на которое полагались Борис Суварин и его коллеги, было продемонстрировано Бухариным на закрытии конгресса. От имени ЦК ВКП(б) он принялся ожесточенно нападать на ребят из Таганской тюрьмы и русских анархистов вообще, заявив, что все они контрреволюционеры, которые строят заговоры против социалистической республики. Все анархическое движение, вещал он, это не что иное, как сборище бандитов, союзники Махно и его разбойников с большой дороги, сражающихся против революции и убивающих красноармейцев и большевиков. Вопиющее нарушение договоренности об отказе от публичного обсуждения «таганского дела», на чём настаивали сами большевики, стало громом среди ясного неба. Делегаты из Франции, Италии и Испании, возмущённые этой коварной тактикой, вскочили с мест, протестуя и требуя выслушать и их — ведь председательствовавший Лозовский услужливо дал слово Бухарину, хотя тот не был делегатом и не мог обращаться к участникам конгресса. Но лукавый председатель использовал все возможные уловки, чтобы не дать гостям возможности ответить на клеветнические обвинения Бухарина. Дошло до того, что даже некоторые делегаты-большевики возмутились таким ведением заседания и поддержали требование тех, кто просил, но не получал слова. Из англо-саксонских делегатов протестовал только Каскаден; Том Манн, Билл Хейвуд, Боб Майнор, Уильям Фостер и Элла Ривз Блур хранили молчание, хотя на их глазах Советская Россия душила свободу слова, за которую они столько боролись в США. В смятении и гаме, последовавшими за бухаринскими нападками, далеко не все заметили явившегося в зал Рыкова, председателя Всероссийского Совета Народного Хозяйства, который дал знак присутствовавшим чекистам, и в зал ворвался стучащий сапогами отряд солдат, подливая масла в огонь, разожженный речью Бухарина.

Саша и я проталкивались к сцене. По дороге я то и дело говорила ему, что на этот раз обязательно выступлю, даже если для этого придётся применить силу, буде Шапиро или кому-то еще из синдикалистов не дадут слова. Саша сказал, что пробьется к трибуне любой ценой, и, заметив Боба Майнора, сжал свою трость, уже готовый его ударить. «Ты продажная тварь, сукин сын!» — заревел ему в лицо мой друг, и Майнор в ужасе отскочил. Через короткое время мы уже были на ступенях, ведущих на сцену — Саша с одной стороны, а я с другой. Почти все делегаты вскочили с мест, бурно выражая недовольство тем, как Лозовский вёл собрание, и требуя слова. Осаждаемый со всех сторон, председатель, наконец, был вынужден предоставить трибуну Сиролу, французскому анархо-синдикалисту, и тот, разъяренный иезуитскими махинациями большевиков, громовым голосом принял

обличать двуличную тактику советской власти, попутно мастерски опровергая трусливые обвинения против наших ребят-таганцев и российских анархистов.

Когда достоянием гласности стала и грядущая их высылка, левые эсеры, соратники Марии Спиридоновой, решили воспользоваться присутствием иностранных делегатов и представителей трудящихся и распространили заявление, в котором говорилось, что Мария, арестованная еще в прошлом году, будучи больной, до сих пор находится в тюрьме. Она уже несколько раз голодала, требуя освободить их вместе с своей подругой Измайлович, дважды была при смерти, и сейчас тоже пребывала в крайне опасном состоянии. Заканчивалось это заявление словами о том, что товарищи Марии готовы собрать средства для ее лечения за границей, лишь бы советская власть позволила ей уехать.

Доктор Исаак Штейнберг попросил меня сообщить об их обращении делегаткам международного женского конгресса, в эти дни также проходившего в Москве. Я отправилась туда, чтобы встретиться с Кларой Цеткин, легендарной социал-демократкой, занимавшей сейчас заметную должность в правящих кругах. Она сказала, что ее задача состоит в сплочении женщин для поддержки мировой революции, и я ответила, что Мария Спиридонова уже изрядно послужила этому делу, отдав ему большую часть жизни. Она стала символом революции, и ей будет нанесен непоправимый вред, если Мария умрёт в застенках ЧК, предупредила я ее, и долг Клары состоит в том, чтобы убедить власть разрешить Спиридоновой покинуть Россию.

Сперва Цеткин пообещала мне хлопотать за Марию, но еще до того, как конгресс завершился, прислала записку: дескать, Ленин очень болен, и к нему не пускают. Зато Троцкий вполне здоров, и вот он говорит, что Мария-де слишком опасна, поэтому выпускать ее, даже за границу, нельзя.

Закрылся и конгресс Красного Интернационала профсоюзов, который расставил все точки над «и». Большой Билл, создатель американской организации ИРМ и ее бессменный председатель в течение двух десятилетий, собственноручно проголосовал за предложенный большевиками план дальнейшей работы. Им предусматривались упразднение всех рабочих ячеек и поголовное вступление их членов в Американскую конфедерацию труда, которую сам Хейвуд все эти двадцать лет именовал не иначе как реакционной и капиталистической.

Мелкая рыбешка, конечно же, косяком последовала за своим главарём — все эти эллы ривз блуры, браудеры, андрейчины... Последний вообще никогда не отличался отвагой: во время забастовки в Месаба Рейндж он был готов на всё, лишь бы его не выслали. Саша обивал пороги, чтобы вытащить его, поднял на уши Амоса Пиншоу и других влиятельных либералов, и сумел-таки убрать беднягу из-под занесённой руки Иммиграционного бюро. В Левенворте Андрейчин 72 снова показал себя трусом: он просил меня найти десять тысяч долларов на залог, хотя я сама в это время находилась в тюрьме Миссури. Приписав его суетливость и страх начинавшемуся туберкулезу, я попросила Стеллу и Фитци собрать эти средства. Девочки, изо всех сил старавшиеся найти деньги для других жертв военной истерии, не отказали мне, собрав значительную часть этих десяти тысяч, а недостающие средства дал один мой знакомый. Но как только залог был внесен, этот слизняк Андрейчин

повторил путь своего учителя Билла Хейвуда — он попросту сбежал из страны.

В России же он первым делом публично выступил с отречением от ИРМ и своих американских товарищей, и следом предложил большевикам помощь в разрушении организации. Но и несмотря на это, я считала, что в трусости и предательстве повинны не сами Андрейчин, Билл Хейвуд и прочие павшие на колени перед священным кремлевским храмом, а те, кто выдумал большевистский миф, заманивший их в ловушку подобно тому, как когда-то заманил и нас.

Советская Россия потихоньку превращалась в современный социалистический Лурд 73, в который в поисках волшебного исцеления со всего мира стекались слепые и хромые, глухие и немые. Я искренне жалела стремившихся сюда несчастных, обманутых искусной пропагандой и велеречивыми вождями, но к тем, кто приехал, увидел всё своими глазами и все-таки поддался, не испытывала ничего, кроме отвращения. Попал в число таковых и Уильям З. Фостер, когда-то проповедник революционного синдикализма, затем бойко владевший пером репортер, а впоследствии успешный коммерсант, торговавший с Москвой.

Из Германии на наше письмо с просьбой узнать, можем ли мы получить немецкие визы, ответа всё не было, и из-за задержки с выездом Саша с каждым днём раздражался всё сильнее — он, по его словам, уже не мог выносить эту трагикомедию. Мы написали еще одно письмо, передав его немецкому делегату-синдикалисту из профсоюза моряков, который тоже обещал помочь, но также пропал. В общем, новостей пока не было, и, как и в первое время после выхода из Западной тюрьмы, Саша очень нервничал. Он снова не мог подолгу находиться в помещении и встречаться с людьми, и потому с утра ночи бродил по московским улицам, заставляя меня переживать всё сильнее.

В одну из таких его прогулок к нам зашел Боб Майнор, но, не застав Сашу, поспешил уйти. Я не пыталась его удержать — наша прежняя связь, увы, прервалась; а через некоторое время от него пришло письмо, которое Саша, прочтя, молча передал мне. Послание от Боба состояло из пространных излияний об «имеющих исключительное всемирно-революционное значение резолюциях», принятых на конгрессе Третьего Интернационала, и неожиданных признаний в любви моему другу. Он-де и наиболее трезвомыслящий американский анархист, и бесстрашный бунтарь; неужели он не видит, что его место в Коммунистической партии? Да-да, именно в ней, и только в ней он сумеет применить свои способности и беззаветную преданность делу, и в конце концов поймет высшее предназначение большевистской диктатуры в России для грядущей победы над капитализмом во всем мире.

Боб искренен, заметил Саша, но в смысле политики редкий болван, да к тому же еще и слепой как крот; ему следовало бы заняться прежним делом — искусством. Я спросила Сашу, будет ли он отвечать на письмо; он отмахнулся: это не имеет смысла, ибо он устал от разговоров и споров. Как я понимала его усталость! И так чувствуя себя, словно выжатый лимон из-за тягот нашего бытия и изнуряющей летней жары, я вынуждена была еще принимать гостей, и потом ночами метаться без сна, обдумывая всё, что произошло, а еще этот конгресс... Я смертельно устала от всего этого!

С одной из своих прогулок Саша вернулся непривычно возбуждённым, но бледным, уставшим и даже напуганным; убедившись, что я одна, он прошептал: «В Москве Фаня Барон. Она бежала из рязанской тюрьмы; у нее нет денег и документов, ей некуда пойти — короче говоря, она в опасности».

От одной мысли о том, что ждёт Фаню после поимки, я пришла в ужас — бежать не куда-то, а в самый оплот ЧК! «Зачем?» — воскликнула я. «Не о том говоришь, — отмахнулся мой друг. — Давай лучше подумаем, чем ей можно помочь». Находиться у нас ей было нельзя — здесь бы ее обнаружили самое позднее через сутки; за другими товарищами тоже следили, и для любого из них дать ей приют означало бы верную гибель. Конечно же, мы дадим ей денег, поможем с одеждой и едой, но как быть с крышей над головой? Сегодня всё обошлось, сказал Саша, но нужно было думать о будущем, и в эту ночь я так и не смогла уснуть, ибо голова моя была полна мыслями о Фане.

Саша ушел рано утром, взяв с собой деньги и вещи для беглянки, а я прождала его до самого вечера, вся больная от переживаний и за него, и за нее. Когда мой друг вернулся, он был уже не так напряжен — оказывается, Фаня нашла приют у своего деверя: брат Арона Барона был большевиком, и у него Фаня могла чувствовать себя в относительной безопасности. Я уставилась на него в изумлении. «Да не переживай ты, — воскликнул Саша. — Он всегда любил Арона и Фаню, так что он ее не предаст». И всё же у меня не было доверия коммунисту, которому пришлось метаться между семьей и партией; правда, и предложить Фане более спокойного убежища я не могла. Не оставаться же ей на улице? От сознания того, что несчастная пристроена, Саша явно чувствовал облегчение, и, чтобы не тревожить его с этим, я засыпала его другими вопросами: для чего она приехала в Москву, и когда я смогу с ней увидеться?

Это даже не обсуждается, отрезал Саша: хватит того, что рискует один из нас, тем более, что теперь его очередь — я-то ходила к Аршиновым! Да, было и такое: большевики, безуспешно пытавшиеся поймать Махно, назначили цену за голову его ближайшего соратника Петра, живого или мертвого. Тот вынужден был скрываться и навещал жену и ребенка лишь с наступлением темноты. Я несколько раз приходила к ним — приносила вещи для малыша, и однажды меня сопровождал Саша, так что теперь у него было право потребовать у меня отказаться от встречи с Фаней. Мой друг так переживал за мою безопасность, что я была готова пообещать ему всё что угодно, лишь бы он не нервничал, но для себя решила, что увижусь с несчастной товаркой.

Саша по секрету рассказал мне, что Фаня готовит побег Арона: узнав, как его истязают в тюрьме, она решила во что бы то ни стало освободить мужа, и бежала лишь ради этого. Увы, немногие женщины способны пойти на такое ради любви, и лишь единицы из них столь преданы любимым, не будучи при том связаны с ними узами брака! Всем сердцем я была с ней, замечательно отважной молодой женщиной, отчаянно переживая за успех задуманной ею авантюры, за ее любимого и за нее саму.

А вот Сашин рассказ о том, как проходят их встречи с Фаней, меня не просто успокоил, но даже рассмешил. Москва была полна народу, среди которого встречались совершенно разные типы, в том числе и девицы легкого поведения, которые без зазрения совести

развлекались с некоторыми из делегатов конгресса: еще бы, ведь это сулило им настоящую инвалюту или деликатесы из гостиницы «Люкс». Фаня, несмотря на лишения, выглядела соблазнительно, к тому же ее воодушевляло обещание Аронова брата помочь им с побегом; так что, заслушав их с Сашей иностранную речь, москвичи понимающе переглядывались.

Увы, веселье продлилось совсем недолго. Нас буквально оглушила новость о том, что ЧК схватила двоих наших товарищей — Льва Черного, одаренного литератора, и... Фаню! Причем взяли ее как раз на квартире ее деверя-большевика — под шумок: на улице в это время шла перестрелка чекистов и экспроприаторов, что-то не поделивших меж собой.

Последний раз Саша видел Фаню накануне вечером. Она была полна радужных надежд: приготовления к побегу шли полным ходом; увы, в радости она забыла об осторожности, и уже наутро всё было кончено. «Теперь она в их лапах, и мы бессильны ей помочь», — сокрушался Саша. Он больше не может находиться в этой ужасной стране, завёлся он; почему я по-прежнему не хочу уехать по-тихому? Мы же бежим не от революции, которой уже нет! Ей только предстоит возродиться, да и то еще очень нескоро; опять же, если мы, двое известных анархистов, посвятивших всю жизнь революционной борьбе, вынуждены будем покинуть Россию нелегально, это станет худшей пощечиной большевикам. Почему же тогда я всё еще колеблюсь? Он успел выяснить, как из Петрограда добраться в Ревель 74, и немедленно отправится туда, чтобы приготовить всё к нашему отъезду — в атмосфере кровавой диктатуры ему уже нечем дышать, он больше не в силах ее выносить.

Однако оказалось, что «конторой» по торговле поддельными паспортами и помощи в тайном выезде из России был всего лишь некий священник с несколькими помощниками. Саша, конечно же, отказался иметь с ними дело, и его план расстроился, на что я лишь с облегчением вздохнула. Разум подсказывал мне, что, высмеивая моё нежелание покинуть Россию контрабандным путем, Саша прав, но чувства мои всеми силами противились такому исходу, и этот спор никак не мог разрешиться. К тому же я почему-то была уверена, что вскоре мы получим ответ от немецких товарищей.

Пока шла подготовка к нашему вынужденному отъезду, мы собирались пожить в Питере — я ненавидела Москву, наводнённую чекистами и военными. Внешне город на Неве за это время ничуть не изменился: он был столь же мрачен с виду и так же голоден, но теперь у нас были коллеги из Музея революции, прежде всего Александра Шаколь, и мы надеялись, что это скрасит наше пребывание в северной столице. Однако в России всё всегда идёт наперекос: из Москвы пришли известия о том, что в квартире в Леонтьевском переулке побывали чекисты, перевернувшие ее вверх дном, особенно Сашину комнату, и арестовавшие нескольких наших друзей, в том числе Василия Семенова, нашего старого знакомого по Штатам. Более того, на месте нашего прежнего жительства оставили засаду, а это значило, что за наши несуществующие грехи придётся расплачиваться всем, кто к нам придёт, независимо от того, какое отношение они к нам имеют. Поэтому мы решили немедленно вернуться в Москву, а чтобы не тратиться на билеты, я пошла к Равич и сказала, что мы готовы явиться в ЧК по первому требованию.

Мы не встречались с главой Питерской чрезвычайки с того памятного вечера 5 марта, когда она пришла к нам за Сашинной запиской Зиновьеву. Теперь она была не столь сердечна, но

все-таки чувствовалось, что она по-прежнему к нам расположена. Равич поклялась, что ей ничего не известно о московской облаве, но она непременно свяжется со столицей и уточнит все подробности.

Уже на следующее утро она позвонила и рассказала, что имело место недоразумение: нас не ищут, засада снята, и у властей к нам нет претензий. Однако нам было хорошо известно, насколько в России часты подобные «недоразумения», иногда заканчивавшиеся даже казнями, и не очень-то поверили Равич. Самым подозрительным обстоятельством было особое внимание, с которым обыскивали комнату Саши: я-то находилась в оппозиции большевикам дольше, и была к ним гораздо более нетерпима; почему же тогда рылись в его комнате, а не в моей? Это была уже вторая попытка найти улики против нас, и мы сошлись на том, что должны немедленно ехать в Москву.

Вернувшись, мы узнали, что Василия уже отпустили. На свободе были и десятеро из тринадцати голодавших в Таганской тюрьме, которые после окончания своего бунта все-таки просидели еще два месяца, несмотря на все заверения властей освободить их сразу же по окончании голодовки. Да и свобода для них превратилась в самый настоящий фарс: их определили под суровый надзор, запретив общаться с друзьями и работать, а вдобавок сообщили им, что высылка пока откладывается. Одновременно ЧК заявила: больше ни один из находившихся в заключении анархистов отпущен не будет — Троцкий так и написал об этом в письме французским делегатам, хотя до того от имени ЦК ВКП(б) обещал обратное.

Итак, наши товарищи оказались «на свободе», но при этом их состояние было плачевным: ни здоровья, ни средств к существованию... Чтобы помочь им, приободрить их, мы делали всё возможное, хотя сами чувствовали себя вовсе не радостно. В это же время Саше каким-то чудесным образом удалось снестись с Фаней, томившейся во внутренней тюрьме ЧК. Она передала, что накануне вечером ее перевели в другое крыло, но понять причины этого перевода мы не могли, а сама автор об этом умалчивала — она лишь просила прислать ей кое-какие туалетные принадлежности, которые, к нашему огромному сожалению, больше не понадобились ни ей, ни Льву Черному 75, оказавшимся по ту сторону доброты. Да-да, на следующий день, 30 сентября 1921 года Фаню Барон расстреляли в камере тюрьмы ЧК вместе с восемью другими жертвами. Ее деверья-большевика пощадили, а вот Лев Черный сумел одурачить палачей — его старушке-матери, ежедневно приходившей в тюрьму, каждый раз говорили, что ее сына не казнят, и через несколько дней он выйдет на свободу. Его действительно не казнили: мать несколько дней приносила передачи сыну, умершему от пыток.

В опубликованном на следующий день в официальных «Известиях» списке казненных Льва Черного тоже не было. Был Турчанинов — такова была настоящая фамилия Черного, которую он почти никогда не использовал, и которая поэтому была почти неизвестна его товарищам. Большевики знали, что Черный хорошо известен в массах, что он пользовался величайшим уважением за свое доброе сердце, что он был талантливым поэтом и написал самобытный и основательный труд «Ассоциационный анархизм». Более того, его уважали даже коммунисты, и поэтому власти не решились опубликовать сообщение о том, что они убили Черного — казнили какого-то «Турчанинова».

А наша славная, светлая Фаня, непоколебимая в своей преданности, трогательно женственная и в то же время решительная как львица, защищающая своих детенышей, обладавшая неукротимой волей, сражалась до последнего вздоха. Даже на смерть она шла непокорённой: рыцарям коммунистического государства к месту казни ее буквально пришлось тащить, а затем, собрав все силы, Фаня бросилась на чудовище, тащившее ее в вечность, и тогда жуткую тишину подвала ЧК разорвали пронзительные крики и резкие пистолетные выстрелы...

Я дошла до предела. Я больше не могла этого выносить. В ночной тиши я пробралась к Саше и стала просить его как можно быстрее уехать отсюда любым способом. «Я готова, дорогой мой, идти с тобой куда угодно, — шептала я, — лишь бы подальше от всего этого, от этого горя, крови, слёз, крадущейся смерти».

Саша планировал поехать на польскую границу и организовать наш побег через нее, но я боялась отпускать его одного — из-за всех последних событий его нервы были ни к чёрту. Но наше одновременное исчезновение неминуемо вызвало бы подозрения; Саша понимал это и согласился подождать еще неделю-две перед тем, как ехать в Минск — оттуда должен был начаться наш исход, и там мне следовало присоединиться к моему другу, когда всё будет готово. Саша настаивал на том, чтобы я не брала с собой багажа: если мы поедем налегке, вопросов это вызовет гораздо меньше. То, без чего нам не обойтись, возьмёт с собой он, а остальные вещи нужно будет раздать друзьям: мы приехали в голодную, раздетую Россию, желая поделиться всем, что у нас было; теперь же наши сердца опустели, а значит, пустыми должны быть и наши руки.

Необходимо было соблюдать строжайшую тайну, и мы собирались ночами, пока остальные жильцы нашей квартиры спали. О том, что мы решили уехать, знали только Маня Семенова, ее муж Василий и еще несколько человек, которым мы доверяли. Нам было противно и больно от того, что приходилось бежать из страны, олицетворявшей прежде для нас самые смелые надежды.

Мы паковали вещи, и тут из Германии пришло долгожданное письмо с приглашением для Саши, Шапиро и меня на конгресс анархистов, который организовывался в Берлине как раз на Рождество. Я закружилась по комнате от счастья, плача и смеясь одновременно. «Нам не нужно прятаться, лгать и пользоваться фальшивыми документами, Саша! — ликующе закричала я. — Нам не придется бежать как ночным ворами!» Но Саша не пришел от этого в восторг. «Это смехотворно, — воскликнул он. — Ты думаешь, что берлинские товарищи могут повлиять на Чичерина, Компартию или ЧК? Ты же знаешь, что я не пойду к ним за помощью!» Когда мой друг бывал раздражен, спорить с ним было бесполезно. Я прекрасно это знала, а потому решила дожидаться подходящей минуты: надежда, пробудившаяся во мне с этим письмом, укрепила мое нежелание тайно покидать страну, пережившую славу и крушение великого Октября.

Пока же я решила встретиться с Анжеликой: она не раз говорила, что, в случае чего, поможет нам с документами, если мы захотим покинуть страну. Она и сама собиралась за границу — поправить здоровье в каком-нибудь укромном уголке, ибо тоже достигла предела, хотя не призналась бы в этом даже себе самой. Поэтому, услышав мой рассказ, она

тут же предложила раздобыть необходимые бланки заявлений и сказала, что сама пойдет к Чичерину, а если надо, то и к Ленину, дабы поручиться за нас с Сашей. «Нет, дорогая Анжелика, этого не будет», — отрезала я: уж кому-кому, а мне было хорошо известно, чем чреватые подобные гарантии, и нам не нужно ни чужого риска, ни тем более ленинского благословения; поэтому я сказала Анжелике, что всё, что от нее требуется — это по возможности ускорить оформление паспортов, если нам вообще их выдадут.

На бланке заявления, в том месте, где должны были расписаться я и два поручавшихся за подававшего документы партийца, я написала следующее: «Как анархистка, я никогда не клялась в верности никаким властям, и меньше всего готова сделать это в отношении РСФСР, объявляющей себя социалистической и революционной. Просить же кого-либо нести ответственность за свои слова и поступки я считаю оскорбительным, и потому отказываюсь, чтобы за меня кто-то поручался».

Всегда мягкая и добрая, Анжелика отругала меня за эти вольности: она опасалась, что это помешает получить разрешение на выезд. «Либо мы едем без всяких условий, либо отыщем другой способ уехать, — отрезала я в ответ. — В любом случае, оставлять заложников за себя мы не хотим». Яснее было некуда, и Анжелика согласилась.

Я отправилась в Наркомат иностранных дел, чтобы узнать, пришёл ли запрос от немецких товарищей относительно нашего участия в анархистском конгрессе, и попала к Литвинову, заместителю Чичерина. Раньше я никогда с ним не встречалась, и теперь меня неприятно поразила его внешность: маленького роста, толстый, весь какой-то скользкий, он был похож на довольного собой коммивояжера. Полулежа в лёгком кресле в центре роскошного кабинета, он принялся засыпать меня вопросами: почему мы хотим уехать из России, что собираемся делать за границей, где будем жить. На это я вежливо поинтересовалась, получил ли Наркоминдел письмо от берлинских анархистов, и когда Литвинов утвердительно кивнул, я не менее вежливо сказала, что этого объяснения вполне достаточно, и добавить мне больше нечего. «Ну а если вам откажут?» — неожиданно спросил он. Если советская власть хочет, чтобы за границей узнали, что нас держат в России на положении пленников, тогда, конечно, она так и должна поступить, ответила я. Литвинов долго молча смотрел на меня своими свинными глазками, масляно блестевшими на его пухлом лице, а затем спросил, озаботились ли наши берлинские товарищи тем, чтобы немецкие власти позволили нам приехать: им, конечно же, не хотелось бы множить число анархистов на своей земле, тем паче, что в этой капиталистической стране нам никак не светит приём, подобный тому, что устроила нам Советская Россия. «Тем более странно, — ответила я, — что в большинстве европейских стран анархисты продолжают свою деятельность, а в России она под запретом». «Вы поете дифирамбы капитализму и буржуазии?» — спросил он. «Нет, — ответила я. — Всего лишь напоминаю вам о некоторых фактах; сама же в очередной раз убедилась в том, что все власти по большому счёту одинаковы, как бы они ни пытались уверить мир в обратном. Однако же что с нашими паспортами?» Нам сообщат, ответил он, но мы должны знать: советское правительство ни при каких обстоятельствах не станет делать ничего ради того, чтобы нам были даны визы — это сугубо наше дело, заключил Литвинов.

К тому времени Саша уже был в Минске. Прошло целых десять дней, прежде чем я получила пришедшую окольными путями короткую записку: всё плохо, дорога просто ужасна, но он уже на месте и «собирает материал для Музея революции». Это была наша секретная фраза, которую он указал в качестве обоснования поездки при покупке билета.

В эти нелегкие и невеселые дни меня искренне обрадовало известие об освобождении Марии Спиридоновой. После очередной голодовки она была при смерти, и тогда, не желая, чтобы она закончила свои дни в узилище, ЧК позволила друзьям забрать ее, дабы она отдохнула и поправилась, строго-настрого предупредив: если, выздоровев, она возобновит свою деятельность, то немедленно вернется в тюрьму. Марию пришлось выносить на руках — так она была слаба; но вместе с ней отпустили ее подругу Измайлович, с которой они и поселились у друзей в подмосковной Малаховке, а чтобы единомышленники Марии не выкрали ее, у дома расположилась чекистская охрана. Страдания Маруси не было ни конца, ни края, но сейчас, по крайней мере, она была среди друзей, так что уход ей был обеспечен, и это не могло не радовать.

На двенадцатый день, когда я отчаялась получить ответ из Наркомата иностранных дел, позвонила Анжелика и сообщила, что нам выписали паспорта. Мне надлежало зайти в Наркоминдел, захватив с собой валюту, лучше доллары или английские фунты — заплатить за документы. В то время извозчик считался роскошью, ибо все жили в страшной нужде, но я не утерпела и наняла пролётку, потому как просто не могла идти пешком: уж очень хотелось посмотреть на наши паспорта — а вдруг это очередная ловушка? Но это оказалось правдой, чистой правдой, и теперь ни Саше, ни мне не нужно, покидая страну, прятаться и лгать: мы сможем уехать так же, как прибыли — открыто и честно, хоть и с привкусом пустоты и горечи несбывшейся мечты.

А вот Шапиро, обратившийся за паспортом независимо от нас, был счастлив: ему сообщили, что его документы тоже готовы и ждут, когда он за ними явится.

Я телеграфировала Саше: «На этот раз моя взяла, старый шпион. Немедленно возвращайся». Пребывая в радостном возбуждении, я сначала не обратила внимания на то, что Наркоминдел требует заплатить за паспорта валютой, хождение которой было строжайше запрещено; наверное, подумала я, законы создают, чтобы их нарушали, и никто не делает это искуснее самих законотворцев.

После того, как паспорта оказались у меня на руках, наступил черед озаботиться визами. Немецкие товарищи сообщили, что делают всё возможное, чтобы обеспечить наш приезд в Германию; но если мы как-нибудь сможем добраться до Латвии или Эстонии, получить визы там будет легче, писали они.

Саша ворвался домой словно ветер, не предупредив о часе своего приезда. Он выглядел ужасно, был небрит, утомлён и явно долго не мылся; в довершение всего, он вернулся без чемодана, с которым он уехал. «Что случилось? — спросил он прямо с порога. — Это ты специально для того, чтобы я вернулся?» У него уже всё на мази — переходить границу можно в любую минуту; он-то и приехал, чтобы забрать меня, а документы уже ждут нас в Минске, и за них оставлен залог в пятьдесят долларов. «То есть мы попрощаемся с этими

деньгами?» — обиженно спросил он. «А с чемоданом, — парировала я, — мы тоже попрощаемся?» Он усмехнулся. «Я уже попрощался... Эти русские ушлый народ. Мне сказали, что самый надёжный способ сберечь вещи — привязать их к ногам. Я так и сделал, и верёвку нашёл крепкую; но в вагоне стояла кромешная тьма, а народу было столько, что мне пришлось стоять всю дорогу. Поезд то и дело останавливался, я, наверное, уснул, а когда посмотрел вниз, верёвка была на месте, а чемодан — нет; я искал его, но так и не нашёл. Нет, здорово работают, верно?»

«А ты здорово теряешь наше имущество — в третий раз, кажется? Да ты просто, как говорят в России, Маша-растеряша, дружок! — поддразнила я его. — Радуйся хотя бы, что это были не очередные тысяча шестьсот долларов!» Ну, что я могла с ним поделаться? Только посмеяться вместе с ним, а затем торжественно достать паспорта. Рассмотрев их со всех сторон, Саша задумчиво протянул: «Ну, вот и славненько. Я был уверен, что нам откажут; хорошо, что порой человек может ошибаться». Впрочем, я видела, что он почувствовал облегчение — теперь не нужно было ехать через Минск. Видимо, для нас это путешествие стало бы ужасным испытанием: чтобы оправиться после той поездки, Саше понадобилась целая неделя.

Нам дали литовские визы сроком на две недели; латвийская же проездная виза была получена нами без особых сложностей, так что мы могли уезжать в любой день. Из-за этой простоты мы очень переживали за наших товарищей, которых оставляли здесь в нужде, в опасности, связанными по рукам и ногам и совсем беспомощными перед разверзнутой советской бездной. Таганских сидельцев, ожидавших высылки, по-прежнему держали в неведении, и они, измученные ежедневными скитаниями по инстанциям в надежде добиться каких-либо известий, проводили немало времени в коридоре нашей квартиры, пытаясь дозвониться в ЧК. Им обещали с три короба, но за четыре месяца, прошедших после того, как был подписан документ о высылке, власти не сделали ничего, а вот наши ребята, натерпевшиеся и настрадавшиеся, еще сильнее укрепили свой дух и веру в окончательную победу. Марк Мрачный, после смерти молодой супруги оставшийся с младенцем на руках, был так же храбр и несгибаем, как и прежде; Волин, голодавший с больной женой и четырьмя детьми в пустой холодной квартире, продолжал писать стихи, а Максимов, даже подорвав здоровье несколькими голодовками, не оставил тяги к исследованию. Его жена Оля, нежная и чувствительная, семь месяцев дважды в неделю носившая в Таганскую тюрьму огромные тяжелые передачи и постоянно переживавшая за своего ненаглядного Максимова, по-прежнему верила в дружбу и любовь. Ярчук, этот бесстрашный борец, сносивший все испытания и превратности судьбы, сумел вынести и ужасы Таганки, да и все остальные эти ребята были людьми той же породы — мужественными, талантливыми, искренними, в общем, чудесными. Я была многим им обязана, и благодарила судьбу за то, что познакомилась с ними: их неизменно дружеское отношение, понимание и вера поддерживали меня и не позволили лавине, промчавшейся по всем нам, снести меня, а их жизни слились с моей.

Оттого приближавшееся расставание обещало стать болезненным и горьким. Более всего я любила Алексея Борового и Марка Мрачного — первого за его исключительный ум и благородство, а второго за искрящуюся живость, остроумие и понимание человеческих слабостей. Тяжелее всего мне было расставаться с ними, ну, и конечно же, с милыми сердцу

Маней и Василием. Чтобы облегчить мучительную боль разлуки, друзья наперебой уверяли нас, что своим выездом мы как раз им и поможем: ведь за границей нам удастся сделать намного больше, чем здесь. Мы будем работать, чтобы понять причины раскола, пролежавшего между революцией и советами, и помочь жертвам в тюрьмах и концлагерях. Они не сомневались, что в Западной Европе и Америке нас услышат, и это принесет большую пользу, а оттого радовались нашему отъезду, и даже на прощальном застолье делали вид, что им весело — всё, лишь бы подбодрить нас.

Белоостров, 19 января 1920 года. О яркая мечта, о пылающая вера! О Россия-матушка, заново рождённая в муках революции, очистившаяся с ее помощью от ненависти и смуты, освободившаяся ради истинной, всеобъемлющей человечности! Я посвящу тебе всю себя, о Россия!

В поезде, 1 декабря 1921 года. Мои мечты разбиты, вера моя умерла, и сердце моё, словно камень. Россия-матушка истекает кровью, струящейся из тысячи ран, а ее земля усеяна мертвыми...

Я держусь за холодную ручку заиндевелого окна, стиснув зубы, чтобы не разрыдаться...

Версия #1

██████████ ██████████ создал 21 апреля 2025 17:55:43

██████████ ██████████ обновил 21 апреля 2025 17:59:38